АЛЕКСАНДР
ПЕШКОВ

НОЧНЫЕ ЖУРАВЛИ

АЛЕКСАНДР
ПЕШКОВ

НОЧНЫЕ ЖУРАВЛИ

РОМАН
ПОВЕСТЬ
РАССКАЗ

БАРНАУЛ 2015

ББК 84 (2Рос – Рус) 6-4
П318

16+

Книга издана на средства краевого бюджета
по результатам краевого конкурса
на издание литературных произведений

Пешков А.В.

П318 Ночные журавли : роман, повесть, рассказ / Александр Пешков ; Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. – Барнаул : Алтайский дом печати, 2015. – 294 с. – (Победители краевого конкурса на издание литературных произведений).

ISBN 978-5-98550-360-9

В книгу алтайского прозаика Александра Пешкова вошел новый роман «Ночные журавли», повесть «Зеленая юрта» и рассказ «Привал».

Книга адресована широкому кругу читателей.

ББК 84 (2Рос – Рус) 6-4

ISBN 978-5-98550-360-9

© А.В. Пешков, 2015
© Л.А. Вигандт, редактура, 2015
© КГБУ «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова», 2015

ОКРЕСТНОСТИ СЧАСТЬЯ АЛЕКСАНДРА ПЕШКОВА

Признаемся, Александр Пешков – тот писатель, новых произведений которого мы ждем.

И автор, к счастью, не обманывает наши ожидания.

Проза Пешкова второй раз выигрывает краевой издательский конкурс. Через три года после издания «Таежной вечерни» (2012) автор представил на суд жюри три новых произведения: роман «Ночные журавли», повесть «Зеленая юрта» и рассказ «Привал».

Пешков, не боясь показаться банальным, немодным, что порой свойственно современным провинциальным авторам, доверяется старому доброму реализму и создает хорошие книги, дающие ощущение свежего ветра в лицо. Они появились как будто вдруг, внезапно; казалось, что состояние современной литературы не предвещает рождения разноплановой, яркой, настоящей прозы. Впечатление, будто коричневую подливку, в которой готовилась большая часть прозаических произведений нашего времени, отрабатывающих мрачную тему 1990 годов, выплеснули, потому что неожиданно нашелся родник с чистой и вкусной водой.

Нельзя сказать, что Александр Пешков вовсе был неизвестен в литературных кругах Барнаула. В 1987 году впервые опубликован его рассказ «Романс» в журнале «Алтай»; в 1990 годы он посещает студию известного советского писателя Евгения Гущина; в 1999 году выходит в свет первая книга Александра Пешкова «Паломники

любви». Эта публикация и стала поворотным моментом в творчестве молодого писателя – он поверил в себя, вдохновился высокой оценкой учителя. Краткое и бесценное напутствие Евгения Гущина сопровождало первое издание ученика:

«Рассказы Александра Пешкова, опубликованные в журнале «Алтай», обрадовали меня: похоже, в литературу пришел думающий, с пронзительным видением мира молодой писатель. После этих рассказов он некоторое время помолчал, и вдруг принес сразу роман – «Паломники любви». Я знал, что Александр пишет новое, и ждал, боясь обмануться в ожиданиях. Слава Богу, не обманулся. Новая вещь Пешкова чиста и светла, как слеза истинной русской прозы. Начнешь читать – оторваться сил нет, чувствуешь, как душа ликует, очищаясь от скверны. Перевернешь последнюю страницу и испытываешь состояние – будто в церковь сходил.

Благословляю его на этом прекрасном и жертвенном пути. Евгений Гущин. 1998»

Сегодня Александр Владимирович Пешков – зрелый человек, немало повидавший в жизни, испробовавший не одну профессию, и зрелый писатель. Получив образование архитектора, он работал и по специальности, и строителем, и прорабом, и туринструктором, и на железной дороге. Все те годы, что Александр Пешков зарабатывал на хлеб и кормил семью нелитературным трудом, он копил опыт, ежедневно вел дневник, набрасывал замыслы, работал со словом – это было упорное, настойчивое движение к настоящему успеху, читательскому признанию.

В 2009 году Александр Пешков стал лауреатом Всероссийской литературной премии имени В.И. Белова, в 2013 – литературной премии имени Георгия Егорова.

Свою писательскую работу Пешков выполняет с любовью и тщанием. Это автор, которому важно, что писать и как. Он придирчиво отбирает темы и слог. В центре его повествования – душа человеческая. Нет важнее темы для русского писателя! Ученик Евгения Гущина становится в ряд замечательных, любимых имен русской словесности. Но ближе всего, по нашему мнению, автор «Таежной вечерни», «Ночных журавлей», «Зеленой юрты» и «Привала»

подошел – по звучанию темы, по выбору художественного арсенала – к Борису Зайцеву, Георгию Гребенщикову, Михаилу Пришвину, Василию Белову. Пешков, кажется, неукоснительно следует призыву Константина Паустовского, обращенного к писателям: «Обогащайте людей! Отдавайте до конца все, чем обладаете, и никогда не тянитесь за возвратом, за наградой. Все сердца открываются этим ключом».

Безусловно, Александр Пешков берет в работу, как многие его современники-литераторы, тему поколения, в которой не миновать периода девяностых годов. «Но, - говорит автор, - мне интересен герой, который не сломался в девяностые, а сумел выстоять, созидать и любить жизнь и людей».

В его книгах люди живут знакомой и понятной – нашей – жизнью. Таковы, к примеру, герои повести «Зеленая юрта» - учитель Василий и почтальон Надежда, муж и жена, алтаец и русская. Они рано встают и поздно ложатся спать (поэтому видят утреннюю и вечернюю зарю), работают, занимаются огородами, беспокоятся о близких людях, берегут сокровенные воспоминания, думают, разговаривают о житейском и самом главном. Обычная жизнь. Но у Пешкова она привлекательна и глубока, красива и умиротворена. Повествование удивляет – нежданно открывается иной современный день, иная действительность. Мы ее воспринимаем глазами влюбленного в жизнь человека – автора книги. Пешков счастливо минует прокрустово ложе, заготовленное для литераторов современности. Он не вскрывает намеренно язвы общества, не описывает низкие инстинкты; его герои не бизнесмены, не бандиты, не богема, не политики и не эмигрировавшая творческая интеллигенция, у его героев, слава богу, все в порядке с сексуальной ориентацией.

Пешков возвращает в литературу человека труда! Он пишет о крестьянине, рабочем, учителе, о которых лет двадцать на страницах современных книг никто не вспоминал. И что важно – пишет талантливо, дает высокий звук, ведет чистую благородную линию в литературе. Автор постепенно как будто отлучает читателя от привычки быть на постоянном нервном взводе, заставляет узнавать

себя в героях своих книг и понимать: какие бы времена тебе ни выпали, это твоя единственная жизнь (не черновик) – успевай ощутить радость бытия.

Настоящее наслаждение доставляют страницы, дающие картины природы, а это всегда добрая половина книги. Все подробно, крупным планом, красиво, нежно и свежо – в таких образах, которые до него никто не нашел и не воплотил в слове (а первые, как известно, остаются в истории!). Вот, к примеру, привычная луна – она часто гостит на страницах Пешкова, и каждый раз – новая: «Перламутровая глубина внутри лунного оклада казалась столь же непроницаемой и тяжелой, как риза на иконе» или «лунный ореол побледнел, словно вышарканное драповое сукно», или «луна сбросила белую чадру облаков».

Александр Пешков открылся как тонкий наблюдатель природы, ее преданный поклонник. Нет сомнений, автор, точно так же, как его герой Саня из «Таежной вечерни», пишет вербальные этюды с натуры. Признаться, мы наблюдали, как Александр Владимирович достает из-за пазухи блокнотик и карандаш и, бросая время от времени взгляд на горы, бегущие за автобусом, черкает на листке. И сам автор свидетельствует о себе в рассказе «Привал»: «Прислонившись к безвестной березке, я писал карандашом в блокноте, а потом догонял туристов с чувством, что не дождался чего-то большего».

Пешков тот автор, которому жаль упустить любое – самое призрачное – движение в природе, он стремится поймать, остановить мгновение – не в кадре – но в слове.

Иван Александрович Бунин записал в своем дневнике 8 августа 1917 года: «Идеальный августовский день. <…> стоит часа в четыре довольно высоко три четверти белого месяца и никто никогда не написал такого блестящего дня с месяцем». В этой ненасытности, в ликовании пред прелестью мимолетной жизни, паутинками бытия Пешков – верный последователь Бунина.

В понимании Александра Пешкова человек и природа – это единый мир, где все взаимопроникновенно. В романе «Ночные журавли» юный герой приходит к выводу: «И я подумал тогда, что Бог – это такое клейкое вещество, которым все в мире соединено!». Поэтому вымя коровы

может закатиться на небо и стать солнцем, а изнанка бабушкиной вышивки – звездным небом. «Не знаю, странно ли это, но обычные ночные звезды я увидел позже, уже держа в памяти синюю вышивку на иконе. Серебряные узелки превратились в созвездия на темном небе. В душе осталось *ощущение изнанки небес!» - пишет наш автор.*

Природа у Пешкова и есть душа: внутренний невидимый мир человека проецируется в мир первозданный. Довоплощение души в природе – вот что уловил автор, и ее малейшие движения, мерцания – нам, читателям, дано наблюдать.

Роман «Ночные журавли», написанный в традициях автобиографической прозы, вырос из первой книги Александра Пешкова «Паломники любви». Писатель рассказывает о советском детстве, отрочестве, юности Сережи Пушкина. Для многих читателей, вышедших родом из Советов, тема ностальгически близка и привлекательна. Советское детство также прекрасно, как любое другое детство. В романе есть и советская школа, и пионерский лагерь, однако и церковь, и крещение младенца, и молитва. Удивительно, но почти у каждого ребенка в стране Советов была своя церковь – тайная. Государственные детские институты в СССР, безусловно, имели свое влияние на формирование личности подростка, но автор ясно и горячо доказывает: душа ребенка лелеется в семье, характер делается всей родословной, и жизнь будет настолько мила, насколько малец усвоит наставления родительские. Думается, читатель прибережет для себя правило деда Егора, переданное внуку: «Сколько запомнишь хорошего – столько и проживешь!».

Взрослея, герой романа все больше проникается историей семьи. Он узнает то, что не говорится на людях: дед служил у Колчака, дядька мотал срок в лагерях. Подобная запретная информация хранилась во многих советских семьях. Так через детское узнавание мира, исподволь, проявляется огромная суровая эпоха, в которой сгустились небывалые по жестокости события – гражданская война, репрессии, Великая Отечественная война. И не было возможности ни у кого из родни обойти свою долю. Описывая заросшие кладбищенские холмики предков

юного героя, Александр Пешков проникновенно скажет: «… таинственные дольки Божьей нивы».

Роман «Ночные журавли» продолжает традицию русских книг о детстве и отрочестве. Ее лучшие образцы известны: трилогия Льва Толстого о детстве, отрочестве и юности; «Детские годы Багрова-внука» Сергея Аксакова; «Детство», «В людях», «Мои университеты» Максима Горького, «Путешествие Глеба» Бориса Зайцева, «Лето Господне» Ивана Шмелёва, «Егоркина жизнь» Георгия Гребенщикова.

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником наслаждений», - пишет в повести «Детство» Лев Николаевич Толстой. Просторы - деревенские и городские, - в которых расцветают детские годы Сережи Пушкина, Александр Пешков называет «окрестностями счастья» и ставит после этого словосочетания восклицательный знак.

Автор чутко читает детскую душу, с большим уважением относится к богатому и хрупкому миру ребенка. «Боже! Как важно снимать тяжесть с детской души», - восклицает он. Или уверяет: «Требовать от ребенка – это брать взаймы! Только для того, чтобы вернуть с большей лаской».

В рассказе «Привал» речь идет о тяжелом изнуряющем таежном походе. Зачем его герои по собственной воле истязают себя? Автор делится добытым в сражении с природой опытом: в «жуткий медвежий край» идут, чтобы узнать себя, чтобы убедиться: душа сильнее физических возможностей человека.

«Привал» – это собрание изысканных художественных образов, свидетельство беспредельных возможностей русского языка. Эту редкую вещицу, сотворенную в слове, хочется назвать «ноктюрном», ибо автор не пишет, а будто ведет ночную службу в таежном храме.

Неустанные размышления и печаль автора о душе претворились в смысловые слитки, которые и текст украшают, и читателя вразумляют: «Силы можно черпать только из полной души!», «самое тяжелое в походе – груз в душе», «пост – караульная служба для души» и др.

Проза Александра Пешкова полна поэзией. К творческому методу писателя мы применили бы термин «проза-поэзия».

Маленькому герою из романа «Ночные журавли» достается фамилия русского гения. Подросток не раз вздрогнет при фразе: «А я что, Пушкин?». И не однажды его маме придется отвечать на вопрос: «А почему не Саша?». Всемирно известная фамилия ляжет дополнительным психологическим грузом на детские плечи, но будет учить мальчика ответственности. «Такую фамилию нужно заслужить, и, конечно же, нельзя опозорить!» - рассуждает ребенок. Сережа Пушкин – это реминисценция с Сашей Пешковым, нашим автором, имя которого невозможно произнести в литературном контексте, чтобы не услышать реплику: «У нас был уже один Пешков». Будет еще один. Очень достойный. Он войдет в историю литературы под своими именем и фамилией – Александр Пешков.

Лариса ВИГАНДТ

НОЧНЫЕ ЖУРАВЛИ

РОМАН

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ

1

Поздним озимым всходом появился мальчик среди бескрайних полей Сибири. В неделю отроду случилась кромешная метель, – стенка на стенку – сотрясавшая бревна сельского роддома.

Белым филином ухал ветер над трубой. Надсадно гудели печи. Чертыхался огонь, пуская угарные змейки из поддувала. Младенец сонно вздрагивал и отворачивался от плененного снегом окна.

Иногда, под вечер, приподнималось розовое веко-облако над воспаленным солнечным глазом. Сторож топтал кривую тропинку до калитки; было видно из окна, что заметенная дорога уже сравнялась с чистым полем где ветер взбивал на ночь белые подушки стожков.

В складках туч обнажалась, как материнская грудь, крупная луна, сцеживая в морозно-звенящую чашу долины ненужное голубоватое молочко.

Ночью опять дрожали стекла от нахрапа ветров. Метель приходила со степного края – долгая, одичавшая, на сотни верст не встречавшая себе преград.

А утром дверь подпирал с крыльца захрясший сугроб. За лесом проглядывал тусклый рассвет, посеребривший вокруг роддома нетоптанный снег.

Ребенок приоткрывал мутные глазки, не узнавая ничего, кроме воя пурги. И она по-своему пеленала квелого мальчика: воспаленной грудью дышал он все туже, и все неохотнее выбирался из млечного забытья.

Лицо на подушке – словно утренняя луна – лишняя, ненужная, угасающая.

Мать путала день с ночью. Какие-то люди, наспех стряхивая в коридоре снег, все ближе подпускали к сыну ледяные пальцы воровки-метели. Врачи боролись еще несколько дней, а потом уж и в город везти было поздно…

В тумане слез обезумевшей женщины возникла икона – божьи соты – золотой мед капал в больничный таз с синим номером на боку. В запазухе, на голой груди, теплая бутыль: «Святая вода, дочка! Из города привезла!». (Намаялась в поезде не меньше, чем с поросенком-оторвышем в мешке.)

Растерянно стояла молоденькая врач, россыпь мелких родинок по лицу, словно коричневые созвездия: «Делайте это быстрей! Не дай Бог, узнают…». Мать всем мешала, оглохшая от горя: «Не слышу его, что с ним? Почему он молчит?..»

За дверью с белой занавеской, чужие люди склонились над желтой огненной сердцевиной, распеленав мальчика, словно оборвав лепестки ромашки. «Вы-то согласны? – всплыло путеводное лицо. – Говорите!» Зачем спрашивать, если это последнее, что может спасти сына: «Дайте мне его! Отдайте! Он жив??!». Врач тронула пальцем воду в тазу: «Жив, жив, не кричите...».

Младенца раскроили на четыре куска влажным крестом – с перекладиной в солнечном сплетении.

2

О своем крещении я узнал от матери, и вовсе не проникся ее давним испугом. Наоборот, понял, отчего так люблю метель, ощущение небесной мглы, покрывающей землю.

С детства не мог усидеть дома, когда пурга кидала в окно белые комья, дышала ледяной испариной и звала помериться силами. И я выходил к ней навстречу, желая найти с ней общий язык, и место в ее снежном строю!

Метель приносила далекие запахи, подхваченные на земле: дым березовых дров из трубы бабушкиного дома; сладковатую затхлость пуха камышей с замерзших лесных болот; хлебную горечь сосновой коры. В бледных ее

просветах чудились мне фонари полустанков из маминой юности, блеск золотых куполов Потсдамской церкви… Метель развеяла множество преград на пути моего рождения: приговор немецких врачей и неверный проигрыш тюремных карт.

С того не верю я ни в какую предрешенность.

Даже святая вода, окропившая над больничным тазом, казалась мне давно высохшей. И все же, в глубине души, я чувствовал, что этим крещением связан с каким-то долгом.

3

Помню, на бабушкином комоде всегда лежал большой носовой платок, часто завязанный на уголке. Иногда, особенно в праздничные дни, узелков было два или больше.

Еще на комоде стояла икона, покрытая синим бархатом, с какой-то вышивкой – изнанкой наружу. Будто вышивка была еще не закончена. Никто не спрашивал: откуда она и кто ее вышивал? Просто хранилась до времени. И рисунок не открывали.

Иногда я видел, как бабушка крестилась на икону, словно разрывала паутину на лице. А затем расправляла вышивку, стряхивая пыль меж густо усеянных узелков.

Не знаю, странно ли это, но обычные ночные звезды я увидел позже, уже держа в памяти синюю вышивку на иконе. Серебряные узелки превратились в созвездия на темном небе.

В душе осталось ощущение изнанки небес!

Раннее детство невозможно описать изнутри – как оно собственно было. И чем глубже я помню, тем более незаконно вторгаюсь в него кладоискателем – с полуистёртым клочком памяти, где кружками очерчен выход сознания из младенческой тьмы, и поставлены крестики по следам ярких событий.

Первой засечкой на пути осознания себя – был куст перед крыльцом нашего дома. Видимо, я держался рукой за гибкие ветви, потому что запомнил острый запах смородины.

Вот я оказываюсь на краю большого поля.

И новое чувство – держу на плечах что-то тяжелое и гнетущее. Я расставил шире ноги, отпихнув комок земли, даже пригнул голову. Но услышал голос мамы, и будто ухватился за свою тень на земле. А когда осмелился поднять глаза: этим тягостным и давящим оказалось громадное небо! С осенними тучами, с голубыми провалами и солнечными брешами.

С трех сторон ватное небо было подоткнуто, – словно младенец в кровати – синим лесом.

Подстать небу было и поле! Оно уходило от меня куда-то далеко, к самому горизонту.

Отовсюду слышался звук падающей в ведра картошки. Я вспомнил его после, когда услышал крики обычных журавлей. А в тот день я не знал еще, что журавли – это птицы; долгое время я думал, что они какой-то небесный звук, подобно грому или ветру. Откуда это взялось? Видимо, из наследственной песенной памяти.

Пустое ведро – звонко, жалобно и захлёбисто; полное – глухо, утробно и прощально. Нахохлившиеся мешки, разбросанные по картофельному полю – комочки стаи в сизой дали, где земля и небо уже сливались, утомив детский взор…

Журавли унесли меня опять в счастливое безвременье. Но оказалось, что тот день, когда я впервые хлебнул бездонного неба, сохранился в памяти, став «нулевым» в моей жизни.

Следующий выход оказался смелее.

Мама вела меня из яслей, с трудом выбирая дорогу в грязи деревенской улицы. «Ла вучки!» – со слов мамы, канючил я.

– На ручки? Опять?.. Тяжелый ты уж стал!

Мама остановилась, видимо, выбирая дорогу:

– А ты будешь меня, старенькую, на руках носить?

И вот я впервые услышал свой голос: не робкий и не капризный, но, как сохранила память – доверительный.

– Мам, а я не видел, чтобы старух на руках носили…

Удивительно ясно! Будто кто-то другой сказал за моим плечом. Оказывается, я знал, что «старухи» бывают

неприятны. Позже мама уверяла, что за нами шел мужчина и «со смеху чуть не упал!». Только пересказывала уже в своей манере: с удивлением и даже заносчивостью. (Впоследствии, я часто замечал в своем голосе те самые интонации.)

Неизвестный мужчина занимал много места в ее чувстве удивления. Это привело к смутной догадке, что кроме мамы у меня должен быть еще кто-то…

ЦЫГАНЕ

1

В тот день мы ходили за реку. Я с мамой и много родни.

А родня в деревне – понятие особое!

Родня могла быть дальней, как прапрадед – цыган Марковей, о котором было известно, что он нанимался в селе пастухом. И был так беден, что зимой ходил босыми ногами по теплым коровьим лепешкам, имея свою присказку:

– После Рождества цыган шубу продал!

Бабушка Маша его правнучка. Она имела крупный оседлый нос, непросветные смоляные волосы. Носила цветастый платок, он сбивался по-цыгански на ее затылок и запутывался в густых косах. Во время застолий на смуглых щеках и шее бабушки проступал румянец, будто тяжелые серьги отбрасывали пунцовые тени; сильней проступали лиловые круги под темными глазами, подчеркивая их диковатый блеск.

А еще родня была тутошная, как дядя Леша: хоть и курносый, с плешивым скошенным затылком и ушами морковного цвета, но даже в его блеклом лице угадывалась наша кровь, подгулявшая где-то задворками породы.

2

На мне синий матросский костюмчик с белыми полосками. Ходил я уже сам, но в тот день молодые тетки несли меня по очереди. Я опасливо глядел на маму, перебира-

ясь в новые силки рук, стараясь ухватиться за подставленную мне девичью шею.

Иногда я вырывался и бежал по дороге; шалуньи-тетки вставали на пути, взявшись за руки: а-нет, мол, не пустим!.. Я таранил их с разгона, с битюговым сапом, вызывая общий смех. С другого раза или чуть захныкав, все же пробивал девичью цепь, и встречался с мамой в перекрестных объятьях.

Она подхватывала меня за подмышки, и мы кружились где-то на краю мира, – и покосившееся небо утягивалось синевой в зеленую воронку березовых вершин…

Поднявшись на взгорок, увидели на берегу ручья табор!

На поляне стояли шатры с цветастыми заплатами, словно букетики полевых цветов головками вниз. Паслись кони, вытянув жилистые шеи с плешивыми холками. Телеги уронили оглобли, будто худые уставшие руки.

Мы разглядывали цыган, по простосердечной деревенской привычке – считать своим делом все, что происходит в окрестностях села.

Над водой пушился туман, на поляне блестели лужи.

Особенно поразила меня тряпичная люлька на трех кривых жердях. Я прижался боком к маме и слышал в гулкой тишине, как плачет ребенок.

Раннее детство близоруко и рисует мир со слов чужого удивления. Резкие звуки и вовсе ловит с еще утробной защитой.

Кто-то из взрослых заметил: «да у него бок мокрый, вот и надрывается!..». Помню, звякнула дужка ведра, глухо стукнулись камни у берега, лениво чавкала грязь под копытами лошадей – все это слышалось впервые, но воспринималось как родное, давным-давно знакомое.

3

Постелили брезент, пахнувший сеном, потому что им укрывали стог. Родня расселась, вминая ладонями травяные кочки. Женщины вытянули ноги в сторону садившегося за холмы солнца. Из корзины вывалили снедь, посмеиваясь над кочевым бытом табора.

Мне дали погрызть молодой огурчик с мелкой колючей щетиной на пупырышках.

Глядя на выцветшие одежды цыганок, мама вспоминала свои концертные наряды из золотой парчи, когда она «пела со сцены Дома офицеров». Ее слова были непонятны, как и жизнь этих странных людей, что копошились сейчас внизу.

Горели костры, гремела походная посуда. Старый цыган в белых войлочных сапожках уселся на «личную мебель» – синий короткий табурет. Другие цыгане разбрелись кто куда, странно сталкиваясь друг с другом, будто растирали бока от долгого сидения в кибитках. Молодые парни таскали плавник, играя тощими плечами, словно в каком-то ленивом сомнении.

В опрятных сумерках звучали слаженно их зычные голоса, будто цыгане напевали что-то задумчиво-величальное. Время от времени смуглые лица бледнели – это проступали сквозь рощу длинные закатные лучи.

С полей тянуло сыростью и какой-то кочевой неприкаянностью. Мы уже собирались домой, когда вдруг где-то далеко ворохнулся гром. С долгими глухими оттяжками; а может, это просто усилился цыганский напев…

Подул ветер, прореживая молодую листву берез. Настроение природы быстро менялось, и было в том что-то отдельно-звонкое от суетливого настроения людей.

Ручей притаился, исчезли серебристые струи.

Все вокруг затаилось: птицы летели к лесу, цветы прятались в траве, исчезли на воде стёжки водомеров – казалось, что все живые существа прячутся от грозы. Я сильнее ухватился за мамину руку. Потом и вовсе уткнулся в шифоновое платье, похожее запахом на конфетную обертку. Лицо облепила душная ткань. Я даже помню, как отстранился на миг, с удовольствием вдыхая грозовую прохладу.

В теплом, сыром воздухе острее пахло дымом костров, прелью ивовой коры и свежестью одуванчиков. Все эти запахи, принесенные на крыле ветра, смешивались с чувствами трехлетнего мальчика: тревоги, восторга и удивления от такой новой вместительности души!

4

За высокой горой, где было сельское кладбище, притаилась свинцовая туча; с другого края неба светило солнце – выставив штыки сквозь осиновую рощу.

Сосновый бор помутнел; на опушке выдвинулись одиночные деревья. Казалось, что мягкая лесная муть, словно голубая пакля, конопатит просветы меж убористых стволов.

Ручей первым встретил робкие капли дождя и вновь заиграл на солнце рябью смыкающихся кругов.

Взрослые спорили: идти домой или переждать грозу под березами? И все радовались, когда меткие капли попадали на горячие лбы и щеки. Цыгане вовсе не боялись дождя, даже не вынули ребенка из люльки.

Я также радовался, среди окруживших меня родных людей. Дождь щекотал мои голые руки, как навязчивые соседские девчонки: и я терпеливо повизгивал, прижимая локти повыше к подмышкам.

Внезапно ветер стих.

Пойма ручья и вся окрестность наполнились оторопью тишины.

Розовое, слабеющее солнце превратилось в небесный ручеек, расширяясь и удлиняясь алым руслом меж облачных завалов.

Вскоре небесный поток достиг горизонта, и его огненное устье пролилось на темную воду большой реки.

Я не знал еще, что это заря. И что именно: заря вечерняя! Но почувствовал, как воцарилось новое согласие в природе.

Красный шар, выпавший из туч, не обжег памяти. Все, что происходило далее, я видел лишь со слов маминой песни, – изгибы розовых холмов, мерцанье речной жилки.

Окрестности счастья!

Это был один из тех моментов, в которые возвращается душа в течение всей жизни.

Во влажных сумерках заново разжигались костры.

Низкий дымок путался под ногами цыган, как бестолково-игручая собака. Меня подхватили на руки и быстро пошли вниз, по влажно-хрустящему песку. Радуясь, что в деревне нас ждет большой крепкий дом. Вскоре меня сморило: звуки ушедшей грозы смешались с цыганской песней.

Оказывается, песня – понятие кочевое. В ней хранится память о земле, где она появилась; о людях, кто ее сочинил; и о событиях, которые меняли в ней слова…

СТРАННИКИ

1

Солнце присело на краю холма, что возвышался за деревней, а теперь будто навис над ней.

По густой траве легли длинные лучи – словно усталый путник вытянул ноги! В светлых прорехах меж ветвей старой ивы проглядывала гладь реки – белая и чистая – это скиталец накрыл колени полотенцем. Вот появился на нем белый хлеб с рыжей горбушкой – безглавая церковь на берегу, словно чья-то милостыня.

Жизнь в деревне усердна, но нетороплива, как лапа дымчатой кошки, намывающей гостей.

Жидкие тени талин полоскались в ручье; в глубине улицы поднимались клубы рыжей пыли. Это возвращалось стадо коров.

Они мычали, останавливаясь у своих калиток.

– Богомольцы, было, так ходили, – бабушка держала уже в руке кусок хлеба с солью. – По избам просились на ночь…

Она вышла на мостик встречать Зорьку.

Скрипел дощатый настил под копытами коровы. Большое вымя с трудом протискивалось меж ног; с той же бесчувственностью дымное солнце сплющивалось сейчас меж рыжих жилистых облаков.

Пыль на дороге оседала, и было видно, как окрасилось рубище церкви у реки. Расправились безглавые плечи, озарились глазницы. А меж кирпичных развалов в пустой колокольне, как содранная корочка на ранке – сукровицей сочился закат.

Белые отражения стен закруглялись в воде прежними апсидами, а струи бурного течения у высокого берега – вытягивали вверх колокольню.

Порушенная церковь не тяготила душу. Было в ее облике что-то дремлющее. Кирпичные руины возвышались сказочным сиднем – богатырем Ильей Муромцем, которого напоили когда-то водой бабушкины странники.

2

Мимо церкви мы ходили на кладбище, хоть и стояла она в стороне от дороги. Бабушка крестилась, мама грустно вздыхала, будто они тайно проведывали больного родственника.

Из пустого проема двери несло запахом погреба и гнилого дерева. Мне строго наказывали «не заходить туда с мальчишками». И только издали, со страхом и любопытством, я наблюдал в пустых окнах вечерний свет.

Вершина холма была покрыта березняком и будто светилась, особенно осенью.

Шли мы по песчаной дороге в гору. Встречные люди спрашивали: «К бабушке идете?..». Мама кивала на меня: «К его вот, прабабушке!». И я чувствовал себя большим и значимым, оттого что корень нашего рода стал длинней еще на одну солидную приставку «пра».

На старых кладбищенских березах виднелись мазки синей краски; насупленные скворечники сонно зевали овальными дуплами; в деревянных оградках молодая нехоженая трава.

Бабушкин крест затерялся в кустах рябины: серый брус, постный от дождей и солнца. Даже смола высохла на перекладинах.

Опрятные тени на могилке, сплошной ковер ландыша с очень крупными листьями. Длинные согнутые стебли покачивали белую звонницу цветков, издающих терпкоцерковный аромат.

У края ржавой оградки в землю вжался маленький плоский холмик, с курчавой по-детски травкой.

Помню, однажды я спросил, ни к кому отдельно не обращаясь:

– Это чья-то могилка?

И подумал тут же, поверх иных чувств: могилка безымянная, но не безродная! Мама сгребала руками сухую траву: «Тут мальчик один лежит, – (помню, я ощутил пустоту в родовой пуповине и чуть не захлебнулся от своей догадки), а мама добавила, немного оправдываясь, – совсем маленький умер…»

От этих слов в оградке стало тесно. Я боялся наступить на низкий холмик. И еще боялся глядеть на маму, но хорошо запомнил голос: тихий, печальный, сосредоточенный.

В тот день закончился мой возраст, когда душу еще оберегает слабая вместимость детской памяти. Тайна залегла на дно, чтобы обрасти там родовым илом.

Перед уходом бабушка крестилась нещадно, словно тянула божью пряжу со лба. А мама сгибалась к могилкам и поправляла что-то невидимое, угасая взглядом.

3

Судьбу нашего рода вершили женщины.

Только в легендах остался цыган, бросивший табор из-за песен красавицы-хохлушки. Певунья родила ему дочь с кочевой кровью, не убоявшись гнева семьи. Доподлинно известна судьба Евгении Красуцкой – дочери богатых поляков из Белоруссии. Девушка влюбилась в тятькиного батрака, к тому же младше себя и уехала с ним, против воли родителей, в Сибирь. На новые земли, по Столыпинской реформе.

Уже их дочь – Мария (моя бабушка) вышла замуж за первого парня на селе – гармониста и бабника. Родила дочь Варю, но жить подневольно не захотела.

Бывало не раз, видели соседи на улице, как пьяный муж ловил за длинные волосы свою непокорную Машу. И привязав беглянку косами к оглобле телеги, гнал по улице домой, хлеща вожжами.

Но молодая жена тайно обрезала волосы и все же сбежала, оставив двухлетнюю дочь на руки родителям. Устроилась в городе уборщицей в магазин, где работал бухгалтером Егор Семенович – тихий вдовец с лихорадочным блеском в чистых голубых глазах. Вернулась Мария в деревню через восемь лет с новым мужем. Родила двух сыновей, но вот только по-прежнему мало ласки уделяла дочери Варе, не любя в ней воспоминание о постылом муже, и схожесть характеров.

Возле крыльца стояла машина с расхлябанными бортами. Какие-то люди таскали вещи из дома, виновато хмуря лица.

Зеркало высотою с дверь, – в портале тонких бронзовых колонн и резного карниза, – медленно выплыло на крыльцо.

Огромный солнечный квадрат уперся в стену дома, затем уперся вглубь сада, словно призрачный проем. Воробьи шарахнулись, сбивая белые лепестки с веток черемухи. Какой-то мальчик появился в зеркале. Сгорбившись, он притулился на чемодане с блестящими подковками на углах. Мальчик обнимал большого лопоухого мишку с брусничками робких глаз.

Что-то звонко лопнуло.

– Зеркало немецкое! – крикнула мама из дома. Она ругала грузчиков, мол, не для того везла из Германии, чтобы его здесь расхлестали!

В серебристо-голом пространстве появились головы соседей: «продала-таки свою половину дома…». Еще недавно эти девчонки возились со мной, как с живой куклой, кутая в женские платки и мамины кофты. Они щекотали мне ребра, чтобы услышать «не тоги мня!» вместо «не трогай меня!». Хоть и говорил я уже нормально.

Брякнуло чутким нутром пианино, задев изящной ножкой ступеньку крыльца. Витые подсвечники на кронштейнах развернулись со скрипом, не желая втискиваться в кузове рядом с шифоньером.

– Уминай шибче! Не растрясти бы до города!

Мужики курили на ходу и бесцеремонно распоряжались всем тем, что я нажил за свои годы: шапку-буденовку с красной звездой и розовую сабельку с расплющенным острием.

Со стороны бабушкиного крыльца надрывалась собака. Видимо, от разлуки. Я пошел успокоить ее. Каштановый пес, с черными валиками морщин над бровями, лизал мне руки и лицо. Временами он поднимал лохматые уши с желтыми подпалинами и скалил сочные клыки на чужих людей. Просунув ладонь под брезентовый ошейник, я чувствовал, как он давит собачье горло.

Этот пес знал меня с рождения! Слышал первые звуки голоса, видел первые шаги по крыльцу. Из его будки так уютно пахло сейчас осенним теплом и перемолотой цепью соломой.

Где-то издали послышалось:

– Серёжа!..

– Не пойду!

– Почему, сынок?

Ну как же уйти, ведь мое дело – усмирять собаку, когда приходят гости! Потому что он слушает только меня, и не будет лаять, если я его прошу.

Мама взяла мою руку:

– Это не гости…

На ладони остался собачий пух, теплый как зимние варежки.

Когда мы подошли к машине, один из грузчиков поднимал возле колеса рассыпавшиеся книги:

– Пушкин выпрыгнул – засмеялся он. – В подштанниках!

На траве лежали пустые черные корочки с золотым оттиском профиля поэта, а рядом – ослепительно белый переплет растрепанных страниц, с тряпичным корешком и с кудрявым заглавием: Пушкин.

Соседские ребятишки бросились тоже собирать книги. Одна из нянек, воспользовавшись суматохой, просунула пальцы мне подмышки, чтобы рассмешить, а получилось, как холодный градусник во время болезни. «Не тоги мня! Не тоги…», – весело ломала язык девчонка. Но не добившись смешных словечек, хмурилась: будто видела уже совсем другого мальчика.

ОТЕЦ

Теперь мы жили в городе.

В комнате с двумя высокими окнами и стеклянной дверью, на которую бросали тени тяжелые кирпичные арки. Первое время я боялся выходить на бетонный пол балкона и приближаться к ржавому ограждению, тихо стонущему от ветра.

С нашего балкона видны были крыши деревянных сараев, в них хранили соленья и дрова для титанов. Двор огораживал забор из пыльных досок, с множеством дырок от выбитых сучков. Однажды за таким сараем, где пахло сыростью и бутылочными пробками, мальчишки внезапно спросили меня:

– А где твой отец?

– У меня не было, – сказал я как всегда. Так научила мама.

– Был! – резко возразил один пацан с вихрастым чубом. – Отцы бывают у всех!

Я мог бы спорить и даже защищаться. Но был слишком поражен тем, что услышал. Стало трудно дышать в плотном окружении любопытных лиц. Мальчишки ждали ответа. И даже оценили мою гордую выдержку. Подумаешь беда, отцов нет у многих! А у кого-то новые появляются…

Но только не у меня! – даже не помню, когда пришло это убеждение. Хотелось убежать домой, вернуться в привычный мир, чтобы все стало как прежде. Но я остался и весь день носился с мальчишками по крышам. Помогло, как ни странно, это желание – казаться прежним. Легче и отчаяннее получались у меня прыжки, будто ушла какая-то тяжесть. А мальчишки просто не поняли! Отец – это тайна, которую нельзя открывать. Потому что тайна и тот, кто ее хранит, всегда остаются прежними!

Вечером я пришел домой с желанием, чтобы мама успокоила меня. Но спросил неожиданно резко, тоном вихрастого пацана:

– А у меня был отец?

Мама сдалась сразу:

– Был.

В какое-то мгновение я ощутил эхо своего срывающегося голоса:

– Где он сейчас?

– Был, но теперь его нет!..

Я не унимался: «Почему нет?» – «Он бросил нас!» – Мама подчеркнула «нас», как особую неразрывность с сыном. Но на предательские слезы: может еще вернется? – уже расстроилась. Даже рассердилась на грязную одежду и порванные брюки, будто они были причиной ухода отца.

– Быстро снимай! – закончила разговор, когда хотелось слушать и слушаться! А еще было жаль расставаться с рубашкой, что так крепко обнимала плечи, пахла пылью свободы, горечью кленового сока и правды об отце.

– Ты меня не слышишь? (Требовать от ребенка – это брать взаймы! Только, чтобы вернуть с большей лаской.)

Стоя лицом к стене, я сдирал прилипшую рубашку, глотая слезы. Но мама видела их: лицо потное и красное. Во взгляде упорство.

– Иди, умойся!

Я направился к двери.

– Постой, – мама пригладила мои волосы. Не хотела, чтобы соседи видели мое несчастье.

В коммунальной квартире была общая ванная. А в ней мое любимое место – огромный титан темно-синего цвета в глубокую звездную крапинку. Дрова и гул огня в печи всегда успокаивали меня. Я любил погружаться в теплую воду с головой и слушать мягкие, смутные звуки, доносившиеся из комнат. Видимо, это осталось еще от утробной памяти.

В тот вечер я рано лег спать, устав от переживаний.

Мама выключила свет и присела на кровать: «Никому ты не нужен, кроме меня! Никому!..». Она нащупала мои волосы. Одной рукой ей приходилось и ласкать и наказывать. «Мы одни, – я слышал это как свою вину: за дерзкие вопросы, за рубашку, за отца, – разве тебе плохо? Разве нам вдвоем плохо?..» Тяжесть опять легла на детскую душу.

Я повернул голову к окну. Желтый тюль был стянут на две стороны голубой атласной лентой.

Луна попалась в желтые складки, словно творожный ком в марле, подвязанный над тарелкой с молочной жижей. Вспомнилась деревня, где вполне понимали и принимали мальчика, у которого никогда не было отца.

Еще не совсем сознавая своей потери, я почувствовал, что ушедший отец забрал с собой половину мамы. Может даже, более нежную и добрую. Мама говорила куда-то в темноту, что ее сын вырастет хорошим и умным и этим «докажет отцу»… А я лежал, вытянув руки поверх одеяла, глядя в окно, впервые скрывая от нее свои сомнения.

В ту ночь я глубоко спрятал в душе вопрос: кому я нужен?.. Гораздо позже, я прочел в Евангелии, что тот мальчик из Назарета начинал свою земную жизнь так же, как и все прочие безотцовщины, с вопроса: где его отец? Этот вопрос определил возраст нового понимания мира.

Идя по лестнице в подъезде, я заглядывал в почтовый ящик, надеясь первым увидеть серую маленькую бумажку. Вглядываясь в графу «для письма», написанным неродным (но каким же тогда?) отцовским почерком, я бросил кому-то упрек: наверно, сам Господь был первым на свете алиментщиком! (Заплатил бессмертием). Таким понятным в своем одиночестве виделся мне двенадцатилетний мальчик, потерявшийся на ступеньках храма. На удивительные слова: «какой выкуп дашь за душу свою?» – дикой лозой обвила Голгофский крест душа моя.

ПОТОК

1

К пяти годам я знал, что я – с Потока.

Так называли заводской район Барнаула. С отголоском чего-то древнего, бурного, неудержимого.

Наша улица упиралась в парк, со странным названием Пороховой. Во время войны там размещались склады оружия. А по другую сторону дико заросшей лагуны с болотистым ручьем, – как говорили пацаны, – осталось кладбище японских солдат.

Посреди двора была зеленая поляна с яркой травой. Провисшие веревки на покосившихся столбиках. Здесь сушили белье, и оно кропило травку мутными каплями с запахом мыла, особенно в жару. Зимой мама приносила со двора морозные пласты, широко расставляя руки; согнутые надвое простыни стояли домиком, пока не оттаивали, распространяя по комнате запах соленого арбуза.

Летом асфальт во дворе был жирно исчерчен «классиками». По ним прыгали на одной ножке девчонки в коротких платьях и скрипучих сандалиях, изящно удерживая

вторую ногу за голень. При порывах ветра, они зажимали край юбки, теряя прыгучесть, а задранная нога продолжала болтаться, словно хвост трясогузки!

Над сараями свисали толстые ветки кленов, пряча в густой листве разбойничьи гнезда. Помню, раздавался над крышами жуткий крик: «Могута!». Мальчишеская стая беззвучно сигала в бурьян, ловя коленками битое стекло. Никто не пытался даже разглядеть этого страшного парня.

Позже я узнал, что бандит Могута жил в нашем подъезде. Однажды мама сказала: «Вернулся Пашка, седой и с туберкулезом. Близко к нему не подходи!».

На лавочке у подъезда сидел сутулый парень в белой майке. Он играл на гитаре: исколотые пальцы били по медным струнам измызганной синью. На худой груди татуировка томноокого Христа с проволочным нимбом. Страшно было не то, что Иисус вышел из тюрьмы, а что парень носил татуировку, словно орден, привинченный на голое тело. Это был он – тот самый Могута!

Он покрасил волосы в ярко-медный цвет. И на все лето сковал души пацанов, собиравшихся под нашими окнами. А мне, наоборот, становилось легче жить, слушая его блатные песни. Будто горький перец в домашний суп – для аппетита.

Однажды я насмелился подойти к Могуте. Растолкав мальчишек и упираясь плечами в их животы, спросил, почти внезапно:

– А какие у тебя раньше были волосы?

В награду за смелость Могута шоркнул прохладной ладонью по моей голове:

– Да такие ж, как у тебя!..

На впалой груди у него висел большой железный крест с распятием: ноги Христа опирались на череп-кнопку. Пацаны азартно льстили: «А если нажать на кнопку – ножик выскочит?». Паша снисходительно жевал улыбку: «Нажми – узнаешь!»

2

Были в нашем дворе и тихие места, где летом воробьи копали ямки. А пацаны играли в войну.

В сером умятом песке мы рыли ладонями окопы, строили мосты и блиндажи из прутиков клена, расставляли игрушечные танки и солдатиков. Вместо снарядов – капролит, его таскали с завода родители. Пацаны зажигали прозрачные трубки капролита и «бомбили» позиции врага горящими каплями. В первую очередь старались запалить мосты из сухих веток! Огненные шары подпрыгивали и катились по песку, дымясь черными хвостами и бросая настоящую военную тень на поле сражения.

Однажды молодой воробей угодил лапкой в откатившуюся «бомбу». Смешно и не вовремя! Только вдруг умолкла канонада взрывов, шум танков, крики солдат в атаке. Раненая птичка отчаянно выдирала клювом застывшую каплю, просвечиваясь на тонкой шее голубоватым пухом…

Рядом с нашим домом была рабочая столовая. Иногда мы с мамой обедали в ней. Помню, поразили меня два здоровых мужика в промасленных куртках, что сидели за столом напротив, и не просто ели – они смачно закусывали щами свою острую речь: спорили и громко смеялись, широко размахивая сильными руками. И мне вдруг захотелось побыть в их компании, хлебать суп, не глядя в чашку! К тому времени я научился подражать словам и повадкам случайно встреченных мужчин, вкладывая в них свой детский смысл.

На другой день, сидя на кухне – один на один с заданием осилить тарелку борща, – я начал бормотать какие-то незначащие слова, размахивать ложкой, толкать воображаемое плечо собеседника, резко откусывая от доброго ломтя хлеба и жадно всасывая с ложки суп. Я так увлекся игрой, что удивился, когда тарелка опустела. В это время на кухню вошла наша соседка, привлеченная странными звуками, и передала вечером маме, что я странно «кривлялся».

А еще случалось горе посильнее – это внезапно выскользнувшие из рук чашки! Не просто фарфоровые осколки – лепестки праздничной розы – это окончательная потеря прежнего счастья. Потому что из чашки пил когда-то отец! И если мама не упоминала о нем вслух, то всегда сердилась на все, что было связано с ним.

Грустные моменты жизни приучали к странной бережливости. Я хранил в душе события, вызвавшие непонятную

грусть. Может надеясь, что когда-нибудь они вернуться ко мне с новым понятным смыслом. Подобранные на улице жалкие кошки жили на кухне до вечера, обзаводясь мягкой подстилкой и тарелкой. Но приходила мама, с усталым видом выслушивая мои бесполезные мольбы. Кошка прижимала грязные уши, а затем мурлыкала на руках, когда я уносил их обратно на улицу, болезненно отводя взгляд, как в фильмах перед раненым бойцом. И сильней ждал встречи с дымчатой кошкой в деревне, чтобы отдать ей свою привязанность.

Любимое занятие мальчишек – мерить по утрам замерзшие лужи! Звенящий фольгой весенний лед, колючая вода в сапогах, вечером озноб, сделавший тело невесомым – они вернулись в юности образом летящих ночью журавлей.

Помню еще замечательный случай. К соседям пришли гости, я их слышал из ванной, ныряя в теплую воду. Но вдруг отворилась дверь и вошла незнакомая женщина, как-то беспечно не заметив меня! Она склонилась над раковиной, по лицу катились черные капли от туши. В память врезалась стыдливая нужда – я нырял всякий раз, – соединять таинственные движения незнакомой женщины с изворотами моего голого тела! Она играла пальчиками у себя под глазами, уворачиваясь от зеркала мутным взглядом, а потом расчетливо-долго крутила мокрый завиток на виске.

С розового локтя упало несколько капель ко мне в воду, разлив на поверхности запах праздника...

ПРЕКРАСНАЯ МАРИ

1

В соседней комнате жил мой ровесник Вовик. Тоже один с мамой.

Он носил очень толстые очки, которые увеличивали и обесцвечивали его глаза, как у рыб в круглом аквариуме. А еще мне казалось, что если глянуть на солнце сквозь линзы Вовика, то можно прожечь глаза.

Оставшись дома, один под присмотром другого, мы начинали день с любимых пластинок! Словно священное действие, поднимали лакированную крышку проигрывателя. Щипцами для бровей вынимали из круглой головки старую иглу, и обязательно меняли ее, на такую же заезженную.

Вертучий блестящий клык прокусывал бумажную этикетку с названием. Черная пластинка мягко оседала и крутилась, пока еще молча, сверкая двумя лучами, словно надраенная мелко-полосчатой ваксой. Со змеиным изгибом ужалила головка в чистый ободок пластинки, слышался легкий хрип и…

У каждого из нас были свои любимые песни. Мой сосед обожал слушать про беспечную Мари:

Мари не может стряпать и стирать,
Зато умеет петь и танцевать!

Вовик поднимал лицо вверх, крутил носом, широко и как-то пусто открывал рот, оставляя неподвижным свой взгляд, будто забывая его на потолке:

– А где сейчас твой отец?

– Уехал.

Теперь я так отвечал, если уехал – значит, еще и вернется.

Ах, Мари всегда мила!
Всех она с ума свела!

– А почему твой не живет с вами? – спрашиваю в свою черед.

Вовик вздыхал, не опуская взгляда; под глазами натужно вздувалась тонкая сиреневая кожа:

– Мой папа несоветский!

Я не знал, что такое «несоветский», но по тону приятеля понимал, что это не здорово:

– Почему?

– Ну, так говорят. За что он вторую семью завел.

– И ты ходишь к нему?

Отец Вовика мне не нравился – в очках, с грязными волосами и виноватым взглядом. И взять с него было нечего, в смысле подражания.

Тот, кто станет мужем ей,
Будет счастливей всех людей!

Жеманный голос певицы тоже не нравился, вместе с ее мужчинами, которые хорошо стряпали и стирали белье!

С вязким скрипом я отнимал изогнутую головку и под тихое нытье очкарика ставил свою любимую.

С густым шипением игла почтительно садилась на черные волны пластинки.

Там среди шумного моря
Вьется Андреевский стяг,

Суровая неприютная даль моря, которого я никогда не видел. Крики чаек, которых я никогда не слышал.

Бьется с неравною силой
Гордый красавец «Варяг»!

Стремительно летели обороты диска, тонкие нити отпадали от тающей сердцевины. Но соединяли грустную песню с моим настроением.

Миру всему передайте
Чайки печальную весть.

Хотелось быть сильным и верным! Это необходимо ребенку – быть верным кому-то или чему-то. И еще было чувство общего движения огромного количества людей.

В битве врагу не сдались мы -
Пали за русскую честь!

Хотелось верить, что крейсер не потонет, а русские матросы победят, и в их общем ликовании я буду участвовать на равных!

Мне казалось, что печальный мотив я слышал раньше. Вернее, был в том состоянии – круговой беды, – но выстоял вместе со всеми…

Пластинка уютно шипела, игла не в силах была перейти на последний круг. Вовик задирал голову и прислушивался: он умел различать в звуках подъезда шаги младшего брата!

Значит, несоветский папаша уже ждет нас у подъезда.

2

По дороге в баню, мы заходили в парикмахерскую. Здесь всегда пахло одеколоном, мокрыми волосами и ржавым паром от утюга.

Ярко горели лампы с еле различимым запахом жженой шерсти. Зеркала кружили голову. На полу валялись разноцветные лохмы волос, безвольные и траурные, как выгоревшие бумажные цветы.

Вовик шел за спиной отца и чуть было не попал под толстый локоть уборщицы. Она тянула щетку по полу, прокладывая нам чистую дорожку.

После томительного ожидания мы усаживались в кресла перед мутными зеркалами. Всякий раз я пытался запомнить свое прежнее лицо, а Вовик, наоборот, снимал очки и растворялся в серебряной плоскости.

Парикмахерша заводила простыню под подбородок и закручивала узел на спине. При этом наши руки получили тайную свободу, мы все время паясничали, тыкая пальцами в простыню: один палец – мышь бежит, два – кот за ней гонится. Вначале Вовик играл со мной через брата, а потом и сам научился улавливать движенье шкодливых пальцев.

Раздавался шум машинки. Будто жесткий язык кошки облизывал голову. Я немного отстранялся, стесняясь того, что в плечо вдавливался живот молодой женщины, вернее сказать – пуговицы халата, похожие на свиные пятачки.

А Вовик таял в кресле, словно леденец. Каждое прикосновение ножниц, их холодок и плавное клацанье он пересказывал на весь зал. Папаша стоял в дверях и чуть ли не ладонями ловил падающие волоски сына.

В окно глядело летнее небо с кудрявым облаком, стриженным под чубчик.

Из парикмахерской мы шли в городскую баню.

Влажная духота, грязная пена в воронках на скользком полу, наковальный грохот железных тазов о шершавые бетонные скамьи.

Вовик с братом подражали своему папаше: намыливали ладони и осторожно совали их под мышки. Потом визжали поочередно, когда отец тёр спины мочалкой. Это была игра – чувствовать отца, угадывая: на какое плечо плюхнется горячая мочалка…

В раздевалке обычно я одевался первым, стыдился сидеть голым. Проявлял расторопность и Вовик, хотя был без очков, и щурился на братца как на солнышко. Тот капризно болтал ногами в спущенных штанишках. Но когда на распаренной спине отца закрутилась влажная майка, младший быстро вскочил и ловко расправил ее, подражая голосу матери: «Все-то у него шиворот-навыворот!» Счастливый папаша мусолил платком запотевшие очки, а Вовик, желая попасть в их семейную общность, присел перед отцом на корточки, чтобы надеть ему носок. «Ты что? – покрутил пальцем у виска младший брат, – чистые в газете завернуты!» Вовик поднял рассеянный взгляд к потолку, будто вспоминая неунывающую Мари:

Мари ошибки делает в письме,
У нее забавы на уме!..

ПРАЗДНИК

1

Праздники я не любил.

В эти дни дольше обычного лежал в постели, не открывая глаз, и по звукам половиц определял, что делает мама. Если она только встала – возле ее кровати слышался визг гвоздодера. Одевается за дверцей шкафа – сытый шероховатый звук, подобно сыплющейся крупы в бумажный пакет; если половица скрипит у двери – день будет скучным, если скребет кошачьими коготками – что-то случится!

Общий коридор нашей квартиры завален всяким барахлом. Старые пальто на вешалке пахли молью; ржавая ванна с хлопком втягивала плоский живот, если ткнуть в нее пальцем; велосипед всякий раз крутил педалью с прилипшей грязью и осенним листом; санки обмотаны хлипкой веревкой, пахнувшей снежной пылью даже летом. Я любил коридор за беспорядок, за нагромождение вещей в отставке, которые по-прежнему хранили верность своим хозяевам.

Моим местом был старый деревенский сундук. Там хранились игрушки. Я садился на сундук и прислушивался к шагам на лестнице.

Вот хлопнула дверь с оттяжкой.

Кому-то в нос ударял стойкий кошачий запах. Незнакомец обвинял в этом весь подъезд, хотя кошек держали только в трех квартирах. Судя по тому, как человек быстро прошел мимо почтовых ящиков – это был чей-то гость!

Теперь он, наверно, читает косноязычные приветствия на стенах: их пишут подростки, непривыкшие еще здороваться открыто. Поднимаясь по лестнице, гость оценит учет плюсующихся имен на стене, и если формулы не замараны, то и сам засвидетельствует прочность чувств, заявленных углем на известке.

Шаги замирают на нашем этаже.

Звонок в дверь обнародовал радость в соседней квартире.

Возгласы, удивление! – пошло время растрачивания праздничной дороговизны гостя. Оживление уминалось вглубь комнат, но еще долго слышалось, как то в одном, то в другом месте катали в ладошках уголек восторга, весело обжигаясь и раздувая шумливый гомон.

А бывал в нашем подъезде, особенно в праздники, и трубный набат – колотили ножницами по стояку отопления! Это буянил Паша. Шум стихал, когда приезжала милиция. Меж кованых сапог на лестнице слышалось косноязычное шлепанье домашних тапок. Подъезд посылал Пашке, трезвеющему от поруганной чести, добродушного пинка на дорожку. Но в те две недели, что не мелькала во дворе отчаянно-рыжая голова, становилось как-то тревожнее.

2

Однажды мама сказала: «К нам придет гость!». Но почему-то не радовалась, даже хмурилась в маленькое круглое зеркальце, выдергивая пинцетом брови и сдувая грусть через губу.

Готовилась странно: будто гость появиться внезапно, но не застанет врасплох. Все чашки и блюдца стояли помытыми в серванте, заняв круговую оборону.

Только бархатная скатерть была заранее постелена – с желтой шелковой бахромой как у знамени, – высоко взметнувшись над столом, сгоняя застойный дух.

Вечером он пришел: высокий, плечистый, с кривым разлетом бровей. Дядя Федя! Уселся посреди комнаты на хлипкий стул, отчего вещи вокруг показались маленькими и хрупкими.

Протянул две помятых конфетки:

– Как дела, шофер?..

Угощение я положил на стол. Не хотел тратить время.

От гостя пахло машиной; на щеках длинные крепкие морщины, они быстро двигались – как «дворники» во время дождя.

– Давай играть в мотоцикл! – предложил я.

– Не давай, а давайте, – поправила мама.

– Пусть играет, – разрешил дядя-шофер.

Обхватив толстую ногу, я попытался приподнять ее, упершись плечом в колено гостя.

– Сережа! – в голосе мамы слышалось удивление.

Но если не оборачиваться сейчас, то и не узнаешь, что она сердится: мол, кидается к первому встречному!

Гость закинул ногу на ногу, покачивая носком. Ему-то легко понять пацана.

– Ой, завести-то забыл! – крутанул я кулаком воображаемый «газ».

Потом ударил ногой о педаль-носок:

– Дрыг-дыг-дыг! Дрыг-дыг-дыг!

Колено гостя было твердое, но удобное:

– Давай на кочках покатаемся!

Мама уже не останавливала, но смотрела с какой-то подчеркнутой грустью. Дядя Федя тряс ногой, а я выдувал губами надсадный звук мотора.

Сегодня не хотелось вникать в разговоры взрослых.

– Не думай, что через ребенка тебе удастся…

– Варя, я и не думаю ничего!

Маме не нравится такой ответ.

Гость встал, разрушив игру.

Но я не отставал и просил гостя согнуть руку. Потом давил гнущимися пальцами кирпичные мускулы: «А ножницами можно ткнуть?» Дядя Федя смеялся, готовый рисковать, и удивлялся: почему не улыбается мама.

– Давай еще покатаемся на кочках!

– Нет, брат, не могу!

Шофер подмигнул, и хлопнул себя по коленке.

– Почему?

– Бензин кончился!

Тут я схитрил, будто не понял:

– А как надо, чтобы не кончился?

– Заправиться нужно! – гость покрутил огромной ладонью воображаемую крышку бензобака.

– Завтра приходи заправленным!

Дядя Федя посмотрел на маму тем же взглядом, с каким я просил ее оставить дома бродячих кошек.

Потом он ушел; и ржавая ванна барабанила ему отступление.

Мама села за пианино, направив на себя медные кронштейны-подсвечники. В них еще были остатки свечей, что горели при отце. Под тяжелой крышкой, где таятся струны, хранилось былое счастье. А гость не понравился маме, потому что не сумел попасть в то прекрасное время.

Из нашего окна виден заснеженный сквер.

Февральское солнце – словно желтый павлин – распустил переливчатый хвост крученых облаков, с зеленоватыми пятнами. Вечерняя птица бродила меж стволов кленов, то зачарованно клоня к земле маленькую сонную головку, то плавно встрепенувшись, сворачивала длинный хвост (облака сносило к горизонту), оставляя на голубом снегу ярко-золотые следы.

Казалось, павлин склевывал грустные слова песни об осенних листьях: «Пусть они тебя больше не радуют, – странно западали клавиши. – Все равно я к тебе не приду!..».

В коридоре горела тусклая лампочка. Я сидел на сундуке, слушая мамин романс. Хотелось, чтобы кто-то пришел сейчас в смутные мысли, разъяснил или просто сказал: да, так бывает!..

3

За всю неделю я не спросил маму ни разу о дяде Феде. Но глядел в окно, чтобы случайно увидеть крепкую фигуру в кирпичной арке нашего двора. Безотцовские дети терпеливы в ожидании.

А дядя Федя пришел, как и обещал, заправившись.

– Я, – говорил он маме уже смелее, – битый жизнью, как бильярдный шар!

Брови сложились в «загогулину» для запуска мотора вручную. Мама слушала отстраненно. Я видел в тоскливых глазах гостя, что у него не заводится что-то, как в моем мотоцикле. Да еще сахар остался на дне чашки: «Не приходи таким! Сын мой, слава Богу, огражден от подобных примеров…».

Гость оживился.

Мотоцикл завелся! Я страшно газовал, и, судя по тому, как метались «дворники» – в дороге шел дождь, почти ливень. Пришлось соскользнуть с колена, не дожидаясь, когда мы разобьемся...

– Совсем не приходить?

– Можешь совсем!

– Ну, значит, отбой…

Так рано? Почему? «Может, еще не уйдет!» – мелькнуло в голове. Нужно закрыть дверь, тогда гость не выйдет. Ключа не было, тогда – завязать на веревку. Не найдя веревки, я выдернул шнурок из ботинка, тут же проглотившего свой кожаный язык.

За столом говорили резко, не обращая внимания на возню у двери. Вот привязан шнурок к дверной ручки, но не хватило длинны до спинки кровати.

– А ничего и не делаю… такого, он сам тянется! – жалел кого-то дядя Федя.

Только бы не ушел, только бы успеть. Гость толкнет дверь и скажет: здесь закрыто! И мама разрешит, мол, раз так, то оставайся тогда у нас!

Вот он резко встал, откинув стул за шкирку. Заскрипели разом все половицы в комнате.

В позу забияки встало пианино, скрестив подсвечники на лакированной груди.

Я нагнул голову. Но шаги оборвались.

Нужно скорей довязать что-то! На глаза попалась шапка-буденовка с длинными ушами. Один конец ее тут же побратался со шнурком, второй дотянулся-таки до железной спинки.

– Нет, нет и нет! – раздалось за спиной. – Катись-ка, шарик, в другую лузу!

Гость встрепенулся, как зимний павлин, и решительно шагнул к двери. Толкнул ладонью, не заметив преграды. Буденовка упала к ногам…

В коридоре отозвалась ржавая ванна да бесцельно качнулась педаль велосипеда.

РАЗЛУКА

В лето перед школой меня отправили в лагерь.

Помню сосновый лес, светлый и теплый. Пахло нагретыми мхами, и хотелось с дороги приклонить голову на подушку. Но вместо того, меня привели на большое поле: ноги утопали в мягком песке с сухими иголками. А вокруг – брожение людей. Дети и взрослые, будто заранее сговорившись, двигались так, чтобы запутать меня. Все они, кроме меня, находили место, сцеплялись руками в огромные круги и вереницы. Махали флагами, подкидывали вверх мячи. Их краткий полет в синеве кружил еще сильней голову. Чьи-то смуглые руки ловили мяч, прижимая к груди и выставляя в стороны острые локти.

Гремела музыка, хлесткий голос в динамике вколачивал резкие слова. И нельзя было уйти в свой новый дом – нагретый солнцем дощатый корпус, чтобы достать из казенной тумбочки домашнюю игрушку. В большом празднике на стадионе я никак не мог ухватиться за что-нибудь понятное или знакомое.

А к вечеру просто заболел.

В медпункте было тихо, стояла отдельно кровать, от белых стен веяло прохладой. Врач осмотрела: это не простуда, хотя поднялась температура. «Мальчик ушел в себя», отвечал вяло, морщился на таблетки.

– Что ты чувствуешь?

– Хочу домой, – закрыл глаза.

А проснулся уже в кабине машины. Меня держала на руках медсестра. Была ночь, фары освещали стволы сосен. Казалось, что они разбегались врассыпную от рыскающих лучей. Машину трясло на ухабах. В желтых глазках приборов воспаленно качались белые стрелки.

– Потерпи, – говорила девушка, заметив открытые глаза. – Тошнит тебя?

Видимо, я был бледнее стрелок…

В подъезде меня нес на руках шофер, металась от двери к двери медсестра, выискивая в потемках нужный номер. Вот на пороге появилась мама и приняла меня – ничему не удивившись. Уложила в кровать, под легкое одеяло, тут же снявшее тяжесть в теле.

Я успел даже отметить приятный запах в комнате.

Мама трогала горячий лоб: душистой ладонью провела от виска по щеке. На окне стояли цветы – смутно выделяясь их темные головки. Я вспомнил лагерные цветочки, что бросали в небо на празднике, и сказал об этом. Медсестра пожала плечами, будто не помнила гвоздики и ничего не понимала в странной болезни...

Проснулся я совсем здоровым.

Мама на работе, а в коридоре меня поджидал Вовик. Задрал очки: мол, тут без тебя такое случилось!..

– Да знаю!

– Уже видел? – обрадовался он. – Идем. А то мне не разрешают выходить одному.

Вовик поймал мою ладонь. Спускаясь по лестнице в подъезде, мы пробирались меж бочек с известкой и строительных лесов, заляпанных краской: «А правда, если известка попадет в глаз, то выжжет?..». У него были мягкие, чуткие ладони, наверно, таких рук не хватало мне на празднике в лагере.

Двор показался мне маленьким и тесным. Как кабина продуктовой машины, на которой меня привезли.

Но теперь вспоминалось что-то хорошее во вчерашней ночи. В душе осталось что-то такое, с чем будет приятно встретиться позже. Я вновь ощутил мое ночное пробуждение на плече медсестры. Будто бы стало трудно и сладко дышать, оттого что я уткнулся лицом в ее густые волосы...

Вернувшись домой, я нашел те ночные цветы на подоконнике. Оказались белые и некрасивые, одна гвоздика вовсе сломлена.

Прошелся по комнате, спрашивая говорливые половицы. За всех ответило пианино. Крышка поднята со вчерашнего. Вспомнилось ночное порывистое движение мамы – нарядно-кружевное, из былой жизни. И это не мое очарование, показалось опять болезненным, как внезапный озноб в лагере.

С какой-то капризной решимостью, открыл я шифоньер, чтобы узнать ночное платье мамы. Черное с блестками. Оно висело в глубине. Я залез внутрь шкафа и прикрыл дверцу. Стало темно, тихо и уютно. Платья ласкали лицо, словно вчерашняя ладонь, пахли духами и счастьем. Они висели взаперти, ожидая своего часа. И я тоже запер себя, просидев в шифоньере почти до вечера. Даже задремал, а во сне увидел ночную маму с темным завитком у виска...

ЧАРЛИ И КОСМОС

1

Первые школьные месяцы показались мне безотрадными: жизнь резко поделилась на время учебы и на все остальное.

А чтобы детство было счастливым – оно должно быть непрерывным!

Новенькая форма – белая рубашка и серый костюмчик – придавала бодрости, но стесняла движения. На металлических пуговицах сверкали солнечные оттиски!

Со мной рядом стоял мальчик в поношенной форме, сидевшей на нем, будто на бывалом солдатике. Позже, он рассказал, что носил форму все лето – так хотел в школу!

Девочки были в кружевных фартуках и огромных бантах – словно белые гладиолусы-коротышки.

Нас собрали в тенистом дворе.

Яркие лучи пробивались сквозь резную листву, прилизывая желтыми пятнами стриженые головы новобранцев. Мы взялись за руки – как при игре в «ручеек» – и пошли, нестройно топая под музыку. На высоких ступнях оборачивались, и мамы кивали нам, растерянно улыбаясь. Часть жизни отошла куда-то в сторону, под тень старых кленов.

В классе пахло олифой и бумажным клеем. На стенах висели портреты, похожие на родственников. Бородатые, чуть скорбные лица в раздумье: мол, сколько приобретешь от знаний, столько и упустишь от жизни.

Толстый слой краски на партах не скрывал прежних царапин, выражавших чьи-то чаяния или досаду.

Чернильница-непроливайка то и дело скользила по наклонной доске, и я останавливал ее локтем. Новое перо стучало о стеклянное дно. А жирная капля – на матовом острие с бороздкой – дрыгалась, как лягушка в клюве цапли.

Особый трепет вызвала нежно-шершавая промокашка! Она впитывала в себя капли разной величины, превращаясь со временем в карту звездного неба.

С первых уроков стало понятно, что взялись мы за что-то большое, долгое и навязчивое.

Ряды палочек, овалов, закорючек, все это быстро смешалось на линованном поле тетради, словно шелуха от семечек, которую хотелось поскорей смахнуть прочь!

В теплые сентябрьские дни, за окном манило солнце. А каракуль из тетрадок много было в школьном саду: сухие веточки в траве, засохшие кленовые сережки, согнутые вразнобой стебли астр, неряшливые фиолетовые лепестки с желтыми подпалинами. Даже грязно-серые облака, мутно расплывались на небе, будто проступившие сквозь промокашку чернильные пятна.

Голос учительницы слышался из разных концов класса; рыжая девочка – моя соседка – следила за ней, будто хотела пожаловаться, и закрывала ладонью тетрадь, словно моя жуткая мазня могла замарать ее аккуратные буковки.

Иногда учительница останавливалась возле нашей парты, опираясь руками на доску. Меня удивляло то, что Тамара Максимовна считала глупые закорючки таким важным делом. Она была красива, как все первые учительницы.Длинные имя и отчество ее ученики произносили старательно, почти филигранно, как витиеватую надпись на переходящем кубке.

2

На больших переменах ученики стремглав бежали сад.

Девочки вытянули котенка из подвального окна и гладили наперебой. Рыжая девочка прижимала его к щеке, совсем не брезгуя. И котенок играл лапкой с ее пушистыми волосками.

Мальчишки сидели на лавках, шоркая ногами землю. Пацан в поношенной форме предлагал всем побиться:

– Давай играть в кулачки!

Он протягивал сжатые ладони и объяснял:

– Бей!.. Если я увернусь, то буду бить в ответ.

К концу перемены на костяшках у пацанов горели красные пятна.

– Я всех победил! Всех-всех! – обвел нас заносчивым взглядом.

Его прозвали Кулачком.

Вечером нас забирали родители, а по дороге спрашивали про школу. И одна мамаша громко учила сына:

– А ты скажи ему в следующий раз: мол, я в азартные игры не играю!..

Домой я приходил, но не возвращался. Все для меня стало другим. Я стал замечать то, что не интересовало меня раньше. Вот появился на окне ящике с укропом. Тетя Галя выращивала «для зрения» сыну, а я видел в тощих всходах с завитушками мои неказистые буковки! Вовик скучал без меня, пока не пошел в свою школу. У нас разладилась игра в парикмахерской: мы перестали угадывать движение пальцев под простыней.

Крыши сараев уже не манили так, я потерял прежнюю ловкость, часто поскальзываясь на лужах, как перо ручки

на кляксах. Даже царапины на любимых пластинках напоминали мне о кривых палочках в тетради.

В октябре пошли дожди, косые струйки чертились на стеклах школьных окон. Дрожащей рукой я пристраивал буквы к наклонной линейке в тетради, будто чучела на проволочный каркас. Особо растрепанно получались длинные «ж» или «ш».

Школа завела пружину взросления. Появилось новое чувство: надо успевать, иначе «отстанешь!».

Задания на дом не сразу стали ежедневной привычкой. У меня вообще не было сформировано такое понятие. Все каждодневное давалось трудно. Все непонятное я просто хранил в себе – до поры до времени, потому что привык обходиться без чужой помощи.

И вот однажды учительница принесла в класс фильмоскоп и слайды с кадрами из фильма:

– Смотрите, это – ваши буквы!

На экране застыло грустное лицо – как чернильная капля, разлетевшаяся на несколько пятен – кудрявые волосы, темные глаза, маленькие усики! Смешной человек изображал наши буквы. Мы, смеясь, узнавали их: вот он вытягивал ногу и поднимал в руке тонкую трость – буква «к», вот снимал котелок, сгибаясь в жеманном поклоне – буква «г». Человек-буковка кривлялся на фоне красивых домов, стеклянных дверей, корзин с цветами и лохматых пальм – похожих на салфетки в стакане.

Занятия превратились игру!

Прошла обида на «кривых бродяг», мои буковки пошли к красной черте походкой Чаплина!

3

После уроков несколько учеников оставались в группе продленного дня.

Помню, шел дождь, меня сморило после обеда, по детсадовской привычке. Я сдвинул стулья и прилег, подняв воротничок, как маленький бродяга Чарли.

– Пойдешь спать в изолятор?

Нянечка отвела меня в сумрачное помещение, с кроватями похожими на больничные носилки. На одной из

них сидела моя рыжая соседка по парте. Она смутилась, ерзая и расправляя подол белой гофрированной юбки, будто снежинки из салфетки. Подобные снежинки на праздник мы вырезали ножницами, выстригая на сгибах разные причудливые дырочки.

Можно сказать, что в тот момент я впервые столкнулся с ощущением женственности.

Девочку звали Ира:

– Он подглядывает за мной!..

– Да больно надо.

Нянечка сказала, что «у нас лежат только больные дети!» и мы умолкли. С того дня, Ира заходила в изолятор первой, раздевалась и звала мальчишек: «Идите!.. долго еще?». Или вовсе капризно: «Только не сопеть раньше времени!..».

На уроках Ира писала лучше; а закончив, складывала руки на парте и замирала, чтобы привлечь внимание учительницы. Или поднимала руку с кошачьими царапинами. Наши мамы сдружились первыми и забирали нас из школы по очереди. Мы шли по улице, взявшись за руки, и прохожие часто спрашивали мам, глядя на нас: «Двойняшки?!». Особенно умилялись мужички, что стояли на ступеньках винного магазина, мол, трещат, как два попугайчика!

Путь домой вел мимо палисадника, огороженного спинками от кроватей, с железными прутьями, увенчанными витиеватыми набалдашниками. Высвободив ладонь девочки, я ковылял к ним походкой Чарли и дергал, вихляя спиной: мол, смотрите: умора – это моя трость застряла!

Во дворах зияли дыры открытых погребов, и так хотелось пройтись по их краю, как в смешном кино, чтобы зрители гадали: упадет или нет? В траве лежали кучи новой картошки, пахнувшей речным песком и деревней. Сушились старые пальто для укрывания погреба в морозы. А я представлял себе, как маленький бродяга примеряет рваное пальто без пуговиц; затем снимает с веревок прищепки, превращая их в смешных деревянных кузнечиков, прыгающих на груди.

4

На уроке чтения наш класс превращался в птичий базар! «Ма-ма мы-ла ра-му». Я не мог произнести «ма-ма» раздельно! Этот звук с младенчества был цельным, и когда его разделили – то будто вынули душу! Я спотыкался об тире, карябая ногтем в букваре: «Ма-ма мы-ла ра-му». Звук «ры» накладывался на звук «ра», вытесняя его.

Еще долго не мог я понять нужности школьного обучения и просто терпел.

Легче давалась арифметика. В сложении и вычитании чувствовался дух свободы! Каким-то образом я уже мог вычитать прекрасные годы маминой юности из последующей жизни и складывать испытания, которые выпали ей до моего рождения.

Помню, каким горем стали для меня первые оценки! Тетрадь была изранена красными чернилами: «двойка» шипела ядовитой змеей, «тройка» была не в меру задумчивой и шаткой, «четверка» – жесткая и дощатая, как брошенный скворечник, ну а «пятерка» – словно цветок на камнях.

А в школе все менялось с каждым днем.

Однажды я заглянул в тетрадь своего приятеля Кулачка и поразился рядам красивых ровных букв! Похожи на его крепкую фигуру.

Учительница выделяла только тех учеников, которые успевают. Или еще кто хулиганит.

Мальчишки тех лет болели космонавтикой.

Мы с Кулачком придумали игру: бегать зимой в столовую – без пальто и шапки – сравнивая свои ощущения с полетом на орбиту.

– Мальчики, оденьтесь! – неслось за нами, как обратный отсчет на старте корабля.

Щипало уши, но мы передавали на Землю нашей учительнице: «Бортовые системы работают нормально!». Поскальзываясь на дорожке и удерживая друг друга, перекрикивали ледяной скрип летних подошв: «Корабль избежал столкновения с кометой!». Мороз лез подмышки – хлопали себя по бокам: «Перехожу на особый режим! – Беру управление кораблем!». Что за режим – не

важно, просто и весело летел галактический бродяга в тонком пиджачке с тростью и строил в иллюминаторе грустные рожицы беспечным кометам.

Уже позже я смотрел фильм «Огни большого города». Моя первая учительница была похожа на цветочницу. Тот же странный взгляд: снизу вверх, минуя глаза ребенка; те же хлопотливые руки. Светло-русые волосы с завитушками на кончиках – как у тех изящных букв, что писала она для примера!

Думаю, в память ее уроков ко мне пришло убеждение, что художественная проза создается на тех же принципах, что и немое кино! В ней должно быть много музыки, жестов и воздуха, а диалоги – на темном фоне светлыми словами.

ДЕРЕВНЯ

1

Из окна электрички открывался изгиб реки Чумыш. Скрипели шарниры моста, словно железные качели – душа растягивалась на две стороны.

Первое, что я видел – огромный холм на краю деревни. И всякий раз с новым запалом поднимался мой взгляд по убористой горе, коронованной березовым лесом.

В вагоне звучало торжественно и длинно:

– Станция Усть-Таленская!

Серый перрон, белая пыль по краям дождевых луж. На лавочках расположились торговки, широко раскинув юбки. В ведре с семечками криво осел стаканчик, неопределенного размера.

Босоногая девочка цыганка путалась меж идущими пассажирами, протягивая им смуглую тонкую руку. Тяжелые кудри на плечах были такими черными, а цепкие завитки так похожи на чернильные кляксы, что казалось, они должны были испачкать ее белое платье. Но оно светилось на солнце какой-то полупрозрачной белизной. Придавая облику цыганки схожесть с чернильницей-непроливайкой!

Я следил за юркой цыганкой, удивляясь тому, с каким различным чувством обращается она к незнакомым людям. В одном толстом дядьке будто бы «узнала» родственника, наивно обнимая его и смущенно отталкиваясь от упругого живота с расстегнутой пуговкой. В другой женщине отгадала любовь к танцам, крутила ладонями с растопыренными пальцами и даже поощрительно кивала, будто приглашала на круг. Парень с рюкзаком натянул лямки на груди, и все удивлялся, что «задолжал» ей несколько копеек. А цыганка причитала ему в спину, потешаясь над «штопаным сидором».

От станции мы шли вдоль железнодорожной насыпи.

Две стальные вихляющие полосы уходили вдаль. А у меня дрожали ноги при виде кипящих струй воздуха над рельсами. Однажды этой дорогой мама бежала из родительского дома с ребенком на руках. Было это ночью, может, даже в метель. Она рассказывала не раз, как страшно гудел поезд, и будто бы ее остановил шевелившийся в руках комок!..

Но вот насыпь осталась позади. Во всю ширь распахнулась деревенская улица, и уже издали я узнаю за высокими ивами наш дом.

Петляют на дороге засохшие колеи, к жирной грязи прилип и дрожит на ветру зябкий птичий пух.

У калиток насыпаны островки скрипучей золы. Старушки в цветных носках и черных калошах сидят на лавочках.

Они знают всех, кто идет по улице:

– Варя, это у тебя сын такой большой?

Мама останавливается.

– На отца похож!

Держась за руку, я чувствую, как напряглась ладонь мамы. Забвенье отца было везде, кроме деревни.

– Да, тот же лоб и нос!..

Мама обнимает смущенного сына за плечи: «Нет, он – только мамин и больше ничей!»

– А глаза, вроде, мамины! – соглашаются бабушки, с хитроватым деревенским прищуром.

Я прячу лицо в юбку, и старушки добродушно смеются, поправляя платки, мол, точно угадали – любовь-то вся мамина будет!

А после сообщали, как очень важное:

– Ойныны-то все в огороде!

У моего деда была самая-пресамая деревенская фамилия: звонкая, легкая на отклик и быстрая на подъем. Особо красиво она звучала во множественном числе. Нас – Ойниных – много! Это поймешь враз, когда кто-нибудь из соседей крикнет через два огорода, четыре плетня – гулко, весело, объединяюще: «Оой-й-й-нины!..».

Дом на взгорке, за ним выглядывал сад. Плетень огорода спускался к берегу ручья, и забавно было видеть, как новые ивовые колья, вбитые весной, выпускали летом зеленые побеги.

Вдоль ручья росли огромные коренастые талины; в их тени блестела жирная грязь, испещренная белым пухом. На изрытом кочковатом берегу сейчас дремали стаи уток и гусей, уткнув от жары голову под крыло.

Перед калиткой нас встретил чуткий мосток.

Его доски могли прогибаться под худеньким мальчиком, и не колыхался под тяжестью толстяка-соседа, словно мост взвешивал только страх в душе идущего. Помню, как однажды на мосту проверяли меня гуси – вились канатными шеями и страшно хлестали крыльями. Главарь-забияка крутил кургузым задом, низко опустив клювастую голову.

Открывая калитку, я чувствовал, что мама не хочет идти в дом, где мы жили когда-то…

В тот же день она возвращалась в город, а я оставался в деревне.

2

Гостил я недолго, оттого что никогда не хотел уезжать. Ни летом ни зимой…

В деревне хранились все мои тайны.

С каким удовольствием я просыпаться утром под треск дров в печи! На перине и под толстым одеялом, проведя теплой ладонью по влажной прохладе бордового атласа.

Скрипели чугунные петли дверцы, дед Егор проталкивал в печь новое полено; слышно было, как с жарким шипением осыпаются огненные руины прогоревших дров.

В мелком переплете рам, подмазанных пластилином, запуталось весеннее кудрявое солнце. Обломав бока, оно уткнулось жидким пятном в линялый половичок; наверно, дав себе слово – не сдвинуться дальше с места.

Тряпичный круг, польщенный солнечным вниманием, преобразился свежестью красок и пустил по горнице пыльный холщовый дух.

Я чихнул и окончательно решил вставать!

За окном чавкала в ведре молодая свинка. Она стояла посреди замерзшей грязи загона, отливающей сизой копытной чеканкой. Лениво переступая, свинка глядела задумчиво на теплый солнечный оползень, смывающий голубой иней с досок сарая. Короткая шерсть ее дыбилась от холода, просвечиваясь розовой шкуркой.

Понюхав влажным пятачком золотое пятно, свинка зажмурила раскосые глаза и потерлась о свежевымытые доски.

За околицей виднелись холмы с красными подпалинами. А меж ними – сосновый лес в голубовато-молочной низине!

В доме было тихо, но не пусто.

На простенке меж темных окон – сумрачная ретушь семейных фотографий. В деревянных рамках настороженные лица, будто в каком-то сомнении, глядели на меня. Во взглядах должное соответствие воздушных струй души с наивной модой сердца.

Словно весной заглянул в лунку мелкого ручья и увидел на тихом илистом дне стаю застывших рыб с легким движением вееров-плавников под розовыми жабрами.

Вот прадед – в белой фуражке с околышем, пуговицы рубашки под горло; большие руки крепко уложены на колени, полосатые штаны заправлены в сапоги. Глаз у него веселый, на теневой стороне лица – блестит колючкой; усы – как воробьиные крылья! Прабабушка в теплом платке, делающим крупнее ее маленькую голову; глаза глубокие, умаянные, крепко пойманы в сети морщин.

Фотографии на стене караулят покой в доме.

А душа вызревает в тишине.

Я перевожу взгляд на икону, покрытую синим бархатом вышивки. И не смею перевернуть ее! Тайна в детстве была моей любимой игрушкой.

3

Детская память плохо воспринимает событийный ряд жизни: легче запоминаются люди в своих привычных позах – как на иконах с особым внутренним движением.

Венчик седых волос вокруг розового темени, шершавого на вид, словно цыпки на детской ладони – это дед Егор. Навсегда запомнился с книгой в руках – он читал при любой свободной минуте! Кидал навоз – и тут же брался за «Историю наполеоновских войн», подвязывал кусты малины, изломанные снегом – раскрывал книгу «Фарадей – повелитель молний», почесывая оцарапанные ладони, когда переворачивал страницу.

Высокий и сутулый, дедушка замирал над книгой, как бабочка на травинке, не выражающая ничего, кроме сосредоточенности аллелуйно сложенных крыльев. В направлении бабочки уходила память о серо-мучнистой пыльце на кончиках пальцев, и детской уверенности в том, что без этой пыльцы бабочка не сможет летать! Прозрачные сетчатые прогалины на измятых крыльях бабочки связались в памяти с жидкой плешью деда, и ощущением легкости подъемной силы души.

И еще мне казалось, что дед никогда не покидает своей усадьбы, даже когда едет в город – продавать зеленый лук.

Только один раз, – это рассказывала мама, – Егор Семенович уходил из дома. Увидел на гвозде в «нужнике» странички книги по астрономии дореволюционного издания и ушел… Жил на сеновале! Жена Мария подсылала к нему дочь, мол, долежится, что мыши за ногу цапнут. На сеновале он читал целый день. И я представлял себе, как тонкими волнами проходила сквозь щели вечерняя прохлада. В волосах торчали соломинки. Будто колючий венец мученика.

Ночами слышны ему были крики весенних журавлей.

Помню весеннее утро, дед Егор долбил желобок во льду перед колодцем, а я выгребал осколки лопатой. Пригреет солнце к обеду – в ледовых берегах потечет ручей.

Осколки льда прилипали к деревянному срубу колодца, к серым валенкам и даже отметились темными влажными пятнами на штанах деда.

Срывался цепной барабан, в припадке бешенства крутилась железная ручка-культя, резкими звуками калеча деревенскую тишину.

Взрывался ледяной звук, глухо стонало пойманное и уже тонущее ведро. Я заглядывал в колодец, спускаясь взглядом по влажно-зеленым венцам бревен, окаменевшим от древности сирости. На дне, покачавшись недолго, застыл мутно-зеркальный квадрат, словно вырубленный в черной скале.

Здесь, в морозной тишине колодца, дед хранил свою главную тайну. Неподъемную для ребенка, – как пудовая гиря, которой прижимали капусту в бочке. Мой дед служил у Колчака! Он охранял его вагон в последний день и видел трех золотых орлов на сгорбленных пагонах. Но говорил об этом просто: «Тогда всех подчистую мобилизовали!..».

У Егора Ойнина было запретное прошлое, которое в семье тщательно скрывалось. После гражданской войны он навсегда оставил родные места, где ему не простили службу у белых, уехал в город, а потом и вовсе затерялся с новой женой в чужой деревне.

Страсть к чтению – единственное, что осталось от прежней жизни. Может потому баба Маша так не любила книг – они могли выдать беглого колчаковца. Она запрещала покупать новые книги, нещадно раздавала детям и внукам библиотеку деда. Только книжный шкаф все равно пополнялся.

Дедушка приезжал в город торговать на базаре весенним луком, а потом заходил к нам домой. Мама кормила его борщом, наливала стопку неразбавленного спирта. Дед протягивал мне книжку, купленную у букиниста, мол, приедешь в гости и «подаришь»…

Помню, привез ему «в подарок» обшарпанный томик Пушкина, а в нем цветная картинка: кудрявый лицеист вы-

ступал перед экзаменационной комиссией, победно выдвинув вперед ногу в лощеном сапожке! Против юноши полукругом сидели благородные старики, увешанные орденами. В порыве восторга черноволосый мальчик вскинул руку. Казалось, потешным штурмом брал седовласый редут, как дети атакуют снежные городки!

Сквозь весеннее солнце пошел реденький снег.

Дедушка крутил ручку, мокрыми ровными кольцами обвивала цепь дрожащий барабан. Юркое колодезное эхо ловило падение капель. Запотевшее ведро выныривало из неведомых глубин: «Раньше хорошо жили! У отца семнадцать лошадей было... Масло бочками возили!». Дед Егор окончил мужскую гимназию в городе! Как в известных стихах: «и тот похвальный лист, что из гимназии принес Ульянов-гимназист!». Звучало красиво, будто прическа с душистой водой. (В парикмахерской после стрижки «под чубчик», всегда спрашивали: «Побрызгать мальчика?» – «Нет, – отвечала мама, – сегодня в баню идем».)

Снежок усилился. Русло жидкого ручейка постепенно забивалось шершаво-игольчатым ледяным илом.

Солнце тонуло в болотистых облаках, уходящих темными кочками в черный лес. Старая яблоня роняла на крышку колодца парные ранетки, соединенные меж собой коротким морщинистым обрубком.

Белый адмирал запомнился мне в образе яблочного чубука, с нежно-зеленым надломом у основания.

4

В баню дед ходил первым. А когда парился – белые клубы вырывались из всех щелей под крышей.

Крупные капли – розовые на закате – стекали по горячему стеклу. В мутном окне плясал веник. Слышно было, как разопревшая дверь временами отхлебывала свежего воздуха.

Бабушка посылала меня:

– Иди, кабы не угорел там!..

Вечернее солнце освещало крыльцо, под ступеньками лежали старые веники, цвета выгоревшей гимнастерки.

Я стучал в дверь: мол, не поддавай пока! Входил в парную и чувствовал себя ошкуренным липким прутиком ивы! Пристраивался на краю скользкой лавки.

Дед опрокидывал на лысую голову ведро холодной воды, – вскипали дождевой рябью лужи на полу, – и уходил отдыхать в предбанник.

Сквозь запотевшее стекло виднелась огуречная грядка из прелой соломы. На ней лежал снег. А в парной нестерпимый жар. Чесалось тело, – я пробовал лупить себя веником без разбора и удовольствия. И вскоре выбегал в прохладный предбанник.

Здесь пахло пыльным драпом старой шинели и влажной трухой от березовой коры.

Дед накрыл голову большим полотенцем, словно кочевник в пустыне. Налил себе из мутной бутылки – влажные пальцы преломлялись розовым отпечатком на граненом стаканчике. Дедушка пил медленно, стараясь подольше удерживать внутри себя благодатный жар.

Хрустя соленым огурчиком, он замирал, храня под полотенцем уютный запах банных листьев и дрожжевого теста.

В открытую дверь залетела оттаявшая муха, и было слышно, как она сучит лапками, цепляясь за желтую бумагу. Верхние полки над нашими головами завалены стопами старых газет, перевязанных бечевкой.

Внезапно сыпанул дождик, смешиваясь с паром из бани; в голом саду туманились прозрачные кроны яблонь.

Лиловые тени от старых талин дотянулись до грязнорыжей грядки. Пестрые курицы ковырялись в навозе, распушившись от парной сырости вечера.

5

Летом в деревне я спал долго.

Даже когда солнце щекотало ресницы. А под крыльцом гремел цепью неугомонный пес! Звали его Шайтан! Учуяв мое появление, он прыгал до перил и радостно скулил. Встретившись на цепном коротке, я трепал лохматый загривок, перебирая ладонью скатавшиеся лохмы. А он становился на задние лапы, скашивал карие глаза, может быть, чувствуя запах своего первого хозяина! Тяжелые

лапы давили плечи, пес лизал горячим липким языком мое лицо, а я смеялся, закрываясь ладонями.

Иногда он поднимал нос, влажными ноздрями втягивая запахи из кухни. Это бабушка стряпала пирожки с картошкой и жареным луком.

Румяные спинки она смазывала гусиным пером, окуная его в топленое масло. Может быть, перо того самого гуся, что испугал меня на мосту!

– Твои любимые! Кушай…

У бабушки одинаково ловко получалось подцепить пирожок и коснуться самой жгучей моей раны:

– Ты уезжать в город-то не хотел… В будку собачью залез и говоришь: буду, мол, жить там!..

В памяти вставал хмурый день отъезда, а в душе обида, что не пришел никто, не превратил наивный порыв в игру! Так и осталась – соломенная подстилка в будке – тем любимым и больным местом, где до сих пор не пришлось мне повзрослеть.

А за окном подмигивало солнце сквозь густую листву, на ветках черемухи блестела россыпь черных ягод. Я бегу во двор. Теперь весь день будет выстлан мне золотой соломкой!

Вдали потягивались холмы, приплюснутые голубой дымкой. Березы просушивали долгополые ветви. Влажный мох на бревнах колодца сжался светлыми комочками.

В траве блестели красно-рубиновые капли росы; по мере того как солнце припекало, они скатывались вниз, превращаясь в голубовато-изумрудные россыпи.

Дорожка в огород вела через заросли вишни.

Толстые изогнутые стволы, блестящие наплывами застывшего сока, напоминали изгибом курительные трубки, они пахли муравьиным соком и лесными гнилушками. Пеньки от срубленных сухих кустов торчали из травы, по ним можно было угадать капризы перемещения по саду вишневой породы.

6

В огороде дедушка выкапывал лук. Всаживал вилы в потрескавшуюся землю, затем вставал на колени, опираясь на черенок, и тянул луковицу за дряблые косы.

Я вызвался помочь; рыл сомкнутыми ладонями сухую землю, чтобы легче было выдернуть луковицу.

– Захватывай шире, так оборвешь!

Золотистые луковицы очищались от комочков прилипшей земли. Длинные корни блестели на солнце, как леска.

Серые комья земли испещрены дырками от дождевых червей. Уже сильно пекло солнце, пахло мелом, луковой горечью и слизнями.

Вспомнилось, как весной бабушка втыкала в мягкую землю луковицы, отмеряя им пяди в размер ладони – от края большого пальца до ногтя указательного. Лук назывался «семейка». В мае была одна луковица, а в августе она обросла своими «детками».

Устав от жары, я забегал в дом, радуясь его прохладе. В глазах рябило после яростного света! Почти на ощупь находил белый хлеб с ноздрястой корочкой и кружку простокваши с сахаром; жадно пил, сглатывая голубоватые скользкие куски, а для пущей сочности давил их языком, прижимая к нёбу.

В последующие дни лук сушили: носили на старых простынях и расстилали на солнцепеке. А когда вечером убирали, я искал затерявшиеся в траве хвостато-лохматые головки.

– Глазки зоркие! – хвалила бабушка.

Постепенно лук засыхал, превращаясь в буро-зеленое рубище. И мы вязали косы. Я шелушил луковицы от лишней одежды. Бабушка обрезала корни, уперев в фартук дряблые локти, а дед заплетал их на проволоку. Золотистые головки перемешались со свекольными, отливавшими на солнце рубиновым блеском.

С моим появлением работы в огороде становилось все больше и больше. И главное, ее мог сделать только я!

Например, собрать гусениц с капусты:

– Не забоишься? Ты смелый тогда был…

На капустных листах – с полукруглыми прожилками – дремали зеленые гофрированные гусеницы.

– Только не дави, а лучше цыпляткам относи.

Любовь в деревне – ярким солнечным днем – разлита всем поровну! И мне, и бесхвостым цыплятам.

Желтые и тетёрные пушистые комочки бежали взапуски к моей вытянутой ладони, выхватывая гусениц острыми желтыми клювами.

Пестрая курица-мама беспокойно шла следом, склонив набок маленькую головку, и уступчиво расшаркивалась перед сухой картофельной коркой.

Золотистые утята с низкой талией, похожие на ленивых ангелов, трепетали маленькими крылышками и зябко распушали свой облезлый пуховый воротник.

Вечером в деревянном корыте рубили свекольную ботву для поросят: сочные рубиновые куски отлетали к собачьей будке. Пес брезгливо обнюхивал их, давя лапой. А в теплом воздухе плыл сытный запах борща.

7

Деревня ждала вёдренных дней для покоса. А я ждал приезда брата мамы – дяди Гриши. И даже не встречая его на станции, я тотчас видел, с каким форсом бросает он городскую жизнь прямо с подножки вагона!

– Папа, надену твою рубаху?

Чем старее одёжка, тем лучше! Даже рвань – в ней дед чистил подполье, или шляпа, в которую неслись куры – на ладной фигуре дяди Гриши смотрелась великолепно! Чем больше дырок, тем чаще его молодое сильное тело обнималось с солнцем и вольным ветром.

Ему нравилось поминутно спрашивать о чем-нибудь хорошо знакомом, привычном:

– Киянку, папа, там возьму! А пакля? Здесь!.. Мох весной собирали? Влажный будто… Мама, квасу наведи, с черной корочкой!..

Он хватал деревянное долото и забивал паклю меж бревен: «Папа, я доделаю!». Выгребая старую труху, держал ее на ладони и чихал с большим удовольствием, видимо, узнавая запах леса. Затем прикладывал русую паклю в паз и стучал, с оттяжкой, тяжелой киянкой.

Только разница все же была: дед Егор наполнял работу смыслом читаемой книги, а дядя Гриша – просто стуком, который будоражил наш сонный дом.

Душа у дядьки, что скатерть-самобранка! Всегда угостит шуткой, всегда устроит забаву. В нем чувствовалось своеволие каких-то сказочных персонажей: мол, подайте мне здесь и сейчас – облачков, как соленых груздей! Или закат на озере – как крынку шибастого кваса.

Два карих полушария его глаз отражали окрестный мир всегда сверкающим, как после летнего дождя. На любой зов сверстников он бросался как мальчишка, смеясь, балагуря, вспоминая острую закваску детства, гордясь тем, что не утратил и поныне деревенскую расторопность.

С его приездом всегда устанавливалась погода. По утрам слышался звон – в деревне правили косы.

Помню раннее утро, туман выбрался на мостик.

С трудом удерживал я собаку за веревку, завистливый скулеж и лай сопровождали нас по всей улице. Дядя Гриша насмешливо пенял соседским псам: вчерась сам бегал, а ныне вон как рычишь!..

За околицей собаку отвязали.

В поля зашли, как в другой мир!

Изнывали кузнечики, перехлестываясь однообразным тембром, качались бордовые шишки кровохлебки на тонких стеблях. Белые чешуйки, с острым медовым запахом, роняли грозди лабазника.

В тени под березой спрятали бутылки с водой и платок с обедом. Собака легла рядом – стеречь наше! Дядя взял несколько ломтей хлеба и насадил их на острые сломы веток.

Солнце торопило. Густая трава колыхалась, будто в предчувствии, как-то зрительно утекая с поляны мутными цветочными пятнами – от нежно-василькового до молочно-розового.

Мужики зашли с краю березового околка, подняв стальные лезвия над головами. Наметили край, где трава просохла от росы, и принялись косить, идя вниз по склону.

Мне дали деревянные грабли с узловатой ручкой:

– Держи руку свободнее, а то мозоли натрешь!

Через темный черенок с длинными трещинами я поздоровался со всеми давними родственниками, что держали его когда-то.

Вначале мы с бабушкой ворошили ряды давно скошенной травы, пепельной от дождей. Сквозь жидкие

валки проросла уже тонкая зеленая отава, неприятно цеплявшая грабли.

Пахло грибами и осенью.

Холмистая долина залита ярким светом, серебристые волны трав ластились к тихому ветерку, как шерсть кошки к ласковой руке.

– Это кто там? – вглядывается дядя Гриша в лощину за березами.

– Петровы косят…

– Юрка! – застыла коса на взмахе. – Он воровал у меня пескарей с прутка!

Во взгляде шальная мысль: рвануть бы через поля к другу детства! Карие глаза еще больше влажнеют, струйки пота выступают под смоляным чубом.

Дядя Гриша отступил назад, примеряясь к незаконченному полукругу скошенной травы. А бабушка сказала сурово, в назидание внуку:

– Чуть не утопли тогда!..

8

Кто косит траву – знает все волнения земли.

Где полегла мать-и-мачеха, вывернув молочно-нежную изнанку – влажная низина. Зацепили клубнику – на бугорке гроздь лежит – крупные ягодки с румянцем, а мелкие, бледно-желтые, похожи цветом на старые синяки. А вот срезан куст ромашки: заломились белые лепестки, просыпав желтую пудру на открывшийся камень.

Раскидистым веером падает трава, выдохнув напоследок запах теплого сока. Зеленые стебли на солнце быстро желтеют и вытягиваются, приобретая неживой стеклянный блеск.

Нетронутыми оставляют кусты спорыша. Желто-горчичные цветы – словно из плотной ткани, прошитой мелкими стёжками. Для коровы спорыш горький, но вечером бабушка соберет его «для почек».

А еще мне кажется, что взмахи косы срубают отвесно падающие лучи солнца. Оттого и плывет в воздухе во все стороны золотая тенета.

Знойная муть поднимается к небу, скрывая солнце, будто огненный шар сам стерся весь в золотую соломенную пыль!

Одинокие березы обкашиваются под самые пятки. Дед косит сухо и расчетливо, в момент взмаха всю силу отдавая рукам. Шаг у него мелкий, даже с возвратом.

У дяди Гриши при взмахе рукава рубахи наполняются воздухом, а на спине пузырятся влажные складки. Намокшая рубаха стала по-детски мала: но ему нравится хруст на плечах. Двигается он, чуть пританцовывая, носком правой ноги вминаясь в полегшую траву. Стальное лезвие косы вспотело и залипло мелкими обрезками.

Трава падает ему на грудь, цепляясь за подбородок колючими семенами. На кочках пружинили ноги, и дядька отпихивал нетерпеливо коленками упавшие стоймя высокие стебли рогоза.

Он уже запыхался, и просил принести воды. А отпив глоток, вспоминал:

– Бывало, воды напьемся, а мамка лепешки сует. Ухватим по одной, и опять в гору!

– И то пора мужиков кормить, – слышит его бабушка.

Обедали под березой.

Бабушка вынула сало и домашние лепешки, с припудренными коричневыми пятнами. Дядя Гриша взял лепешку, прижал к груди, делая вид, что не может разломить:

– На такой хлеб – особая сила нужна…

Протянул мне лепешку и снял с ветки подсохший хлеб. Мол, сухари привычнее!

Солнце жгло землю.

Кузнечики стрекотали, как заведенные, прыгая на полегшей траве.

Подвяленное сено пахло хлевом и вишневым компотом, вернее, горечью его косточек.

После обеда метали стог, все чаще поглядывая на небо.

Недавняя голубая твердь была теперь словно вспахана – перистые облака вытянулись ровными отвалами от края и до края горизонта.

Наскучившись работать, я играл с собакой: убегал и прятался в копну, маскируя себя с головой. Спрятавшись в очередной раз, я видел, как приблизился дядя Гриша, как

нацелился, ничего не подозревая, и вонзил вилы в сено рядом со мной. Я высунул голову, смеясь и удивляясь, отчего побледнел и молчит мамин брат.

Воткнув вилы в землю, он уселся рядом и как-то очень жадно, словно прощаясь, глядел на деревню, что раскинулась внизу, на мглистые заречные луга, что прогнулись уже под дождевой тучей.

Потом сорвал травину, покачивая зернистым концом:

– Петух или курочка?

– Курочка!

Зажав травину меж пальцев, с желтыми полосками под ногтями, дядька вытянул до конца стебель. «Петух!» – показал ершистый пучок с высоко торчавшим хвостиком.

Деревня меня хранила!

9

На следующий день меня ждала новость: у кошки родились котята! Бабушка оставила одного – лобастого, полосатого, с дрожащим хвостом. Гнущимися лапками котенок мял живот матери, сосал молоко, вытягивая мордочку; а наевшись, спал плашмя, иногда переворачиваясь и упираясь задними лапами с крохотными черными подушечками.

Вскоре котенок открыл глаза, но по-прежнему морщил носик и по запаху отыскивал убегавшую мамашу. Кошка пряталась от него на печке, вылизывая тощую спинку.

Однажды я подсунул ей голову, и шершавый язык перешел с шерсти на мою голову. Было щекотно, и я чувствовал, как сжимались волоса влажными кольцами. Я слушал утробное мурчание и удивлялся старательности кошачьего языка. А когда попытался встать, кошка выпустила когти!

В деревне шутили:

– Сереге Ойнину кошка кудри нализала!

После покоса дядя Гриша уехал в город, а мы с дедом ходили за вениками в лес.

И опять, идя по улице, я едва сдерживал рвущегося Шайтана. Он крутился юлой, спутывая веревку, приседая на задние лапы, ошалело сверкая розовыми белками глаз.

Дойдя до лесной опушки, я отвязывал веревку.

Шайтан скрывался в кустах, и только слышно было, как трещали низкие сухие ветки. Потом пес встречал нас на развилке, дедушка показывал ему рукой дорогу, и Шайтан радостно лаял: мол, там уже был! У него были мокрые лапы и брюхо с налипшим на шерсть песком.

Дорога шла краем болота.

Беспокойно квакали лягушки, шлепаясь в воду и разгоняя зеленую тину меж вихрастых кочек. Нагнешься над тихим омутом, а там кишит загадочная жизнь! На топком дне – хлипкий покой; воткни палку – поднимутся серебряные пузырьки, струйки мути с коричневым илом, полусгнившие сосновые иголки, чешуйки и семечки лесных ягод, оброненные птицами.

Проводив нас, лягушки опять выползали на берег, обляпанные ряской, словно яркими конфетти.

Пес носился кругами, не упуская хозяев из виду, жадно пил воду из луж, с сочным захлебом, роняя слюни в лесные копытца.

Огромные сосны вытягивали толстые ветви, накрывая тенью кудрявые верхушки молодняка. Нежно лепетали березки, от жары сгибались резные листочки на тонких черенках.

Вот нашли поляну с нужными березами, бросили мешки в траву. Пес тут же обнюхал их, затем уселся на хозяйское добро и бил хвостом так, что в складках мешковины выступила пыль. Но вскоре опять убежал.

Мы тоже торопились, словно делали что-то не очень хорошее. Дед наклонял березку, дрожавшую от ствола до самой тонкой веточки:

– Держи крепко!

Остро пахло клейким весенним соком. В руках дедушки мелькало лезвие ножа – ветки падали, на коротышах оставались белые срезы. Обстриженная как пудель березка взметнулась обратно, уже без прежнего шума, но словно горько сетуя. Несколько жалких листочков падали уже ненужными. В ладонях еще чувствовался поток ускользающей листвы, зудились липкие пятна светло-зеленого цвета. Все другие березы разгибались с тем же детским испугом…

Затем я поднимал ветки – на кустах смородины, с еле заметными ягодками; на темном брусничнике, выгляды-

вающем из влажных мхов. Нагребал охапку теплых от солнца веток вместе с травой и ягодами, и нес их к деду.

Он сидел на березовом бревне, сопревшем внутри. Рыжая труха держалась в толстой коре, как в наволочке. Дедушка складывал ветки в пучок, перетрясая каждую и прилаживая по высоте: тонкие одноствольные в середину, разлапистые – по краям, белой изнанкой наружу, отчего веник не желтел после высыхания до следующей весны.

Жара усиливалась.

Под соснами расстилался седой мох, и я улегся на его сухое забавно-прогибающееся ложе. Пес Шайтан пристроился рядом, жарко дыша мне в ухо.

– Умаялся, – кивнул дед.

– Сколько ему лет?

– Твой отец подобрал на улице. Где-то с полгода до того, как ты родился…

Если присмотреться, положив голову на руки: седой мох был покрыт множеством тонких розовых всходов, с вишневой шишечкой на концах.

– А почему назвал так – Шайтан?

Дед поднялся, может, не расслышав; взвалил на плечи мешок. Я пошел следом. И когда спотыкался на кочках, то чувствовал спиной, как дрожат в моем сидоре зажатые листочки.

Поправляя брезентовые лямки, дед Егор произнес, будто только что прочел в книге:

– Сколько запомнишь хорошего – столько и проживешь!

ГАМЛЕТ

1

В мае, когда подсохла земля, возле нашего дома выкопали траншею. Жильцы навели мостики к своим подъездам, обходя ржавые трубы с дырками, в которых сипел тоскливо ветер.

Дети играли в войну, обороняя «окопы» и швыряясь комьями глины. С каждым днем глина становилась все каменистее, а синяки все крупнее.

Как-то раз, в выходной день, жителей окрестных домов пригласили на агитплощадку. Люди выходили из подъездов немного растерянные, оторванные от домашних дел. У женщин наспех причесаны волосы, у кого-то следы муки на локте. Молодые мамы везли коляски, на борту висели запасные пеленки.

Негромко обсуждали: мол, будут говорить о траншее!

В небольшом скверике высокие деревья смыкались с двух сторон над скамейками. Малыши и взрослые усаживались на них; пацаны залезли на плацкартные ветви кленов.

На деревянной эстраде появился лектор – большое лысое темя: с одной обочины головы до другой перебегали рыжие прислюнявленные волоски. Говорил он тихо и нудно, никто не слушал. А я вспомнил, что встречал его на улице: лектор показал маме, как хорошей знакомой, бидончик с солеными помидорами: «Говорю им в магазине, почему вы мне рассола не налили до самого верха? Посмотри сколько, – снял крышку. – Вот так надо требовать свое!»

После лекции о международном положении была культурная программа. Венцом ее – аргентинский танец. Под каблучную дробь появилась на сцене шикарная пара: мужчина – в черном тонком костюме – крепкие ловкие руки, быстрые пружинистые ноги и женщина в огненно-красном даже не платье, а почти купальнике.

Тетки ерзали на скамейках – все так обтянуто, будто напоказ!

Танцор прошелся по кругу, отпуская подругу на длину соединенных рук, а потом тянул к себе покорным свитком. И она наскакивала на его грудь костлявой ладьей, откидывая назад плечи; поворачивалась спиной, играя бедрами. Со змеиной ужимкой заплетала ногой колено мужчины и касалась носком красной туфли его дрожащей икры.

Танцовщица изгибала спину мостиком через поднырнувшую руку, ловила рукой ладонь партнера, и как бы невзначай ставила себе на бедро и даже ниже.

Что они вытворяли, что позволяли себе! Они казались иностранцами – непонятными, но красивыми! Зрители смотрели на них с восхищением и каким-то глупым позором гадких утят.

Но вдруг внимание крайних рядом отвлек странный крик и пьяная возня. Какой-то парень, здоровый – как медведь на задних лапах, – пробирался к эстраде. Взгляд угрюмый и немного растерянный.

Танцоры бесстыдно кружили, «медведь» лез через лавки, поднимая детей, словно рябчиков в траве. Иногда он останавливал мутный взгляд на огненной женщине, ругаясь тихо, но непотребно.

И вдруг на пути хулигана поднялся кто-то в длинном пальто и заломленной шляпе.

Я узнал легендарного Могуту!

Паша легко развернул бузотера за плечи и повел прочь от эстрады. Тот шел покорно, пытаясь что-то сказать. За стволами кленов Паша толкнул его: мол, иди, проспись. Но «медведь» опять рассвирепел! И тут красавчик-Паша – будто гангстер какой-то! – вынул из кармана алюминиевую расческу. Манерно сверкнул ею перед публикой…

На эстраду никто уже не смотрел.

Многие думали, что зубья расчески заточены. Пьяный парняга схватил Пашу за плечо так, что съехала на затылок пижонская шляпа. Расческа сверкнула в левой руке, как воздушный начес. Удар правой я не заметил! «Медведь» рухнул, затем поднялся и побежал прочь, немного прихрамывая.

Когда танец кончился, хлопали артистам, глядя на Пашку. Он стоял под кленом, загибая полы шляпы. Волосы у него были опять седые.

2

Траншея возле дома все больше осыпалась, доски мостов облипли грязью и во время дождей скользили под ногами.

Однажды в канаву упал пьяный мужик из соседнего подъезда. Его жена кричала на весь двор, что муж – заслуженный мастер строительного треста и двадцать лет

работал без травм! На стихийном собрании дома жильцы решили: мастер упал – ему и жаловаться идти!

Наутро протрезвевший мужик поплелся в исполком, уступая доводам жены: канаву зароют, а про тебя, что валялся в ней, помнить будут, если права не заявишь!..

В исполкоме ходока выслушал, очень сочувствуя, словоохотливый товарищ. Он был похож на щипача, что пристает на улице, будто бы обознавшись и хлопая по бокам забывчивого друга, а потом исчезает вместе с кошельком. Исполкомовский «щипач» позвонил куда следует, записал фамилию и уже строго удивился, что «у них нет домкома». Потом предложил сознательному гражданину занять место председателя. Польщенный мастер не смог отказаться.

Вечером на траншею вышел новоиспеченный председатель с женой, друзьями и закуской.

Гордая супруга несла табурет на вытянутой руке, балансируя им на глиняных кучах. Соратники примяли и накрыли газеткой самую высокую вершину, поставили банку с помидорами. Председатель сел на табурет, остальные сплотились вокруг него на корточках – обмывать должность!

Было пасмурно и тепло, небо завалено рыжими глинистыми тучами, уходящими низко за Пороховую рощу.

В открытых окнах дома трепыхались занавески; высовывались смутные лица. Это жители включили телевизоры и теперь разрывались между окном во двор и экраном. В каждой квартире звучал стоглавый «Гамлет». Вкрадчивый голос Смоктуновского обнажался в тревожной тишине, меж громовых раскатов черно-белой музыки.

А в скверике на эстраде кривлялись дети. Они заразились странной истерикой из телевизора: кто-то начинал петь, кто-то, перебивая, выкрикивал стихи. Никто не видел этот длинный фильм полностью, но все знали, что Гамлет обязательно умрет. Это было несправедливо. Хотелось встать на продуманном пути к смерти. Гамлет воспринимался нами, как космическая сказка, происходящая где-то на краю вселенной.

На эстраде шло свое представление. Дети обнялись за плечи, опустив головы:

– Сегодня запустили космонавта на очень далекую планету! Такую, что топлива хватит в одну сторону!

– А как же он?..

Круг распался.

Кто-то смотрел в небо, приложив ладонь к бровям, словно ожидая увидеть спутник! Мы участвовали в каком-то удивительном событии, равноудаленном от дневных звезд и от мрачных скал Дании.

Несмотря на отсутствие знакомых пейзажей в фильме, было в нем много русского – причудливого и своевольного. Гамлет будто упивался своими поминками, как невидимая душа. Или передавал сигнал после смерти, как сгоревший космонавт, обогнав свое земное время!

И еще было ощущение, что фильм притянул грозу. Ее отдаленные звуки уже слышались над городом.

На траншее активисты давили песняка: «Расступись земля сырая!..» – окидывая канаву хозяйским, растревоженно-обреченным взглядом.

Матери кричали из окон, зазывая детей домой.

А ребятишки метались на эстраде, словно в клетке своего непонимания взрослого мира. Не ведая, куда деться от предчувствия космически-гамлетовской развязки, готовые взахлеб и на все стороны декламировать свои чистые сердца!

Им тоже нужны были зрители.

Дети бежали в подъезды дома, стуча в каждую квартиру:

– Выходите! Выходите! Сейчас будет представление!

Хлопали оконные створки, но их отворяли вновь.

Никого не удивляло, что посреди яркого летнего дня вдруг исчезло солнце, хмурость неба была так под стать трагическим звукам. И так вольно было чувствовать себя частью событий фильма, загадочную связь с Гамлетом – мятежом человека против сил природы.

Небо затягивало с завораживающей быстротою.

По набрякшей лиловой туче змеились тонкие опаловые облака. В глубине тучи мерцали нестрашные еще молнии.

Во дворе поняли, что грозы не миновать: квохчущие хозяйки снимали белье с веревок, держа во рту деревянные прищепки.

Мастер-председатель согнулся на табурете, в кругу несдающейся команды, решив покинуть двор как капитан, то есть последним: «Расступись, земля сырая! Дай… мне, молодцу, приют!..». С ревнивым напором пели соратники, вовремя расступаясь голосами, чутко ловя всхлип председателя: «Приюти… меня, меня, родная…». Ветер хлестал угол газеты по кислым щекам помидоров.

Начался отсчет последних предгрозовых минут.

3

Я забежал в нашу квартиру позвать Вовика и услышал другую музыку.

Приоткрыл дверь, мама играла на пианино, погружая отражение белых рук в полосатую рябь от клавиш. Словно в студеную воду жарким днем, смеясь и содрогаясь. Когда она так играла, но не пела, – случалось что-то неожиданное.

Спиной к двери сидел какой-то мужчина, задумчиво накручивая пальцем на виске тонкую кожу. Коротко стриженный затылок. Откинутые плечи, локтем смята праздничная скатерть.

Любуясь отражением ботинка в черном лаке пианино, гость произнес отчетливо:

– Старый «Дауэр»! Сохранила хоть что-то…

Человек, которому не жалко спинки стула и плешивых полос на бархатных складках, должен был сердить маму. Но она терпела.

– Нас куда-то приглашают? – гость кивнул в мою сторону.

– Сережа, потом! – покачала мама головой.

Вместе со мной в комнату ворвался сквозняк с улицы, выдувавший паруса из тюля.

Мужчина смотрел на меня с вялым нахальством:

– Натали для первого мужа была Мадонна, по его собственным словам…

Непонятный смысл фразы был связан с моим появлением.

– А для второго – женой Иосифа!

И еще запомнился его тон – неприятный такой, а в комнате стало тревожнее, чем от звуков фильма.

Я выбежал на улицу, словно меня прогнали. И опять сработала привычка запоминать все непонятное впрок. Как странно играла мама! Не попадала в мелодию и по нескольку раз ударяла по одним и тем же клавишам, чтобы извлечь ускользающий звук. Она будто удивлялась внезапной безголосости пианино. А гость не ходил по ее нотам, но будоражил ее странное упорство.

На асфальт упали первые крупные капели.

Под навесом эстрады девочки натянули простыню – занавес.

На табурет установили проигрыватель. Но зазвучало совсем неожиданное – арабские страсти в исполнении жаворонка: «но я совсем, совсем не виновата, что я любить и ждать тебя устала!..». Мне слышалась: «уста-та!» Ветром подняло тетрадный листок с диктантом – перечеркнутое красными чернилами окончание слова и две маленьких волнистых линии снизу, означающих невнимательность.

Две подружки сцепились в танце, подражая аргентинской паре. Они упирались ладонями друг в дружку, крутя паровозные движения локтями…

4

Гроза обкладывала город со стороны Оби, и уже отдаленно слышался поспевающий обоз громовых снарядов.

Окна закрывались, нахлебавшись свежего ветра.

Голос Гамлета становился глуше. Когда закрылось наше окно, я чувствовал ревнивую тоску.

Ветер срывал с деревьев желтые ранние листья, и они летели на фоне зловещей черноты, крича золотым криком. Но как ни велика была ширь грозовой тучи, ее не хватало покрыть все небо. От стремительности бега туча рвалась, лохматилась сизой пеной, открывая голубые цепенеющие просветы.

Прорвавшись сквозь них – колющие лучи солнца – сражались с грозой – будто со шпагой против обуха!

В эти минуты Гамлет в последний раз отражал коварные удары. А дождь обрушился на крышу эстрады, словно аплодисменты.

Домой я вернулся в мокрой рубашке.

Дверь в комнату была заперта. С обидой стукнул ладонью. Услышал: «Сын пришел…». Кто-то удивился, сомлевшим голосом: «Сын? Какой сын? Ваньки-ветрова сын...»

Упоминания чужой фамилии успокоило меня: точнее, я потерял интерес к человеку, сказавшему глупость.

Гость сидел на прежнем месте, но в осанке было что-то суетливое. Он подтянул к себе толстый кожаный портфель, откинул блестящую крышку, похожую на скрипучее седло. Вынул шоколадку.

Заметив пятна грязи на портфеле, спросил у мамы тряпку:

– Шел к вам… улицу расковыряли!

И добавил веско:

– В России дорогу легче сделать из сердец, чем из камней!

Мама повернулась ко мне:

– Этот дядя – мой старый друг. Он приехал из Москвы в командировку.

– Сережа Пушкин? – мужчина положил шоколад на стол, обретая прежнюю уверенность.

– Да, мой сын.

– А почему не Саша? – спросил, как бы рассуждая, и даже взвешивая чье-то решение.

– Я тоже хотела Сашей, – мама открыла тайну, – но его отец настоял: пусть будет Сергей!..

– В каком классе?

– Четвертом.

– Корми лучше!..

Я спросил дрожащим голосом: «Мама, когда уйдет этот дядя?»

– Ну-ну, – гость внимательно оглядел портфель. – Вот и ошиблись, значит, немецкие врачи!

И еще добавил, с наваждением легкой грусти: «все могло быть…». Щелкнув блестящим замком портфеля, он

стал прощаться. Обнимал маму, вспоминая «золотые годочки в Германии!».

Я вышел из комнаты.

В углу верный сундук. Достал из него старую курточку и надел, такую еще крепкую, только что свело от тесноты лопатки. (Хлопнула дверь – ушел гость восвояси.) Потом нахлобучил шапку-буденовку с длинными ушами, отчего звуки дома стали глуше и водянистее. Перепоясался ремешком с маленькой сабелькой нежно-розового цвета, какой бывает, если смотреть на огонь свечи через палец.

Сегодня мама впервые призналась, что когда-то соглашалась с отцом! Я забрался на сундук, обняв колени. Ведь встречаются люди через много лет. Почему ж нет прощения отцу? В чем секрет легендарного упорства мамы?

Я и раньше подозревал, что она встречается с отцом, когда поет романсы. И хорошо, что она не торопится убирать посуду, оставаясь в красивом платье. «Как же случилось, не знаю, – доносилось сейчас из комнаты. – С милым гнезда не свила я…». И опять странные провалы: мама не попадала на клавиши, или они не слушались ее. Пустое гнездо в песне было рядом с опустевшим гнездом журавлей, и даже слышалась их прощальная перекличка перед отлетом. Только они были не наши – из тех мест, где журавли зимуют, а не из Таленской, где они выводят детей.

Впервые мне было так очаровательно жаль чего-то… Наверно, отслужившей курточки, розовой сабельки, буденовки без уха и вместе с ними уходящего детства! Я решил остаться на сундуке, как на посту, чтобы караулить его…

А проснулся утром в своей кровати: раздетый и укрытый одеялом; удивляясь и ловя следы того невесомого перелета в отрочество.

Новое чувство взросления было связанно с потерей. Я искал глазами вчерашнюю курточку, а мама пояснила серьезно, как взрослому: «Мы служили когда-то в Германии».

Германия! Время маминого счастья. Она берегла его и передала сыну! Загадочная страна досталась мне слишком рано. Но на всю жизнь сохранилась уверенность, что счастье придет, когда настанет тот день…

ЗДЕСЬ, ПОД НЕБОМ ЧУЖИМ...

1

И вот этот день настал.

На границе предупредили – закройте окна! В купе вошел офицер: «Проверка документов!», за спиной два солдата.

Сколько раз, – и дома, и в Москве, и в вагоне, мчавшемся через российские поля с глухими воронками, наспех затянутыми полынью, – представляла она границу. Глядя, как багровеет краснозвездный паровоз на долгих поворотах, упираясь в степной закат, она воображала себе окраинный кусочек земли. Полосу святости! За которой начнется что-то немыслимое – страна, усеянная черепами. И как думать иначе: куда подевалось столько погибших людей?.. Но все же, по русской привычке откладывать неизбежное на потом, она уверяла себя, что граница еще не скоро, и даже в тайне надеялась: вдруг да отзовут! Два солдата сомкнутся плечами...

Офицер долго и сурово сличал фотографию в паспорте с растерянным и унылым лицом деревенской девчонки. Варя пригладила черные волосы с прямым пробором, блеснувшие из-под ладони серпами-полукругами...

Поезд медленно тронулся.

По радио громче зазвучали русские песни.

Она прижалась лбом к стеклу, пытаясь запомнить последнее, что удастся разглядеть. Казалось, в чужой стране ей ничего уже не вспомнить, а последние метры родной земли летят мимо памяти. Сердце цеплялось за каждый куст, за тонкий стебелек. Полосатые столбики отдали честь. Кто-то сказал за спиной: «Вот, кончается русская земля!» – Варя потеряла сознание…

В Потсдам приехали холодным туманным утром.

На перроне встречал русский офицер в плащ-палатке с темными от дождя плечами:

– Доброго здравия! – козырнул он.

Девушки быстро направились в сторону кованой решетки с облупленными столбиками. За ней ожидала, чихая на сырую погоду, черная машина.

Офицер открыл дверцу:

– Прошу в укрытие!

Машина легко снялась с места, обдав сколотый бордюр сизым дымом.

Вдоль дороги стояли яблони с ровно побеленными стволами, хотя на многих домах видны были выбоины от пуль и осколков. Варя протерла ладонью стекло:

– Здесь дождь или туман когда-нибудь кончаются?

– Да, бывает, – офицер развернулся на переднем сиденье лицом к девушкам. – Вы давно в Германии?

– Три недели, – за всех ответила Варя.

– Ничего, привыкните! Хотя недавно отправили двух женщин домой – климат не выдержали.

Навстречу машине попадались мирные немцы на велосипедах. Особенно удивляли старушки в шортах с посиневшими коленками. Когда выехали на окраину города, сквозь туман распушилось белое солнце. Бледный луч осветил желтую обшивку машины, кожаные сиденья и трех прижавшихся друг к дружке испуганных девушек в серых одинаковых пальто.

За окнами мелькали замшелые стволы кленов с узловатыми нижними ветвями, опущенными к земле, словно костыли у калек. Гладкие поля с ровными всходами озимых; кое-где в канавках блестела вода. За поворотом дороги показались беленькие домики с палисадниками, словно в кружевных фартучках. Будто бы не было здесь войны!

Колеса машины вновь почувствовали брусчатку. Вытянулись в ряд высокие липы с раскидистыми кронами, и взгляд уперся в глухую краснокирпичную стену, поневоле поднимаясь вверх. Ее орнамент, арочные завершения полукруглых точеных колонн заставили девушек встрепенуться и еще сильнее задрать головы.

На кирпичных барабанах сверкнули родным блеском главки-маковки с золотыми крестами.

– Русский собор, – подчеркнуто бесстрастно сообщил капитан, сняв плащпалатку. И добавил, чтобы отвлечь на себя внимание. – Открыт после войны, с разрешения нашего правительства.

– Для русских?! – спросили девушки почти разом.

– Для эмигрантов, – уточнил офицер уже с каким-то предупреждением.

Девушки понурили головы, но казалось, сохранили в душе приятное удивление, может, впервые за все пребывание на чужой земле. Подобные маковки: серые или синие, вытянутые или оплывшие, они встречали много раз, проезжая через всю Россию. Но здесь, в глубокой немети чине, кресты сияли им по-особенному.

Состояние девушек не ускользнуло от офицера. Он и раньше замечал, что вновь прибывшие, в особенности женщины, с удивлением и затаенной грустью рассматривали русскую церковь. Люди приезжали и убывали, а собор оставался, широко расправив кирпичные плечи апсид, и с ним оставалась здесь частица родины.

– А за той дубовой рощей, – указал капитан широкой ладонью с короткими пальцами, – находится русская деревня. Ее, как и церковь построили по указу Петра. Для музыкантов.

Варя попыталась разглядеть очертания домов сквозь густые ветви деревьев:

– А кто сейчас там живет?

– Обыкновенные немцы.

2

Воинская часть с пятизначным номером располагалась в бывшем женском монастыре. Кирпичная ограда, колючая проволока, вышки с часовыми.

Машина подкатила к двухэтажному домику с вишневой черепицей. Над крыльцом белая арка, в ней – темная массивная дверь с маленьким окошком. Над аркой, под общей крышей, выступала терраса с тонкими резными колоннами, снизу мокрыми от дождя.

Неумело подавая руки галантному капитану, девушки выбрались на волю, мельком оглядывая монастырский сад. Варя вдохнула мягкого осеннего воздуха, пахнувшего влажной корой и прелыми листьями. Вид у яблонь был запущен, ветви сплелись; в глубине сада виднелся забор из крупного булыжника.

Разместили девушек на втором этаже.

Войдя в свою комнату с голубыми обоями, Варя почувствовала приступ стыда и страха. Дрожали ноги; оглядевшись, не нашла ни одного стула: «Не дома, так уж не дома!» (Оказалось, комендант составил все стулья в одной комнате, чтобы выдать под роспись.) Варя подошла к окну, потрогала бронзовые ручки, коснулась ладонью кружевного тюля, пахнувшего духами. Этот приятный запах вызвал у нее желание осмотреть себя в зеркале.

В золоченом овале на нее смотрела деревенская дурнушка: опухшие глаза, дрожащие губы, даже веснушки какие-то пегие! И зачем ее привезли сюда? Сердце сжалось: подменят, сделают другой…

Девушка выглянула в окно: солдат вынимал из багажника одинаковые чемоданы. За низким каменным забором были видны березы, совсем не русские, с темной корой. Выступили слезы: душа так же почернеет от тоски.

В дверь постучали.

Варя стыдливо отпрянула от чужого зеркала, но не смогла ничего вымолвить. Стук повторился, вошел солдат, поставил на пол чемодан и отчеканил почти сурово, будто она была не своя, не русская девушка:

– Приказано передать: через полчаса вам быть внизу, в холле.

3

Воинскую часть, куда ее определили работать, знали все: немцы называли «Гросс полиция», русские – «Смерш».

Управление контрразведки располагалось в глубине монастыря, в белом двухэтажном здании. В бывших комнатах монашек работали офицеры и стенографистки.

Варя запомнила свой первый рабочий день.

Она записывала вопросы следователя и ответы летчика, в кителе с дырками от сорванных погон. Его обвиняли в «частом посещении немки из западной зоны». На теоретических занятиях в Москве таких слов не писали: «любовная связь».

Следователь Смолянский – тот самый капитан, что встречал девушек на вокзале. Он прохаживался по каби-

нету, и будто в раздумье предлагал Варе воды в стакане, чистый лист и ручку. Видимо, хотел смягчить первое впечатление от «этой дряни».

У капитана были тонкие, почти сиреневые губы, при быстром разговоре они бледнели и увлажнялись. Он знал эту особенность и старался держаться спокойно.

Монастырские стены толстые, окна узкие; на четкие вопросы слышны невнятные ответы. А записывать нужно точно, от этих слов зависела судьба и даже жизнь. Капитан: бух-бух-бух – словно крутанул пропеллер, – обороты растут! Бух-бух, – теперь бы нагнуться, а то башку снесет. А не привык летчик! Понял вояка, не выйти ему целым. Закричал:

– Я в атаку ходил, один на трех!..

– Вот и попер на дамочек, – следователь не торжествовал. Он был удручен, но ясен.

У него такой метод: провести человека через передовую разящих вопросов, мол, держись, как повезет. Фуражка сбилась, влажные волосы на висках: где вы встречались? Как договаривались о свидании? Быстро-быстро перебежками: о чем говорили? (Сам запнулся на слове «постель») Что просила она? Куда приглашала?.. В небе летчик привык к свободе, на мышиную возню контрразведки сверху плевал.

Но тут смершевец накрыл его, как пехотинца:

– И дети-то в Туле остались…

Вот это сиротское «остались» перебило ноги. Ах ты, дурак, зачем же на колени? Когда рядом с тобой идут во весь рост! (Может, так и перед немочкой на коленях ползал, в чужую юбку глаза прятал?)

Капитан резко стряхнул что-то с рукава: мол, перед его правдой упал вояка. Но Варя поняла по жесту рук, обнимающих пустоту, что перед детьми своими встал герой на колени.

Следователь закурил и сказал как бы между прочим прижав пальцем карандаш стенографистки:

– А в зеленом платье она была лучше!..

Затем объяснил, глядя мимо Вари в окно:

– Знак был условный: в зеленом платье – не подходи! А в розовом, с бордовым пояском – я свободна!..

Невольно оглядела Варя свой серый костюмчик, заметив на рукаве маленькое жирное пятно.

Когда «шпиона» увели, Смолянский внимательно прочитал ее записи, (Варя прикрыла пятно на рукаве) сличая их со своей памятью, а может, проверяя: не исправила ли что-нибудь своей неотвердевшей еще к врагам душою.

– Нам с вами работать, – положил капитан листы на стол.

Варя уже догадалась, что в машине он выбирал себе стенографистку. Это и льстило ей и пугало.

– Какое у вас впечатление об этом человеке?

Девушка уткнулась в бумагу, собираясь записывать дальше. Но следователь понял: нарочно опустила глаза.

– Ну, представьте, что ваш жених…

– У меня нет жениха.

Капитан улыбнулся, мол, это к делу не относится.

– К примеру, стал бы тайно встречаться с немецкой женщиной.

– Я бы ему кудри выдрала!

Думала, что он засмеется, но капитан холодно глянул на нее, задавая вопрос в утвердительной форме:

– Значит, кудрявых любите…

Влажные волосы его топорщились ежиком. Закинув ногу на ногу – его коронный жест – вертел носком надраенного до блеска сапога.

4

Первую неделю, придя домой после ужина, девушки поспешно расставались в холле, избегая смотреть друг дружке в глаза.

Только в выходной день сходились в одну комнату, чтобы слушать по приемнику русские песни. О работе ни слова. Выдавали слезы. Эти дни казались настолько безотрадными, а сложив из них два года, – не сомневаясь, что последующие станут таким же, – девчонки испугались.

Два года не видеть того, что окружало их с детства! Не слышать нормальную речь. Воспоминания о доме вызывали умиление и светлую грусть. К тому же у подруг остались женихи. Под грустные песни из радиоприемника

Варя перебирала знакомых деревенских парней, и даже того – с розовыми ушами, – который пел с ней в госпитале. Но после вопроса капитана отказалась и от этой фантазии.

Ночами хлестал по стеклам дождь; часовой поправлял намокший капюшон, в свете фонаря блестели на острие штыка срезанные капли. В изголовье кровати на обоях темнел след от креста, и Варя жалела бездомных монашек, что жили в этой комнате.

Главный шпион здесь – душа человеческая.

«Смершевцев» боялись и наши и не наши. А Варя боялась ванной комнаты, ожидая, что из крана вместо воды побежит кровь или керосин. Ее лишили возможности обжить Германию по-своему, понять ее и, может, даже когда-нибудь полюбить.

Утром она шла на работу по мокрым дорожкам сада. Блестела светлая галька под ногами, и каждый раз она проходила мимо каменного остова на перекрестке. Варе вспоминалась заросшая могила священника возле Таленской церкви – толстая грязно-белая плита, словно брошенный мукомольный жернов…

На ветках яблонь еще болтались желтые отсыревшие яблочки. Ветер кидал их на невысокий сарай, покрытый волнистой черепицей. На огородных грядках, сжатых с боков досками, кудрявились розетки какой-то стойкой зелени.

Нескончаемые дожди выматывали душу, в промежутках меж ними монастырский сад накрывал удушливый туман. Согбенное солнце – в белой рясе – ходило меж рядов яблонь, отпуская последние листья.

Тоску вызывали осенние клины журавлей, с какой-то мерцающей – от закатных лучей – аритмией света под белыми крыльями. Они летели молча, похожие на последние мучительные кадры-обрывки лопнувшей киноленты.

Смоляные пики немецких соборов пронзали серое небо; руины на окраине города с немыми окнами, и отчетливо слышалась чужая речь.

В глубине монастыря стояло неприметное здание с решетками на окнах, и Варе часто мерещились бледные лица, глядящие ей вслед. За аллеей высоких платанов, одетых в желто-зеленые маскхалаты, была казарма, за

ней – площадь хоздвора, где бегали солдатики в гимнастерках без ремней. Здесь пахло квашеной капустой. Это напоминало родину.

Вечерами, после работы, Варя надевала старое деревенское платье и перечитывала истертые на изгибах письма из дома.

5

Глядя в окно на подметенные дорожки сада, ей виделась родная улица в далеком сибирском селе. Как распущенная коса, разметались по песчаной дороге мягкие рыжие колеи. Дощатый мосток через ручей с клочками желтого мха на бревнах. Отчим запрягает лошадь, бросив в телегу под сено новую книжку…

В горнице стоял резной шкаф библиотеки, но мать завешивала его стекла покрывалом, как зеркало в доме с покойником.

Самые милые сердцу воспоминания детства связаны были с бабушкой Евгенией – внучкой ссыльного поляка. От нее переняла Варя чувство родовой гордости и бунтарского духа.

Возле беленой русской печи напевала старушка польские, цыганские и украинские песни; а внучка вторила ей, старательно выводя немереным еще голосом, цветасто меняя тональности. Но с верным чутьем души в песне.

Из худенького подростка незаметно превратилась Варя в стройную хрупкую девушку. Мать и отчим работали в колхозе, а дом, скотина и маленькие братья достались ей.

В то время все девчонки села мечтали о резиновых ботиках на каблучке. Варя привязывала тюречки – катушки от ниток к голым пяткам. За баней, под смех отчаянных модниц, вышагивала она вихлястой походкой, напевая из популярного танго: «Как тяжело любить страдая!..». Пела с дребезжащей манерностью, подчеркивая чужеродность слов.

Подруги звали ее артисткой.

Когда Варе исполнилось пятнадцать лет, ей купили черные ботики на литом каблучке, а 23 июня к полевому стану, где школьники пололи свеклу, прискакал парень

на коне без седла: где-то на западных границах началась война!..

Месяца через три стали брать мужиков на фронт. А после ушли и все ее восемнадцатилетние женихи.

Село притихло.

С осени начали прибывать эвакуированные, с большими узлами, измученными ребятишками, одетыми в зимние пальто. Отчима Егора Семеновича забрали в трудармию на тракторный завод в город Сталинск.

Старшеклассники работали в поле, возили зерно на подводах. Однажды поздней осенью, в пути на элеватор пала колхозная лошадь. Всю ночь в ледяной степи выли над ней Варя с парнишкой-конюхом и старик-бригадир. Выли от бессилия, от холода, от того, что на мешки с зерном сыплет мокрый снег! А потом, когда немного разъяснилось, появилась луна, похожая на бельмо бродячей собаки. Очумевшая девчонка вцепилась руками в холодную гриву лошади... (За три дня до смерти, когда я отвез маму в больницу, она вспоминала эту ночь и свой страх.)

А война шла и шла.

Черным градом сыпались похоронки.

Приходило горе в дом, собирались бабы – полная изба. Пришибленно шатаясь, хозяйка доставала из погреба мутную бутыль. Садились за стол и поминали, кусая граненое стекло. Тошнехонько расходилась вдова, сдавливая ладонями виски. Тупо глядели на нее женщины – покрасневшими глазами. Срывался обложной плач, покрывая крик вдовы. Ревели долго, утоляющее. И будто жалея девчонку, надрывавшуюся вместе с ними, стихали: «Затягивай, Варька, лучинушку!»

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит.

Сверкали мокрые девичьи глаза. Пели еще осторожно, будто подслушивали сердце, не изжившее боль и не потерявшее надежду:

То мое, мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит!

Угрюмо голосили вдовы, со страхом солдатки, со злой тоской невестящиеся девки. Скоро конец войне, да ждать уж некого! Один в деревне жених – дед Трофим, получив восемь похоронок на сыновей и сняв из петли жену в лесу, старик тронулся умом. Нехорошо помолодевший, ходил он по деревне и объяснял всем встречным: «Мне тапереча жениться надо. Сынов нарожать. А то кто ж зароет меня?»

Догорай, гори моя лучина,
Догорю с тобой и я!

Зимой в школе появилась новая учительница музыки – эвакуированная из Ленинграда. Она носила тонкие, как из паутины шали, и держала их по краям плеч не по-деревенски: открывая глубокие, при вздохе, впадины ключиц.

Учительница занималась с Варей отдельно, находя у девочки талант. Еще Варя пела в Таленском госпитале, красуясь даже зимой в резиновых ботах. Вместе с ней выступал мальчик в шлеме танкиста. Они на пару тянули старинную песню: «А молодого коновода несли с разбитой головой!» То ли о зачинщике неудавшейся смуты, то ли о поводыре лошади на шахте, с помощью которой поднимали бадью с углем в недавние еще времена. Раненые целовали мальчика, он снимал шлем, пламенея оттопыренными ушами.

После войны, против воли матери, желавшей видеть дочь счетоводом, Варя уехала в краевой город Барнаул. Поступила ученицей на трикотажную фабрику, жила на квартире у землячки, вечерами занималась в музыкальной школе при филармонии по классу вокала.

Из окон деревянной школы видно: на улице шел снег, паренек тащил санки с гнилыми досками; промерзший трамвай сгребал железной петлей бледные искры. А Варя старательно пела: «Не пробуждай воспоминаний минувших дней, минувших дней…», думая о том, что из бархатных штор могло бы выйти ей красивое платье.

Грустные чувства романсов как-то странно опередили ее жизнь. Она была уверенна, что переживет все это сама!

В городе Варя ни с кем не сдружилась. Но чувствовала, что ее тайну знали все! Особенно инвалид-фронтовик из сапожной будки. Он улыбался всякий раз, выглядывая из

табачного дыма, когда Варя шла из музыкальной школы. На полу валялась деревянная голень с отстегнутым ремешком, меж колен зажата стальная культяпка, на ней – ботинок со сбитым каблуком. Во рту сапожник держал мелкие гвозди, и, видимо, боясь их сглотнуть, сильно вытягивал махорочные губы. Он давно догадался о мечтах девушки в подшитых валенках стать певицей. И даже напевал что-то, словно подслушал ее домашнее задание.

Однажды осенью Варя прибежала в дом и крикнула хозяйке с порога, что ее « вызывали в органы». Хозяйка поняла сразу: не в милицию!

Девушка села на лавку, развязала узел бабушкиного платка:

– Пропуск дали к начальнику кадров. Прихожу. Он говорит, мол, порекомендовали вас… Меня то есть! И дальше, мол, не хотите ли поработать за границей?

Хозяйка сняла платок с черноволосой головы Вари, будто хотела разглядеть какую-то перемену в девушке:

– Ну, а ты что?

– Я опешила. А он давай расписывать: всего-то на два года, условия хорошие, жалование здесь и там…

– Уговорил?

– Я отвечаю: боязно, в заграницу-то. Он опять свое, мол, вы девушка молодая, энергичная. Поете хорошо! А поедите, Москву посмотрите, всю страну! Ухватился, как черт за грешную душу. Говорит, там, где вы будите работать, кругом наши солдаты. Никакой опасности. Я как опомнилась: а страна-то, говорю, какая? А он: страна-то – Германия!..

От пережитого у Вари опять выступили слезы:

– Я как услышала это – так и взвилась! Нет, дяденька! Ни за что не поеду!..

На веранде послышались шаги. Вошла дочь хозяйки, стуча ботинками не по размеру. Вынула из портфеля белую тряпицу, в которой заворачивала школьный обед, осмотрела внимательно и положила в шкаф для хлеба.

– Он меня успокаивать начал, – проговорила Варя, не сводя глаз с голодной школьницы. – О работе, о концертах. А напоследок опять ввернул, мол, подумайте хорошенько над нашим предложением...

Хозяйка – тридцатилетняя вдова с двумя детьми – взяла на руки пальто дочери, вышарканное на швах до бурой сетчатки, и сказала со вздохом:

– Эх, девка-девка! Хотя город и больше деревни, но все твои женихи остались там, в этой самой Германии.

Простые слова землячки успокоили ее. Варя поехала в деревню, спросить совета у бабушки. Польская дочь, никогда не покидавшая сибирской родины своих детей, сказала:

– Езжай, милая, не потеряешься!

Развернула за плечи к иконе и перекрестила.

Тем прощальным вечером, возле русской печи, внучка пела с бабушкой песни детства, чтобы они сберегли ее на чужбине.

В Москву Варя приехала налегке, с тяжелым деревянным сундучком, перекладывая его из руки в руку.

В гостинице впервые в жизни увидела ванну. После недельной дороги три девушки с Алтая принялись за стирку. Встали в рядок, будто на речке, вспенивая бельем воду и поправляя влажные падающие волосы тыльной стороной ладони.

Развесив на балконе вещи, включили черный динамик. Под томное арабское танго, впились в Москву, словно в огромный кремовый пирог с мармеладными башнями и теремами…

Неожиданно в номер ворвался мужчина в военной форме и потребовал немедленно снять «все эти тряпки», потому что их видно из здания правительства.

За четыре месяца жизни в столице Варя купила себе бархатную жакетку и кожаный чемодан.

Молодость, победный дух, царящий вокруг, военный распорядок занятий на курсах стенографии отвлекли ее от мрачных мыслей о далекой зловещей стране…

6

Как долго длился ее первый в жизни вальс!

Готические своды дворца – теперь Дома офицеров – словно каменные опахала обдавали средневековой прохладой. Музыка вспенивала пары, кружила их на сверкающем мозаичном полу.

Мелкие Варины шажочки спешно стенографировали движения, которые диктовал ей веселый лейтенант-связист. Он подошел к ней внезапно, заведенный с полуоборота первыми раскатистыми аккордами. Был весел и напорист, присвоив себе этот вальс, видимо, связав уже с каким-то прошлым успехом.

Связист вытягивал руки, чуть отпуская талию девушки, и вглядывался с прищуром в бледное лицо:

– У вас кружится голова? – спросил учтиво, не сомневаясь в том, что она будет лепетать сейчас.

Варя натужно улыбалась, едва поспевая белыми туфлями за движением его сапог. Она почти не верила, что танцует под сводами чужого дворца в белом бальном платье, (похожим на свадебное – не к добру).

– Вы в первый раз здесь?

– Да.

– Я сразу догадался.

– Так заметно?

Он числил себя в записных кавалерах:

– Ножку влево!

– Плохо танцую?

– Ну что вы!..

Духовой оркестр играл старинный русский вальс, и понятно, что все в зале были проникнуты любовью к далекой родине.

Капельмейстер, осанистый майор, не поднимая высоко рук, указывал палочкой направление атаки медной гвардии. К публике стоял вполоборота, сверкая золотым пагоном.

Есть в военных оркестрах какое-то лощеное мужество: звуки прямо-таки гибли во всем своем строевой блеске, но им на смену поднимались новые и новые великолепные ряды!

– Значит, вы недавно прибыли, – радовался связист, – никого еще не знаете!

– Так точно, – произнесла Варя серьезно.

– Ну, зачем так официально? – кавалер все более умилялся ее наивности. – Давайте знакомиться… В какой части служите?

Варя назвала пятизначный номер.

Лейтенант приостановился. А Варя на миг встретилась глазами с капитаном Смолянским. Он сидел в бархатном кресле и наблюдал за ними.

Кружение в танце возобновилось, но связист потерял легкость, запинался и наступал ей на носки.

– Зря я сюда приехала, – пожаловалась Варя этому случайному лейтенанту.

– А что так?

– Трудно здесь жить.

– Доносы писать?

Капитан покачивал носком блестящего сапога, будто подгонял завершающиеся аккорды. Вальс угасал, поперхнувшись в медных глотках труб. Да, ее подменили! На первом же балу.

С того дня Варя не любила праздники.

Когда наутро она вновь записывала вопросы следователя и ответы офицера-летчика, то вспомнила свою обиду на вчерашнего кавалера. Ей вдруг захотелось увидеть, как бы связист заговорил сейчас, в этой ее комнате.

Варя опускала перо в чернильницу, мстительно представляя перед собой растерянное лицо обидчика. Сокращенные слова, понятные только ей, она переписывала начисто после, уже со своими мыслями, разворачивая из них кому-то приговор, а кому-то оправдание.

7

На работу она ходила в сером костюме, как и большинство стенографисток. Но многие из них носили цветные блузки, жабо или банты. Посещали парк для русских с молодыми офицерами, а модные наряды шили в частных немецких ателье.

Новоприбывших девушек взяла под опеку жена коменданта – Ольга Зауровна, жившая на первом этаже их коттеджа. Статная дама с восточным разрезом темно-карих глаз. Она была родом из Осетии. И первая вывела девушек в город.

Немецкие трамваи поразили Варю чистотой и прозрачностью стекол. Входящие на остановках люди скла-

дывали зонтики и опускали воротники. Протяжный крик: «Ап-фарен!» и вагон медленно трогался.

– Генерал приказал всем платить, – Ольга Зауровна достала из кармана горсть монет. – А то немцы стесняются у наших спрашивать!

Кондуктор – в серой размашистой серой шали и круглых мизерных очках, похожая на летучую мышь, – подошла к русской женщине и выбрала с ладони несколько пфеннигов.

Варя оглядела пассажиров, видимо, они только начинали привыкать к спокойной русской речи, и послушно кивали, под свое неизменное: «Я-я…».

Вдоль дороги тянулась аллея отцветающих барбарисов.

Мелкий дождик сбивал с ветвей розовые лепестки. Они падали ровно и аккуратно на чистенькие тротуары.

Несколько лепестков упало на ступеньки у входа в ателье.

Пролепетал звонок над головой.

В маленьком сумрачном помещении запах ткани и горячего пара от утюгов. Из боковой двери вышел хозяин, сухопарый, в жилетке и белой рубашке с черными запонками.

Он улыбался Ольге Зауровне, как хорошей знакомой: «Гутен так, фрау! Гутен так».

– Сразу узнают! – улыбалась она в ответ, говоря девушкам, остановившимся возле манекена. – Еще рта не раскрыла, а уже знает, зачем пришли!

Со временем Варя заметила, что немцы как-то особенно доверяли восточным глазам русской «фрау».

Ольга Зауровна показала рукой на молоденьких «фройлен», сделав витиеватый полет ладонью.

Немец качнулся пару раз на каблуках в раздумье, с огромным приличием оглядывая девушек. Потом обрадовано щелкнул сухими пальцами и скрылся за дверью с матовым стеклом.

– Вот подишь, – проводила его взглядом жена коменданта, – народные песни запрещают им петь, а частные ателье – открывай, пожалуйста!

Вскоре немец вынес охапку платьев на вытянутых руках. Поочередно вынимая деревянные плечики, он протя-

гивал наряды, показывая, что нужно примерить. Девушки робко прижимали их к груди, блестя глазами.

Мастер терпеливо ждал, иногда показывая растопыренными пальцами у себя на плечах и талии, что еще нужно добавить или убавить.

– «Я!» – одобрила Ольга Зауровна. – Знает толк в этом деле!

На улице Варя еще долго находилась под впечатлением виртуозных рук портного. Влажно блестела брусчатка, головастые фонари с кованым чубчиком приподнимали для нее тяжелые черные шапки.

Первый год, не зная удержу, Варя объедалась яблоками и мясом. Худенькие плечи ее округлились, бледное лицо пронял-таки свежий румянец.

Она купила себе немецкое пианино с бронзовыми подсвечниками, а домой посылала одежду и обувь многочисленной кирзовой родне.

Молодых незамужних девушек зачислили в художественную самодеятельность. В каждой воинской части были свои артистки и их поклонники. Широкоскулая Раиса виртуозно играла на баяне, (позже, сам генерал Чуйков подарил ей шикарный аккордеон!) У нее были удивительные глаза: голубые с азиатским разрезом. Длинноногая Татьяна – с русой челкой и густыми бровями, сходящими на переносице, – обладала природной гибкостью и хорошо плясала. Варя пела.

Ольга Зауровна особо выделяла ее:

– Варя, у вас классический голос! А здесь романсы к месту. Кстати, почему вы не хотите заниматься с Гельмутом?

Репетиции проходили в каминном зале дома офицеров. При виде девушек в хоре отчетливей звенели тенора, а басы становились призывнее. Мужчины поднимали плечи, набирая в грудь больше воздуха и удерживая полы кителя сжатыми ладонями.

Два баяниста с багровыми лицами, тянули хор, будто маломощные паровозы тяжелый состав при подъеме. Ложкари нещадно дробили коленки. Даже капитан Смолянский читал Маяковского со сцены, прощупывая взгля-

дом зал. Варя старалась не смотреть в его сторону, не нравилась его отрывистая манера – будто строгал хлыст из ветки.

Руководил самодеятельностью Гельмут, сухопарый немец в серой жилетке, с липким начесом на затылке. Он сносно говорил по-русски, хорошо знал русскую классику. Но не чувствовал, по мнению Вари, настрой русской души.

Так же сторонилась она немецкого садовника, он выращивал розы почти черного цвета. Рано утром садовник лил чернила под кусты. Каждый раз, глядя на траурные бутоны, Варя вздрагивала: не к добру! Однако садовник помог ей купить для отчима немецкий секатор.

По выходным девушки тоже гуляли в парке для русских, втроем взявшись подруки. Иногда в окружении офицеров.

В глубине парка, поперек тенистой ложбинки, возвышался каменный мост. Будто здесь когда-то высохла река. Варе казалось, что тяжесть моста сама выдавила из земли маленькую грязную лужицу.

В парке насвистывали птицы, с какой-то филармонической щепетильностью.

Древняя липа уперлась гигантской стопой в зеленую полянку. На ее стволе темнели рубцы, местами виднелась тускло-бежевая крученая сердцевина, словно оголились вековые жилы.

Варя впервые видела такое большое дерево! На высоте двух метров висел деревянный герб, с надписью о возрасте липы, кто посадил ее и по какому поводу.

В огромной кроне дремал зыбкий туман; среди раскидистых ветвей, похожих на небольшую рощу, сновали птицы, будто они не могли найти выход из зеленой клетки.

Не сговариваясь, три подруги пели «Липу вековую». Виделось, как плывут по речке Таленке смятые липовые цветки, а вечерняя заря остужает в воде алую подкову, словно потерянный след уходящего дня.

Горло давила тоска, обрывала песню безголосица чужбины.

На темной глади пруда застыли ручные немецкие лебеди. Выгнули тонкие шеи, похожие на белые вензеля.

Голый плющ курчавил бледно-желтые фасады дворца Фридриха.

В огромном зале дворца стояла диковинная карусель, метровой высоты. На пяти ярусах-кругах расставлены птицы, звери, дамы с зонтиками, солдаты с ружьями и всадники со шпагами. Вверху карусели прикреплен пропеллер с тонкими закопченными лопастями, а под ним – толстые свечи. Получив от Вариного кавалера монетку, служитель музея зажег свечи, ограждая от посетителей горящую спичку.

Огоньки и тишина как в церкви...

От горячего воздуха пропеллер вздрагивал, чуть качнувшись, карусель начала медленное вращение.

Фигурки ожили и побежали.

Все они оказывались фазами движения одной летящей птицы, одного бегущего зверя, марширующего в одиночку прусского солдата, скачущего кавалера и красивой дамы с зонтом, гулявшей в одиночестве… Может, всадник-кавалер и стремился к милой сердцу даме, но всегда напрасно!

Мама и люди, с которыми она была в Германии, расположились в моем представлении яркими фрагментами – на отдельных ярусах немецкой карусели.

Секрет в том, что эта страна стала символом праздника и беспечности, как опереточный сюжет, где слова признания обязательно продолжит мелодия, где ожидание любви кружит голову, а счастье не уходит со сцены. Оно будто бы одалживается всей последующей жизни!

Даже печальные события, казалось мне, приходили лишь для того, чтобы их чередовать с весельем и завершить все миром да согласием.

А еще в Германии таилась самая большая для меня загадка: врачи из немецкой клиники вынесли приговор, что детей у Вари быть не может. Сказалась колхозная стужа в юности.

Свободу моей фантазии придавало чувство бесплотности! Оттого так своевольно следовал я за мамой, в неизвестной мне стране.

И мог легко представить себе зал кабаре в бордовых тонах, прищуренные огоньки на стенах, смесь запахов шоколада и пота, теплый сквознячок от надушенного шелка.

На сцене пестики женских ножек, взбрыкивающих из тряпичного бутона юбок, пенные брызги музыки, окропляющие зал азартом и желанием чего-то…

8

После кабаре решили пройтись пешком, радуясь майскому теплому вечеру. Ольга Зауровна и ее любимица Варенька уже не в первый раз выполняли поручение замполита: нанять джазовый оркестр на очередной праздник. (Праздновали в «Смерше» позже красной даты, потому что в эти дни объявлялась боевая готовность.)

Женщины легко постукивали кончиками зонтов о брусчатку, выбивая на камнях джазовый мотив.

И видимо, увлеклись игрой. Платья с «плечиками» особенно хорошо смотрятся рядом с офицерскими погонами! «Девушек подцепили» два русских офицерика – полевые вояки, худощавые, жилистые, с острыми лопатками и короткими усами:

– Девочки, вы откуда?

– Откуда и вы, – не задумываясь, ответила Варя.

– Из кабаре идете?

– Ага, гуляем, пока мужья на службе! – Ольга Зауровна прибавила шаг.

Но пехотинцы не отставали и быстро испортили настроение:

– Такие, как вы – не похожи на наших жен!

– Какие? – удивилась Варя, почему-то решив, что они – холостяки.

Один офицерик нырнул в кабину телефона, другой как-то расширился и путался под ногами: «Сейчас мы узнаем, кто вы такие?». Ольга Зауровна спокойно улыбнулась и даже сочувственно кивнула ему.

Показался трамвай.

Дамы перешли дорогу к остановке. Офицерик увязался следом, шаркнув сапогом о чугунную урну:

– Вы задержаны!

– Ты за это ответишь! – сказала жена коменданта. И добавила тихо. – В ногах у меня валяться будешь!

– Ах ты… немецкая шлюха!

– Спокойно, – улыбнулась красавица-осетинка и поправила свои каштановые волосы. – Люди кругом! Подумают, что вы какие-то бандиты-окупанты, и пристаете к мирным женщинам.

Варя вспомнила манеру капитана Смолянского, он бы зацепился сейчас за «неуважение к немецкому народу». Затем отделил бы своих дам от пехотинцев: кстати, вы задели локтем одну пассажирку! Не извинились?! А выпадки, что мы, мол, – здесь хозяева? Вам разве командиры не объясняли, как нужно вести себя в городе?..

Попутно она отметила несвежий подворотничок офицера, пуговица на рукаве пришита лохмато. Лицо красное, может, чуть контуженный, но все же симпатичный парень…

Медленно подкатил трамвай. Профили в окнах чинно кланялись тормозному движению. Пассажиры обходили странных русских, затеявших долгое прощание.

Вот обнажился никелированный поручень. Пехотинец преградил женщинам дорогу.

– Ну, ты пожалеешь! – гордость не позволила Ольге Зауровне отвести его руку.

Трамвай ждал.

Кондуктор крикнула предостерегающе: «Ап-фарен!» – словно перед цирковым прыжком. В этот момент подбежал второй офицер. За ним ехал, раздувая зеленые щеки – передние крылья, – комендантский «газик».

Долговязый лейтенант, с красной повязкой на рукаве, слетел коршуном с подножки: «Предъявите ваши документы!»

– Товарищ лейтенант, – слегка покачивая головой, сказала Ольга Зауровна, – обращайтесь к соотечественницам по уставу!

– Разберемся, кто вы такие! – Повернулся к солдатам: – В машину их!

Жена подполковника сделала обрадованное лицо, мол, подвезут до места! Она выдержала паузу, чтобы солдат открыл ей дверцу. Варя забралась следом.

Машина отъехала, за ней покатился трамвай, догоняя их. Пассажиры более смело смотрели на русских, улавливая на лицах привычную суровость.

«Не дрейфь! – подмигнула комендантша. – Обратно еще на трофейной привезут!». Варя быстро успокоилась, принимая случившееся за новое приключение, пусть бестолковое, но родное. Ей было все равно куда ехать и зачем, подчиняясь нелепому подозрению, потому как уже давно жила тайной и явной подневольностью.

В комендатуре Ольга Зауровна потребовала, чтобы их немедленно отвели к такому-то полковнику.

– Ты хорошо осведомлена, – без тени сомнения отрубил лейтенант. – Ничего, следователь узнает, кто вы и откуда «все знаете»!

Документов при них не было. Женщин отвели в камеру.

Захлопнулась железная дверь, а в памяти Вари всплыл рьяный пехотинец, оставшийся на остановке. Орёлик! Неужто, в самом деле, она вызывает такие чувства? А вот встретились бы в доме офицеров! Может, даже посмеялись… Хотя, нет. Не смогла бы уже простить…

Прошло больше часа, когда дверь отворилась, и пришел следователь. Услышав от задержанных номер части, он проводил женщин к начальнику комендатуры.

Кабинет начальника похож на медвежий угол – бархатные портьеры внахлест, толстый ковер на полу, вмятинами следов от сапог, тяжелые кресла разного калибра. У полковника темная шерсть в ушах и на коротких пальцах; выслушал доклад угрюмо: «Н-да, ошиблись-то как!..». На лице досадная улыбка.

– Продержали в кутузке без всяких-яких! – Ольга Зауровна брезгливо осмотрела предложенное ей кресло.

Полковник скрылся в чаще кабинета, подставляя злым взглядам женщин непрокусываемые бока.

– За своих подчиненных вы должны отвечать!

То тут, то там слышались звуки двигающихся стульев или крышки графина:

– Вас приняли за тех русских дамочек, что остались после войны. И не хотят возвращаться на родину…

Забирать «пленниц» приехал капитан Смолянский.

Проводив Варю до ее комнаты, он произнес назидательно:

– С человеком ничего не происходит зря или, как он думает, случайно!

Затем пили чай, «в кутузке не угостили!» Капитан говорил о чем-то слишком умном, мол, человек движется в трех измерениях: разума, чувства и сердца. И если застопорилось в одном, то, может быть, виновато «пустое сердце».

Смолянский наблюдал – через овальное зеркало – за черной косой, ёрзавшей меж лопаток. Варя шутливо напевала: «Горе-горькое по свету шлялося, и на нас невзначай набрело!..». С недавних пор у нее появилась новая привычка – отвечать на неудобные вопросы словами известных песен. И отделаться легко, и не оскорбительна народная мудрость.

Сад за окном был усыпан белыми лепестками яблонь. На их фоне отчетливее выделялся темный бетонный остов. Варя спросила капитана: знает ли он, что было там раньше?

– Знаю!

Она уже научилась понимать по тону следователя, что «знать ей этого» не положено.

А пехотинца «горе-горькое», точнее, похожего на него, Варя встретила однажды. На допросе у Смолянского.

Те же честные глаза, вспотевшая щетина на шее. На столе у следователя лежала немецкая рождественская открытка. На ней фотография Мадонны с острыми коленями под платьем. Мокрая скульптура где-то под ветками сада. Лейтенант заклеил бумагой немецкий текст и написал невесте: вот, какая краля! Но ты, мол, – лучше! На этот раз Смолянский сделал все, чтоб пехотинец быстрее увидел невесту на родине. А Варя впервые почувствовала зависть и досаду.

9

Освоившись понемногу, сибирские птахи превратились в милых щеголих: они выступали на сцене Дома офицеров, ходили на танцы по субботам, шили наряды в частных ателье.

С некоторых пор Варю сопровождал на машине только капитан Смолянский. Принимая из ее рук свертки с покупками, спрашивал, пытаясь казаться удивленным:

– Опять в двух экземплярах?

– Генерал просил для дочери.

– В самом деле?

– Да, – Варя хлопала дверцей машины. – Еще надо в шляпный заскочить.

– Варенька, с вами хоть куда! – капитан выкручивал руль, глядя мимо лица девушки в боковое стекло. – Какая наивность! Он посылает вещи в Москву не только дочери.

– А кому же?

– Не догадываетесь?

– Нет, – слукавила она.

– У нас в части все фильмы идут с ее участием!

Варя вспомнила недавний фильм и его героиню. В праздничных ватных снегах Сибири шла девушка-врач на помощь к больному ребенку. Шла на лыжах в пургу! Потому что не найти своего счастья иначе, как через подвиг. Затем ее находят под пихтой, полузамерзшую, с нежно открывшимися глазами и накрашенными губами… В белой лыжной шапочке! Такую шапочку Варя купила полгода назад генеральской дочери.

Эту милую картину заслонила вдруг настоящая сибирская метель, волчий блеск звезд, скрип снега под ногами людей, когда нашли Варю, обнимающую мешки с зерном возле замерзшей лошади.

Но капитану этого не расскажешь. Девушка засмеялась, чтобы скрыть в душе следы метели:

– Сейчас в магазине у немца цыплят видела! Малюхастенькие такие! За перегородкой. Кисло пахнут, как в деревне!..

Смолянский тоже смеялся, поправляя козырек фуражки:

– Я понимаю, почему генерал взял вас на конференцию…

– Он говорит, что я ему дочь напоминаю.

– Вы все мирное напоминаете, – взгляд внимательный, как на допросе. – Понравилось вам, кстати, в Лейпциге?

Опять пришлось пережить дождь сторублевок, сброшенных с самолета. Союзники помахали крыльями и улетели в западную зону. А жители осторожно поднимали с земли листовки, напечатанные на обратной стороне советских купюр. Потом бегали наши офицеры и солдаты, снимали фальшивки с деревьев и крыш домов.

– Даже не спрашиваю, что будет сегодня вечером.

Варя поняла:

– Да, письмо получила из дома.

– Что пишут?

– Хорошо все. А все равно реву…

Мелкий дождь и сильный ливень сменяли друг друга как часовые. Варя перечитывала письма из дома. Уже вернулся отчим из трудармии, братья «подросли и озоруют». В конце декабря уже медведь в берлоге перевернулся. А здесь – бесконечная слякотная осень. В саду почернели листья на земле. И все казалось, глядя на пустые дорожки, вот что-то не убрано, не завершено. Потому что не укрыто снегом до весны.

10

Летом второго года службы вышла замуж подруга Раиса.

Черная «Эмка» привезла молодоженов к крыльцу дома. Встречали их шумно. В гильзе от артиллерийского снаряда торчала бутылка шампанского. Невеста прикрывала фатой смущенную голубизну раскосых глаз.

Праздничный стол походил на немецкий парк: аллеи хрустальных бокалов, сочные клумбы салатов, серебристые дорожки ножей и вилок.

Муж Ольги Зауровны – подполковник с припухшими веками – встал, предлагая тост и держа бокал на уровне пояса в знак того, что говорить будет долго:

– Дорогие товарищи, друзья, сослуживцы! Два года назад над моей головой поселилось осиное гнездо! Что поделаешь, молодость! А значит – музыка, танцы, смех и все такое… Жена – свидетель, – я терпел. И вот мои тайные надежды стали сбываться: одна плясунья уже покидает нас!

Потом жених и невеста танцевали свадебный вальс. Гости смотрели на них, откинувшись на спинки стульев. Подняли бокалы: за возвращение домой. Странное чувство, хотелось вернуться на родину, но при этом девушки понимали, что свою молодость они оставят здесь навсегда.

Доверились Руслановой: «Очаровательные глазки, очаровали вы меня!..». Душа притихла под грозовым облаком вещего голоса.

– Ох, мамочка, – причитала Таня, – нет тебя на свадьбе дочери!

И сказала-то вскользь, для порядка. Но зазвенела в душе деревенская гармонь с тысячей подкованных в ней чертенят! Раздвинулась изба пьяными углами, бражной дым уперся в потолок, пироги летали как гуси, а за околицей, за дальним лесом билось об заклад червонное солнце, обещая на завтра долгую жизнь...

Разорив парк на столе, молодые и гости отправились в парк для русских.

День был жаркий.

Купались в пруду и загорали на дощатой террасе, уходящей в мутную воду. Раиса надела китель мужа поверх купальника, затем сапоги, и плясала «Яблочко» так, что приседали бревенчатые опоры террасы.

Под музыку духового оркестра катались на карусели с цветными фанерными бортами.

В разгар веселья Смолянский сказал Варе:

– Я видел вас возле церкви.

– Да сидела на скамейке.

– Спрашивала разрешения?..

– Благословения!

Волоски на его висках покрылись капельками пота. Капитан вынул платок, но уронил под стол. Наступив на него сапогом, произнес досадой:

– Муж для женщины – и поп, и приход!

– А для жены?

Смолянский целовал ей руки. А душа сжималась! Хоть на аркане тащи. Просили: спой, Варя! Но песни те дома остались. Затянула бы сейчас, взахлеб, в матушку-сердешную! Только вот не мило ей, и скрыть не может!

Устав грустить, пошли на танцы.

Капитан подхватил Варю под локоть: «Жена – солдату, что граната в мешке, – и спасти может и взорвать!..». Душный он, обволакивает как паук. Неотступный и далекий. А нужно наоборот: чтобы простор был возле мужчины, и заботлив – и щекочет, как ангел крылом!

Смолянского не любили в части ни начальство ни сослуживцы: много позволял себе в разговорах, даже для офицера «Смерша». За ним закрепилась слава вольнодумца, готового лишиться погон в любой момент. Поэтому, наверно, он избегал взысканий крючкотворного характера.

Возле клуба, отстав от веселой компании, Смолянский преградил Варе дорогу. На дощатом стенде висела афиша фильма «Под небом Сицилии». Галантный мужчина в сером плаще и шляпе смотрел на них бумажными глазами…

В детстве у меня была уверенность: проткни бумажную афишу – в дырочке увидишь другую жизнь! И еще было взрослое ощущения человека оставшегося в мечтах! Я остался в живых, в родных, в любимых, в успевающих. Но вот что еще странно: после этого ощущения я не узнавал привычную жизнь. Окружающие люди, казалось, должны были говорить и двигаться по иному – как на афише фильма, и, главное, не бросать меня.

Танцевала в тот вечер Варя недолго. А улучшив момент, сбежала от настойчивых ухаживаний капитана.

Возвращалась одна.

Накрапывал дождь. Варя прошла мимо солдатской бани, свернула к платановой аллее, и решила сократить дорогу: выйти к монастырскому огороду через склады.

В темноте тихонько напевала, на всякий случай.

Неожиданно перед ней возник солдат:

– Стой, кто идет?

– Свои! – крикнула она и сделала шаг вперед.

– Ни с места! – голос солдатика с петушиным срывом. – Буду стрелять!

А Варе стало весело:

– Ах ты, сопляк!

Солдат крикнул: «Ложись!» и выстрелил в воздух.

Ноги у девушки подкосились, она опустилась на колени, потом легла животом в мокрую траву.

Прибежал дежурный офицер с фонариком: «Часовой, кто стрелял?»

– Неизвестная личность, – отчеканил солдат. – Отказалась подчиниться приказу!

Резкий луч высветил испуганное и злое лицо нарушителя.

– А, певица! Ну, вставай…

Варя смущенно поднялась, отряхиваясь, и еще более размазывая грязь по новому платью.

11

Случай замяли.

Но неделю спустя, Варя узнала в конопатом часовом, дежурившем под окнами кабинета, того солдата, что положил ее на землю возле складов.

Недолго думая, Варя вылила из графина воду ему на голову. Парнишка смолчал, но мокрый вид заметил офицер, доложил начальству. И Варю посадили на гауптвахту.

Женской «губы» в части не было. Хулиганку заперли в подсобном помещении хозчасти. Принесли железную кровать и грубое солдатское одеяло. За свою провинность она должна была чистить картошку. Но солдаты не подпустили к баку – просили что-нибудь спеть.

Мальчишки молодые, на стриженых затылках светятся розовые прыщи. Дома их ждут подросшие девчонки! Варя спела Есенина. Запрещенного поэта. Настроение такое было. Видя перед собой безглавую церковь, полощущую в речке рваное отражение! Бабы любили это место под белой стеной – вода чище. Хлестали белье с оттяжкой, вымещая обиды на водяных чертей, смывая с простыней сор, что мешал спать! И такой сон бывал после, будто через все тело протекал нескончаемый звук воды!

Никогда в детстве не произносила она так вольноупоительно слово «мама»! Теперь же выдохнула легко, как молитву. И даже не заметила, что перекрестился один солдатик, озираясь на упавшую в котел картошку.

Ночью Варя долго не спала, вспоминала деревню, свой дом. Будто стоит она на мостике через ручей, а перейти не может. И куда ей возвращаться? Нет у нее главного – своей семьи.

Была еще причина резкой перемены в ее настроении: возле «арестантской» комнаты она заметила в кладовке белесую скульптуру. Всю в паутине с запыленными каменными складками. Варя вспомнила рождественскую открытку лейтенанта и догадалась, чей постамент был виден из ее окна. Долго стояла перед бездетной Мадонной, вдруг ощутив непривычную пустоту в молитвенно сложенных руках. Не вернуться ей прежней – душа предчувствовала долгое скитальчество. В изгибе склоненного гипсового тела ей привиделась знакомая береза на окраине леса. Вспомнилось лесное болото, выпившее соки из голых деревьев с обломленными верхушками, а возле берега – согнувшийся черный ствол, словно одеревенелая душа.

12

За стенкой шипела печь, постукивала ложка о край алюминиевого бака.

Варя сидела на кровати и штопала чулок.

Сквозь растянутый на ладони капрон проступали линии судьбы, как ненужный сор в сети рыбаков.

Послышались быстрые шаги, хлопнула дверь, козырнули солдатики: «здавь-желайем!». В комнатку вбежал капитан Смолянский.

«Хорошо устроилась, – мелькнуло в глазах. – Даже спокойнее стала! Но и упряма, как прежде».

– Собирайся! Полковник приказал тебе петь!

В актовом зале шел концерт художественной самодеятельности. В первом ряду сидел приехавший с проверкой генерал.

Вначале выступал хор, Раиса играла на подаренном аккордеоне. Затем на сцену вышел солдат в форме казака. Он нахлобучил сапог на самовар и, с помощью четырех краников со вставленными свистульками, удивлял зал мелодией «Катюши»…

Смолянский присел перед Варей на корточки, будто хотел сам надеть на нее чулки: «Быстрее, прошу тебя!»

– Я не пойду!

– Почему? – не поверил капитан.

Варя встала:

– У меня мятое платье!.. Грязные волосы! У меня чулки рваные…

Видя в глазах Смолянского возрастающее удивление, сказала:

– Помоги ему, Коля!

– Кому?!

– Солдату тому, что перекрестился.

Понизила голос: «сломают парню жизнь!»

– Да не в этом дело, который перекрестился, – капитан громко открыл дверь.

– В чем же?

– А в том, который написал, что при виде креста сердцем комсомольским… перевернулся!

– Помоги, Коля! – бросила чулок. – Босая выйду…

Взмывая краями цветастых юбок, плясала Таня цыганочку. Дробь каблуков не совпадала с трясущимся подбородком. У Раисы взмок ремень аккордеона.

Генерал вложил ладонь в ладонь, и спросил сидящего рядом полковника: «А где у тебя такая маленькая, с косищей?..»

За кулисами стояла Варя в черном платье и новых чулках.

Зал встретил ее как любимицу.

Не брани меня, родная…

Взяла она с ходу, обращая взгляд в сторону размякшего в кресле генерала.

Что его я так люблю!

Будто челобитную подавала. Ладонью коснулась лба, поправляя волосы. Но уронила руку, заметив поощряющий кивок Смолянского. Такая вот армейская мода на артисток: кому великая Русланова, кому – стенографистка.

«Все немило, все постыло, – закончила куплет по-своему, своенравно и протестующее, – на чужбине одному!»

– Хорошо, – кивнул генерал.

В тот год появилась песня о журавлях. Артистки из «Смерша» запели ее первыми. «Здесь под небом чужим – я как гость нежеланный…» Слышалась уже другая тоска. И какой-то иной, незнакомой проступала родина в эмигрантской тоске.

Со сцены вглядывалась Варя в лица соотечественников: «А вернутся они, и их примет в объятья – дорогая отчизна, Россия моя!» Об этом запрещено было думать: оплаканные журавлями веси. Вспоминать разрушенные церкви, где в пустой колокольне гнездилось красное солнце под ворохом багряных туч…

– Хорошо спела! – первым хлопал генерал, – с душой…

В детстве я думал, что журавли зимуют где-то в мамином юности. Осенью они уносили ее лучшие песни, а весной возвращали с накопленной силой и тоской.

В песнях я был кому-то и где-то нужен. Мне хотелось чувствовать прилив и отлив песенных сил народа. Мамины журавли исподволь готовили в дальнюю дорогу.

13

В начале марта 1953 года из Западной зоны прилетел самолет и сбросил листовки: умер Сталин.

Через три дня сообщили по радио. В «Смерше» объявили чрезвычайное положение.

А осенью того года, недалеко от поликлиники, неизвестная машина сбила Раису…

В тихом лесу, среди железных пирамидок с красными звездочками и мужскими лицами на фотографиях, выделялась курган из цветов.

Отслужившие листья немецких кленов падали на русскую могилу. Подруги стояли с заплаканными лицами, офицеры с фуражками в левой руке. «Господи, не приведи только умереть на чужбине!» Подходившие люди все укладывали ветки гортензии, белые и розовые шары без запаха.

Подруги отодвигали букеты, закрывающие портрет. По лицу Раисы на концертном фото прочертились косые полоски начавшегося дождя…

Кладбищенские фотографии не стареют. Лаконичны и старомодны – не разбудят памяти. Не пустят к себе

Некоторое время Варя боялась открывать свой альбом, где почти на каждой странице была Раиса. Альбомные фотографии продолжали жить с живыми, с улыбкой глядя на стареющих двойников. Грусть и удивление от прозорливости давнего мига. Эти фотографии манили вернуться в счастливое прошлое, чтобы, может быть, переиначить взгляд, поправить прическу, вспомнить то слово, что осталось на милых губах.

За шесть лет жизни в Германии Варя изменилась: стала раздражительна и насмешлива вне службы. А любовь к чистоте и порядку у нее граничила с брезгливостью.

Она подолгу стояла у двухметрового зеркала: массивный портал с тонкими ионическими колоннами, похожий на золоченое обрамление волшебной двери. Разглядывала и будто не узнавала себя в красивой даме, одетой в бархатное платье. Злато-каменные позы на окраине волшебного мира! Варя чувствовала внутреннюю надсаду, какая бывает с человеком, получившим от судьбы непосильный дар. Она уже предчувствовала, что скоро снимет праздничный наряд, как рассталась когда-то с ситцевым деревенским платьем.

Вновь и вновь вглядывалась в серебряно-мглистую пустоту зазеркалья, словно не в силах перешагнуть порог той двери. Сколько людей смотрелось до нее! Сколько разных чувств отразило и запомнило это зеркало! Теперь оно служит ей, девчонке из сибирской глуши; и только ее впускает в свой мир. И может быть, по возвращению домой, оно вдруг подернется мутным бельмом…

Изящные немецкие вещи отражались в глубине комнаты, цепенея обманным уютом. Душу теснили чужие стены, которые она так и не смогла обжить.

На столе белел листок, – беда не ходит одна, – из Таленской пришло известие о смерти любимой бабушки. Гордой полячке.

Перед глазами вставали старые ивы у забора, маленькая белая хатка, где прошло детство, высокая малина за забором. На скамье дощатый гроб, как лодочка. Лежит бабушка в шерстяных носках… Сухонькая старушка с бумажным венчиком на лбу, крепко сложены темные жилистые руки, в последний раз облитые ярким солнцем. Во дворе дома людно, но тихо. Тень от черемухи падает на головы родни. Любимые деревенские лица, сжатые рты. Глухо кричит запертый петух. Дети сидят на заборе, словно каменные. Мать в черном платке, у горла впадина, поперхнулись горем. Старушки кивают на недолгое уже расставание. За ними выглядывают русые непокрытые головы – девки в застиранных платьях, глядят на бумажные цветы, как на богатый фасон…

В последний год жизни в Германии тоска обрела покаянный оттенок – не услышала Варя последний выдох родного человека.

На столе осенние розы, с темной канвой на лепестках, как обветренные губы. Букет отражался в зеркале, будто стояло их два в одинаковых вазах. Красоту зеркало усиливало, убогость обдирала до костей…

Вскоре произошло какое-то непонятное событие, всполошившее контрразведку: «восстание ватиканов». Перебрасывали войска к Западной зоне, отправляли офицеров «Смерша». По улицам бегали группы молодых немцев. Обычно они были степенны и прилично одеты, но в эти дни носили поношенные рабочие куртки, будто собрались на очень грязную работу.

Варя часто ходила в сад и наблюдала за садовником. Ей нравилась неспешность движений немца, его отрешенность. Садовник срезал отцветшие бутоны со стеблем до первой развилки. Осторожно собирал лепестки в ладонь, чтобы они не падали на глянцевые листья роз. Со временем эти жухлые налипы дырявили язвами листья...

В те дни запрещено было покидать расположение части, но Варя упросила Смолянского отвести ее к Русскому собору. Поставить свечку бабушке.

Мягко стелился перезвон колоколов, золотой крест упирался в низкие облака, словно запутался в сырой паутине.

Варя сидела на скамеечке и перечитывала письмо из деревни. Отчим писал: «С хлебом у нас туго, а в дальних деревнях, ты знаешь, что я езжу с товаром, люди еще голодуют…» (Распечатанный конверт отдал следователь из отдела писем, но предупредил, чтобы осекла папашу.)

Кусочком родного неба синела надвратная икона.

Из золоченого полумрака открытых дверей доносилось русское пение. Даже опавшие листья под ногами прихожан, казалось Варе, шелестели по-русски. Издавая какой-то безбрежный звук.

На скамейку кто-то присел. Варя опустила вуаль.

– Вы русская?

Увидела дряблые бледно-лиловые пальцы, державшие трость. Высокий старик в черном пальто. Уловила запах хорошего одеколона.

Вступать в разговор с незнакомыми людьми было запрещено, но она не смогла отказать умоляющим глазам старика. Варя кивнула – благостным поклоном, – с каким русские люди приветствуют друг друга возле церкви.

– Я вас приметил, сударыня, – старик ответил ей тем же поклоном. – Я тоже русский…

Помолчал, и добавил:

– Уроженец Калужской губернии.

Видимо, он был не стар годами, немного за шестьдесят, но болен. Он рассказал, что эмигрировал после революции, женился на дочери француза-парфюмера и всю жизнь скучал по России.

– Сударыня, я здесь одинок. Жена – француженка, дети – немцы, а я – только русский! – И поспешил уточнить. – В войну был в концентрационном лагере.

На колокольне мерно отстукивал колокол, звуки падали и замиранием с гулкой неспешностью. В такт им срывались листья, добавляя в воздухе льющейся меди.

– Недавно умер Бунин, – нарушил молчание бывший калужец. – Еще один несчастный русский… Да, была когда-то Россия, был уездный заснеженный городишко…

От его слов сжалось сердце, будто и впрямь родина могла для нее исчезнуть каким-то странным образом.

– Я, сударыня, прожил долгую жизнь, но как сейчас помню ту снежную станцию, набитую беженцами, выжидающих мужиков на подводах. Тогда я выменял хлеб на готовальню с монограммой. Мужик презрительно ухмылялся, из-под расстегнутой шубы на животе висело золотое пенсне на цепочке. Помню, поезд уже тронулся, а у одного солдатика в давке чайник упал. Ему кричат: брось, мол, прыгай, а он все ж ловчил руку сунуть. Выхватил! Догнал вагон, мол, руку отрежет – полбеды, а без чайника вовсе не доедешь!

Старик засмеялся, радуясь услужливой памяти:

– А было это в Сибири, в 1920 году под Иркутском. Станция Зима. Солдаты в шинелях без погон, чехи с английскими винтовками, партизаны с красными бантами, все кричат, мол, Колчака арестовали! (Вот и замкнулся круг: серое бессонное лицо адмирала, цыганский табор перед вагоном, где-то в толпе несчастный калужец, занесенный русской метелью.)

Варя хотела распрощаться, но старик неловко поднялся со скамьи и произнес:

– Боже мой, как я вам завидую! Вы опять увидите Россию! Подождите минуточку, сударыня, я дам вам любой, самой лучшей парфюмерии…

– Этого не надо, – поспешно ответила Варя.

Но чувство жалости все же удержало ее.

– Сударыня, я болен. Уже серьезно. Мне осталось недолго… Прошу вас, если только возможно, привезите мне горсть земли из России!

Варя пошла, опустив голову, теребя пуговицу на груди, а, может, вминая тремя пальцами часть крестного знамения. И все слышала вдогонку: «Я буду приходить сюда каждый день, привезите! Умоляю вас!..»

Заунывно гудел ветер, какой бывает возле церковных стен. И давние ссадины в кирпичах тоже просили ее о чем-то...

Мама привезла землю, пахнувшую мелом и корневищами. На границе мешочек проверяли три раза, но возвращали с понимающей улыбкой.

Позже я узнал историю с эмигрантом в ее литературном варианте.

В жизни отдельных поколений случается общенародная мода: моя прабабушка, как и многие своевольные девушки того времени, сбежала с батраком, отстаивая свою любовь и независимость; а русские эмигранты разных волн желали иметь горсть русской земли.

Жутко и прекрасно соединилась моя жизнь с теми давними событиями!

Как после долгой беготни ложишься грудью на землю, слушая запыхавшееся сердце, и кажется, будто земля отзывается на стук войти в ее холодный приют, где успокоился уже давно безвестный русский эмигрант.

ДЕТСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

1

Пока мама жила в Германии, я ждал ее в деревне, точнее – на лесной дороге, что раздваивалась у опушки: одна вела к тихой речке с песчаными обрывами, другая – на старое кладбище, с ветхим треугольным крестом.

Все, что происходило здесь – хранило меня.

– Опять твоя подружка пришла!

На дощатом тротуаре стояла черноволосая девочка.

Видя, что внук не узнает гостью, бабушка добавила:

– Неужто, позабыл ее?..

Удивление – свойство городское. В деревне все само собой разумеется. Конечно же, я узнал в подросшей девочке цыганку-непроливайку!

На ней тоже белое платье в бордовый горошек, от талии широкое, как колокол. Розовая тень на смуглых ногах. Глаза хитро прищурены, руки держит за спиной, словно хочет чем-то удивить:

– Мы идем на речку!..

– Баба, я пойду?

– Только от нее не отставай!

В средине лета солнце пекло так, что от леса накатывало теплым хвойным духом. Ребятишки ходили на речку Таленку: купаться и рыбачить.

Пацаны шли впереди, девочка с прутиком позади, словно пасла нас, как гусей.

Лесная дорога вдоль железнодорожной насыпи, сплошь исполосованная тенями от высоких сосен.

С грохотом мелькали товарные вагоны – ярко-коричневые или темно-вишневые; от них веяло горячим железом и углем. Поезд уходил, и вновь было слышно, как шуршал под босыми ногами мягкий, с иголками, песок: прохладный в тени, и теплый – на солнце. А если зазеваешься, то раскатаешь ступней сухую шишку! Пинали – наперегонки – растущие у обочины грибы-поганки. Самые нетерпеливые мальчишки поднимались по горячему гравию насыпи и высматривали поворот на лесное болото.

Отмахиваясь от болотной мошки, копали червей старой железной тарелкой, хранившейся под корягой. Земля у берега рыхлая, растревоженная. Из жирного комка грязи во все стороны торчали бордовые кольчатые червяки, извиваясь при растяжении красными пульсирующими шишечками. На ощупь червяки казались склизкие, мускулистые и даже щекотные.

В ржавой банке они вновь сцеплялись клубком. Мальчики покрошили им холодной земли и запечатали скрипучей крышкой.

Вот лес стал редеть, впуская глубже синеву.

Желтой полосою открылся песчаный обрыв реки, поросший бледной зеленью облепихи. С высоты берега виднелась вся излучина реки: янтарная прозрачность отмелей, темно-зеленые рыбные омуты, ребристые полосы из песка, меняющие рельеф от быстрого течения.

У кромки воды, на сыром песке, валялись ослепительно-белые коряги и сизые бревна топляка.

Пацаны сходили в кусты, нашли спрятанные удочки.

Размотали лески, нацепили червяков, обрывая и кровя ими пальцы. Тонкие удилища взметнулись над сонной гладью реки.

Со шлепком и наискось входило в прозрачную воду свинцовое грузило.

Примяв скрипучий хвощ, мы усаживались на горячую землю. Упорный хвощ разгибался под коленками, похо-

жий на зеленый бамбук, набранный из маленьких суставчиков, с желто-стеклянным наплывом по стыкам.

Ветки ивы полоскались у берега. Лениво вздрагивали поплавки из гусиного пера, карябала гладь воды тонкая леска, безвольно торчал на крючке побледневший червяк.

Но вот дернуло у кого-то!

Поплавок слабо утоп. Подсечка! Чуть вбок, несильно, чтобы рыбешка с размаху ни шваркнулась о берег. А будто бы ручная, подплыла к умелому пацану, вытягивая перед ним онемевшую губу!

Рыбак хватал пескаря – прохладного и верткого, – отцеплял крючок, раскроив губу, похожую на лягушачий ноготь. Зачем-то смотрел в трубный судорожный рот с бордовым глянцем. Затем бросал первый улов в ямку с теплой водой, заранее вырытую у берега.

Пескарь, как очумелый, буровил озерко по кругу, чуть клонясь на бок, соря серебристыми чешуйками и поднимая песчаную муть. А утомившись, безвольно скрывался в ее глубине.

Когда тень от сосен уползла в лес, будто выгорев на жесткой траве, клёв прекращался. А мы шли купаться.

Теплая вода подпускала нас с каким-то неудовольствием. Словно разбуженный со сна человек, который долго протирает глаза, зевает и потягивается.

А еще я заметил, когда прыжок в речку уже неминуем, хочется чуть-чуть оттянуть его момент. Я замешкался на берегу, с завистью глядя, как замерли на отмели смуглые тела, сносимые течением. Мальчишки скребли ладонями дно, чтоб заякориться…

Кто-то толкнул меня в спину – и я уже барахтался на мели, протирая мокрые глаза: это была она!

Спина дубела от горячих лучей! Детская стая ползла «на глыбину», где приходилось уже на одном боку вытягивать руку, чтобы нащупать прохладное дно. На затонувшие плечи давили тяжелые струи воды, другие – со дна – подпирали живот.

Пахло белым илом, рыбой и мореным деревом. Солнце жгло и карябало плечи, словно голый веник в бане.

Купались мы до вечера, пока не посинели губы и подбородки. Затем нанизывали пескарей – через жабры – на

тонкий ошкуренный прутик из ивы, и шли обратно в деревню.

В летней кухне бабушка жарила моих пескарей, посолив и обваляв в манной крупе. Рыбки превращались в золотистые трубочки. Я съедал их целиком, всасывая и вспоминая все запахи речного омута.

2

На следующий день мы опять ходили на реку, но вернулись к обеду с обожженными плечами, носами и верхней кромкой ушей.

Деревня дремала; ивы опустили узкие листочки.

Плашмя лежал пес в конуре. Даже ручей притих: струи растекалась по поверхности с каким-то сомлевшим звуком. Как на покосе, когда из ладоней умывают лицо, горящее от пота и травяной пыли.

В зарослях вишни было прохладнее. По крайней мере, мне казалось, что часть солнечного жара впитывают зеленые ягоды, начинающие белеть с разных боков.

Это было место из романса о забытом саде.

Высокие раскидистые вишни разрослись от черенка, посаженного когда-то моим отцом. Старые стволы с багряными чешуйками и янтарными наплывами застывшего сока окружала долговязая голенастая поросль. Тонкие лиловые ветки еще не гнулись от тяжести, хоть и были густо усыпаны ягодами – близняшками. Листья сомкнулись над головами мозаичным сводом: темные прожилки в разбег и золотой обвод по резным краям.

Помню, мы спрятались и хотели замереть... Гудели лобастые шмели, качаясь на поздних цветках вишни. Первое ощущение близости к девочке было чувством, останавливающим всякое движение. Я не знал что делать! Раньше со мной такого не было: потому что когда не знаешь сам – кому-то это все равно известно. С кем-то уже было, как в маминых романсах. А теперь даже голову повернуть не хотелось – солнце тут же ловило перегретый затылок. Черноволосая девочка пробиралась все глубже в заросли, осыпая бесплодные лепестки. За ней уходила глубже какая-то странная надобность: быть рядом с ней, нечаян-

но задевать ладонями ее спину и плечи, отчего девочка болезненно морщилась, но молчала... И еще я подозревал странную разницу: она хочет что-то прояснить для себя, найти что-то. А я – спрятать или потерять, и запомнить только место потери.

Выручил соседский щенок.

Он скулил и грыз веревку, карябал лапами штакетины и просовывал к нам мордочку. Мол, погладьте хоть нос или ухо! Остро запахло горячей шерстью, а он дрожал, словно от холода! Оттесняя друг друга, мы касались пушистого лба. Щенок радостно задирал голову, слюнявя языком наши ладони.

3

А вечером детвора нашей улицы сидела на бревнах у ручья.

Сосновые и березовые стволы лежали здесь с весны. Нагретые за день солнцем, они пахли смолой и засохшим пометом. До нас по ним ходили куры, выклевывая короедов.

От ребятишек пахло сметаной – бабушки намазали плечи. Спать никто не загонял, не кричал из окна, как в городе.

Из-за крыши нашего дома взошла луна. Осеребрились ивы, раскинув жидкую тень по берегу ручья.

И даже от лунного света чувствительно щипало сгоревшие спины!

Луна светила в глаза, а передо мной – темные лица в ряд: мы играем в «сыщики – воры». Протягивают сжатые ладони: должен отгадать, где спрятана золотая пуговица – в правой или левой руке!

Секрет в том, что ладони сжимают за спиной – не угадал, сам становишься «вором». Но еще большая хитрость – когда «вор на допросе» тайно передает пуговицу другому, а «сыщику» протянет два пустых кулака…

На берегу дремали утки, поднимая головы от наших криков и попутно прочесывая клювом блох под крылом.

Плечом к плечу сидели «воры» на бревне, нахально протягивая смуглые кулаки. Немного знобило, в глазах

пробегали красные искры. Я остановился против черноволосой девочки и внезапно обхватил ее, будто бы перехватывая ускользающую воровскую метку. Уткнулся носом в горячее плечо и почувствовал горьковатый запах – даже хотел сдуть! – будто пенка в кипяченом молоке, так не любимая мною. Метку мы выронили, и долго искали меж бревен, опять соприкасаясь ладонями!.. После того игра расстроилась, и вскоре дети пошли по домам.

Только ручей звучал громче, переливаясь через лунную дорожку, словно новый перекат.

4

В доме лампа под желтым абажуром. На кухонном столе зеленая бутылка. Дед скрипел тугой газетной пробкой. И у меня закружилась голова от запаха наливки. Будто раздавленная на солнце луговая клубника.

Хотелось спать. Но бабушка вдруг вспомнила сватовство моего отца:

– Пришел к нам домой…

– Еще в старый дом, – уточнил дед.

– В шляпе и в галстуке. Бутылку коньяка принес!.. Я-то выпила и не слушаю даже, что говорит-то. Сижу и считаю: сколько – чего на эти деньги можно было купить!

Старики на свой лад пытались упорядочить жизнь: связать прошлое с настоящим, поступок отца с привычками сына.

Отец работал в леспромхозе и купил материал на новый дом. А строили дед Егор с родней. Потом часть дома мама «отняла через суд!». С того началась вражда: «родная дочь гонит! В баню сгонит жить!..».

Бабушку я не боялся, но и не любил. Это было бы предательством мамы.

Темная листва облепила окно кухни, лунный свет пробивался сквозь нее так же настойчиво, как недавнее солнце в зарослях вишни. По дому и в ночном саду бродило ощущение потерянной любви. Это тоже чувство из романса: один под луной, но не одинок. С каждым днем, проведенным в отцовском доме, росла самодостаточность моей души.

Той ночью со мной произошла странная болезнь.

Уже в постели сильно разболелась голова. Я сполз на пол, ища прохлады, и уперся коленями в домотканый коврик. Из-под кровати несло запахом плесени, что усиливало тошноту. Становилось все хуже: ощущение, будто меня расплющило от какой-то бешеной скорости, когда не чувствуешь силы в мышцах, не можешь сопротивляться, а сердце готово лопнуть.

Будто кромешный метеорит столкнулся с детской душой!

Несколько минут мозг разрывало от страшной несоразмерности космической величины – с тем малым, что защищалось еще во мне.

Рассудок сползал куда-то в неизвестность… Я положил голову на край подушки и терпел. Не было сил кричать, звать на помощь.

Да и после, когда отлегло, и можно было испуганно заплакать, протянуть руки к кому-то, я не звал – не хотел тревожить старый дом.

Безумие улеглось также внезапно: я увидел себя на полу, ясно различая потолочные балки, черный переплет окон, лунную муть на столе. Только все это как бы отстранилось, и существовало само по себе, ничуть не нуждаясь во мне.

Тот случай стал для меня предупреждением: есть силы, которые могут вторгнуться в меня в любой момент! И что смысл ночного испытания в новом возвращении. Из души ушла беспечность, с какой я ждал возвращения отца. Я не то чтобы смирился с окончательной потерей, но понял другое – у отца есть и будет дальше жизнь без меня.

5

Утром разбудил стук в окно. Легкий и терпеливый.

Я вышел на веранду. Поток утреннего солнца внезапно истощился в маленьком квадрате окна, – с улицы к стеклу прильнула чья-то голова.

– Выходи! – послышался смутный голос.

– Меня заперли!

Человек по ту сторону смотрел на меня, а я не мог различить его лица.

– Я сейчас!

Этот кто-то ушел.

Затем вновь появился: моя вчерашняя черноволосая девочка! Она держала в руке стамеску деда.

В пыльных рамах веранды мы нашли самое хлипкое оконце, соединившись через стекло растопыренными ладонями.

– В нижнее пролезешь?..

Зачем спрашивать, я так давно мечтал о побеге!

Через плавающую от дыхания испарину, я вглядывался в лицо своей спасительницы. Девочка подцепила рыхлый штапик, разворошив пыльные схроны засохших букашек:

– Дави.

– Поймаешь?

– Тише, с верха начинай!

Ее голос звучал все отчетливее, по мере того, как наклонялось стекло. Со двора пахнуло влажной горчинкой от черемухи. Я высунул голову, протиснул руки и опустил их на плечи девочки. Затем уткнулся лицом в жесткие кудри.

– Ты меня задушишь!

Маленький коварный гвоздик карябал живот. А девочка по-прежнему пахла топленым молоком!

– Ну, все, на ногах?

– Да.

Она вывернулась из забывчивых рук:

– Я уезжаю.

– Когда?

– Зашла проститься…

Я очнулся на мосту, следуя за ней почти равнодушно. В глубине ручья покачивались желтые водоросли. Под ивами золотился туман от солнечного разлива.

Опоры моста проткнули отражение розовых облаков на воде, и ушли куда-то вбок: казалось, что у них подогнулись кленки...

ВСТРЕЧА

1

Мне уже двенадцать лет, мама получила отдельную квартиру от моторного завода.

Окраина города, панельный дом в белой шубке из мраморной крошки.

Переехали осенью; шли дожди, на дорогах рыжая топкая глина, засасывающая ботинки. А на старой квартире бросили сундук с игрушками…

Сквозняк окраины я почувствовал зимой.

За лесополосой из кленов и тополей начинались совхозные поля.

Порывы ветра по обледенелой дороге сносили мимо подъезда одиноких ребятишек, как воздушные шарики. Возвращаясь из школы, мы сцеплялись друг с дружкой, задыхаясь от пурги, и шли упрямой шеренгой на полусогнутых ногах к торцу дома, где ветер бросал нас и крутился белой юлой для собственной забавы.

В морозные дни, когда город погружался в сизый туман, и отменяли занятия в школе, мальчишки из нашего дома ходили в парк, ловить птиц на подсадную синицу.

Морозный скрип от валенок отражался эхом от панельных стен. По белым дорогам кутались в сизый дым редкие машины.

На лицах прохожих сводило губы от затаенного дыхания. Звенели трамваи промерзшим нутром; искрились дуги, сбрасывая снежные нити с проводов. На остановках танцевали студенты в скользких ботиночках.

В парке на деревьях густой иней.

У рыжего солнца белые реснички. На коренастых яблонях припудрена мелкая россыпь бордовых ранеток.

Мальчишки ставили клетку под кусты сирени. Синица испуганно билась крыльями, хваталась клювом за проволочные прутья, карябала фанерное дно и выбрасывала семечки на снег.

Спрятавшись под высокой елью, мы наблюдали за клеткой. Помню, мы быстро продрогли. От нечего делать вынули из карманов газетные свертки. В них сухари, лук

и чеснок. Так научил один мальчик, его отец работал художником на вокзале и был на «снегоборьбе»: вернулся пьяный, мол, замерзало все, кроме лука и чеснока!

Холодными пальцами я развернул тетрадный листок с солью, прижав варежку подбородком.

– Поджечь собрались?! – послышалось с дорожки.

За спиной возникла каракулевая шапка пирожком.

– Не… мы птичек ловим!

– Так я и поверил!

Мужик недоверчиво покачал головой и поплелся дальше. Его подошвы нещадно скрипели, за спиной вихляли ржавые санки, нагруженные пачками газет.

Мальчишки проводили пирожок с досадой:

– Спугнул, ведь, снегиря!..

В глубине парка виднелись пихты – в снежных рюшках – они влекли меня больше, чем замерзшая птица. Под густыми ветками притаился домик сторожа с треугольной крышей. В морозной тени рано засветилось окно.

Крошечный свет напоминал деревню, где каждый огонек на счету! И каждое окошко – словно золотая горошина, накрытая периной снега. А в городе, чем больше зажигают вечерних огней, тем неуютней становится на улице.

Но главное – из трубы домика шел дым – сладковатоелейный, как в церкви. Сторож носил и сжигал в печке новогодние елки, брошенные у подъездов…

Возвращались мы без добычи, очень замерзшие.

Мимо проехала ремонтная машина с синей будкой, из короткой трубы вился дымок, пахнувший шкварками. И нам тоже хотелось жареной картошки.

Со стороны заводов неслись трамваи: люди висели на площадках открытых дверей. От ледяного ветра трепыхались завязки ушанок. На остановках черная короста сомкнутых тел ломалась, выпуская из глубины трамвая тепленьких пассажиров. Кто-то шустрый протискивался на их место, короста опять смыкалась, люди прятали лица подмышки соседей.

Ранние фонари горели в морозной мгле пушистыми шарами, и от тусклого их света становилось все холоднее.

Красный шар солнца поспешно зарывался в грязно-розовый дым от заводских труб. Сонно зевали окна верхних этажей.

2

Получив новую квартиру, мама поставила цель – дотянуться до той жизни, какой жила в Германии. Мы должны были доказать всем, и особенно «тем, кто нас бросил…».

А в новом дворе жили новые люди.

Дети выносили мусорные ведра: попадались фантики дорогих конфет, косточки из абрикосового компота, сухие корки хлеба, захрясшая манная каша. Был отдельный бак объедков, говорили, что это для свинарников, и что началась какая-то «продовольственная программа».

Путь к нашему благосостоянию лежал через унижения.

Помню, мы ходили на мясокомбинат «отовариваться» по знакомству с какой-то тетей. Стаи ворон кружили над красными мрачными корпусами. В воздухе стоял кислый мясной дух. Даже облака в желтой сукровице. Мы зашли со двора в тесный закуток. Заняли очередь – все из «блатных», с сумками и мешками. На уровне моих глаз короткий приступок, обляпанный ворсинками мяса. Мама подала бумажку с фамилией, я подставил рюкзачок – из маленького окна выпали, с тупым шлепком, свиные ребра.

Обратно к остановке иди было тоже стыдно.

Тропинка узкая с кровяными пятнами – двум встречным не разминуться…

Трамвай резко звонил на кольце нерасторопным мешочникам, замедляя ход. Я поднял взгляд и увидел в окне женщину в черной шапке-таблетке. На лимонно-сером стекле отражались ветки, мутно-красная стена с заснеженными парапетами. Темные глаза смотрели отрешенно, и будто бы свысока! Она кого-то напоминала… В трамвае я занял место подальше от красивой женщины, но даже спина в синем пальто и воротнике из чернобурки выказывала свое презрительное удивление. Было стыдно за кислый запах из рюкзака.

Под ванной хранился маленький топорик с рассохшимся топорищем. Скользкие ребра я рубил на балконе,

и каждый стук, казалось, резонировал по всему двору; но выносить на улицу было тоже стыдно. Мясо «на всю зиму» хранилось в большом железном баке на балконе. В мою обязанность входило подсыпать свежего снега, чтобы оно «не заветрилось».

В это время я увлекся рисованием: копировал женские портреты карандашом. И начал с «Незнакомки» Крамского, вспоминая пассажирку трамвая, красную стену мясокомбината и черных ворон в небе. У обеих женщин было схожее равнодушие во взгляде, и та же брезгливость к окружающей жизни. Но главное – грация позы. В портрете много воздуха, музыки и весенних звуков! Эта первая рисованная женщина поразила своей ухоженностью, беспечностью, неприступностью и еще какой-то облюбованностью. А белое страусовое перо! Точно такое же носила мама в Германии. Теперь оно, сильно сплюснутое, хранилось среди писем и фотографий отца.

Листочки с рисунками я прятал в шкафу за книгами, и тайно дотрагивался до вакханок карандашом и пальцами в ретуши, с той же заботой и забытым стыдом, с каким открывал мясной бак.

Оказывается, странные встречи и непонятные жесты, в моей памяти продолжали жить, и даже развиваться в неожиданных направлениях.

3

Пацаны из нашего двора записались в спортивный клуб «Самбо». Однажды я пошел с ними.

Гулкий зал, бесконечные шлепки падающих тел на жесткие маты. Похожий звук издавали подушки и матрасы во дворе, когда выбивали пыль. Ощущение домашности было в белых куртках из плотной ткани, и в детской возне босоногих сгорбленных мальчишек.

У тренера короткая стрижка, волосатая шея; когда сгибал руку – поверх мышц выступали крупные жилы, словно подарочная коробка перевязана лентой. Новичков расставили в пары, тренер показывал прием борьбы в замедленном виде, затем повторил быстро:

– Поняли?

– Да!

Громко хлопнул в ладоши:

– Начали!

Все детство я мечтал иметь брата! Чтобы играть с ним. И теперь, стоя в паре, я не пугал напарника ложными обходами. Я намеренно долго заводил руку под прием. Мне нравился держаться на ногах до последней возможности и напрягать все силы только в решительный момент подсечки. Тренер смотрел на таких как я снисходительно. Добивались успехов пацаны, которые были сами за себя. А мне просто хотелось быть вместе с друзьями, чувствуя силу, а не опасность от нее!

После тренировки возвращались домой на трамвае.

У кассы разменивали деньги. Показываешь двадцатик и стоишь, принимая медяки у вошедших пассажиров, услужливо отрывая и передавая билеты. Когда горсть в ладони станет увесистой, незаметно сбрасываешь три копейки, натертые до блеска об валенок. А весь навар прячешь в карман. Стыдно было! Но вот что важно: этот стыд не за мамины унижения. Это собственный стыд, и на него уже найден отдельный прием, как в борьбе самбо.

На трамвайные деньги мы покупали шашлык. У толстого продавца в белых нарукавниках. От него всегда пахло дымом и жареным луком. Из-за пазухи торчала картонка, с цифрами в столбик – для раздувания огня. Шашлычник подавал нам шпажку, поливая мясо, вместо соуса, блеском золотого перстня. Сморщенные кусочки падали на дно желудка с тем же успехом, что и несброшенные монетки в трамвайную кассу.

4

Мальчишки нашего дома стали заводить аквариумных рыбок. Каркасы из уголка, клей для стекол – с завода; если подтекало – замазывали пластилином. Подводный мир завораживал меня: мягкое колыхание зеленых растений, желтый грунт, слоистые камни, серые коряги. Неоновая лампа – как вечное солнце.

Зимой мы ходили на озеро через снежные поля. Искали озерко по двум диким яблоням, всегда в инее, словно

две пушистые белые варежки. Запавшее меж ними солнце, казалось, шелушилось розовой рябью, а снег на поверхности озера был усеян расклеванными ранетками.

В старой проруби, обледеневшей по краям, пацаны ломали тонкую зеленоватую корку. В нос шибал запах болотного ила. Говорили, что это озеро целебное.

В мутной всколыхнувшейся жиже водили сачком из капрона, доставая рыжее кишащее месиво. Затем выливали его в бидончик с водой… В аквариуме дафнии прыгали как блохи. Вначале рыбки пугались, но потом врезались в них, жадно глотали и раздуваясь животами.

Летом во дворе играли в «третий лишний».

Мальчики и девочки вставали в большой круг, по двое: второй номер за спиной первого. Один игрок был всегда свободен – он бежал по внешнему кругу, и вставал впереди первого номера, как ему захочется. Но трех быть не должно! Бывший второй номер срывался с места и бежал, пока не находил себе нового пристанища.

За несколько вечеров в игре стали проявляться симпатии. Свободного игрока или гнали дальше, или заманивали, хватая за руки и обнимая за плечи.

Однажды солнечным осенним днем, я тоже бежал по кругу, слыша бурный шелест листвы под ногами. Кто-то оборачивался мне вслед, кричал и подзадоривал. Вот я увидел брешь – нырнул и попался в чьи-то руки! Я смеялся, отстраняясь, чтобы не свалить случайного избранника, еще не видя лица, но чувствуя – перехватило дыхание! – упругий живот и мягкие бедра. Мне показалось, что я проваливаюсь во что-то нежное, и совсем непонятное… В голове по-прежнему шумела листва, заглушая мое удивление. Но вскоре впереди меня встал какой-то толстяк, даже не запыхавшись. А спина ощутила холод и сиротство.

5

В одну из суббот, как обычно, я включил радио на кухне. И сел ждать. Хотя еще оставался почти час…

Из окна был виден наш двор.

В разрыве домов, за лесополосой, садилось мутно-оранжевое солнце. Низкие лучи слепили глаза подрост-

ков, стоящих в круге. Особенно хороши были девочки, прикладывающие ладонь козырьком к бровям! Третий лишний бежал за спинами, его отгоняли мальчишки, что висли на красивых девочках, обнимая их, будто затягивая ошейник. Одни девчонки пытались отстраняться, изгибаясь телом, откидывая плечи, и даже упираясь затылком в плечо нахала. Другие терпели, подсовывая свои ладони под грубое объятие, чтобы закрыть грудь.

Брякнул звонок в дверь.

Это пришли мамины подруги.

Одна разбитная, в брюках уселась на стул, и на пухлом животе вывернуло змейку. Рыжие волосы с влажными завитушками. Она работала где-то на рынке.

Пока мама готовила закуску, ей помогала вторая подруга – высокая светловолосая женщина. Рыжая лишь убирала под себя ноги, когда они проходили мимо нее и загибала пальцы.

Правым указательным пальцем, слегка дирижируя, ударила по мизинцу левой руки:

– А нам говорила что?..

Все трое смеялись, готовые перебивать друг дружку.

– В деревню едет!

– К тетке!

Второй палец гнулся с трудом, мешало широкое золотое кольцо:

– Ездит и ездит! Огород вспахала!

– Картошку посадила!

– Уже выкопала и съела!..

Когда она ударила по третьему пальцу, короткий мизинец слегка разогнулся:

– А потом выясняется, – рыжая даже понизила голос. – Что тетка – это мужик!

– Да мы росли вместе, – улыбалась высокая подруга. – А теперь он лесник!

У нее были гладкие и очень стянутые к затылку волосы, в широком проборе на темени видны золотистые веснушки. Тело дородное, молочные руки, на гибкой шее аккуратная голова.

Рыжая все пыталась загибать пальцы:

– Жена и сын у него в городе остались!

– Да…

– Невеста!

– Ты с ним в лес собралась? – мама поставила три рюмки.

Открыли бутылку с облепиховым вином.

– Подсолнухи мне подарил, молодые! Букетом!

– И то польза.

«Невеста» счастливо улыбалась, клоня набок светлую головку:

– Говорит, что тогда в школе, мол, ты зря меня не выбрала!

Вся она – широкие бедра, круглые колени, мягкие плечи и маленькая голова – была похожа на березовый ковшик, наполненный чем-то вкусным…

– А ты тогда на летчика смотрела!

– Так кабы знатьё…

– Что же нам, девушкам, и не ошибаться теперь?..

Рыжая подруга выпила залпом, испачкав хрусталь жирной красной помадой: «Калина красная, калина вызрела…».

Эта песня мне не нравилась. Слова ершистые, необкатанные, – душа рвется, подбирает на ходу слова, будто случайные. Выручала страдальческая мелодия. С деревенским упорством, оставаясь верной первопутку женской тоски: «я у залёточки – характер вызнала!».

В том возрасте я искал отцов среди знаменитых актеров. И однажды выбрал Василия Шукшина. За его роль вора. Потому что он был кругом виноват, особенно перед матерью. Наши горести были схожи тем, что их вовремя не уняли.

Подруга с рынка чихнула, сведя глаза к переносице. Засмеялась: «Это у меня не от простуды. А, как раз, наоборот, от другой напасти!..».

Она с трудом достала из кармана брюк помаду, похожую на охотничий патрон:

– На, дарю!

– Не надо…

– Бери! Семечек мне привезешь, приворотных!

«Невеста» запела: «Как взять себя в руки, скажите вы мне?». Нет, не для нее – ставить ловушки душе! Уж лучше

совершить «грех» в песне, чем в жизни. «Женат на подруге, а ходит ко мне…» – увязались подруги, не любя, не жалуясь, не страдая.

Рыжая сжала пухлый кулачок, налившийся кровью: «А мужиков только помани! Я вот только подвинусь на стуле, глядь – уж примостился кто-нибудь!»

– Сережка! – позвала она, – садись рядом!

От нее пахло горячим пластилином; женщина взяла меня под тяжелое крыло. Выпила, держа рюмку левой рукой, на верхней губе заросились темные усики. Полные бедра и другие места, которые я уже пробовал у вакханок с репродукций, оказались на самом деле жесткими. Особенно в сравнении с тем, что я испытал в игре «третий лишний».

Возникло странное ощущение: мама и ее подруги тоже играли. Они выбирали и становились за кого-то – в своем круге, именуемом взрослой жизнью.

– Ой, котенок! – всплеснула «невеста» руками.

– Где кошка? – всполошилась мама.

И уже крикнула:

– Сережа, ты опять принес?..

Конечно это не так, и кошка тут не причем. Просто мама хочет встряхнуться, быть в центре внимания. Как эта женщина с тихой улыбкой:

– Его в избе мыши заедают! Обещала вот, котенка привести…

Говорила она отрывисто, будто воздуха ей не хватало – вольного, любовного.

От ее счастливого голоса веяло горчинкой, и женщины как бы поперхнулись за столом: «Не берут старую кошку!».

– И ласциться будет, да привычки не изменит!

– Так что? Куда ж нам теперь?..

Они опять развеселились; я заметил, что взрослым доставляет удовольствие вторгаться в пограничное сознание ребенка. Гадать или обманываться тем, что мальчик еще не понимает. А может таким образом проверять свою искренность на детскую неискушенную душу.

Уловив мою скованность, мама сказала:

– Включи нам что-нибудь…

В книжном шкафу хранились старые пластинки, в бумажных конвертах с потрепанными углами. Торшер, на бронзовой ножке, уронил желтый круг на пластинку, отделив светлый полумесяц от черного диска. Звучали могучие аккорды вальса, заставляя меня стоять почти смирно.

«Повезло тебе, Варя!»

Мама смотрела на покосившийся торшер: «Не имел другого примера…»

И так хотелось быть кому-то преданным. Быть сыном полка русского вальса!

6

А на кухне уже звучали знакомые позывные. Я садился у окна, и слушал «Встречу с песней».

В эти минуты наш двор казался мне особенно уютным. Дети катались на велосипедах: рыжей белкой крутились на спицах последние лучи солнца. С остывающих крыш слетались голуби к мусорным бакам, широким взмахом крыльев помогая дворнику сметать мелкий сор.

За столиком, оббитым жестью, собрались мужики. Играли в домино. Иной раз лупили так, будто озвучивали перестрелку! Но чаще – как равномерный бой часов, отсчитывающий всему двору вечернее время. А уже в потемках – шум нового замеса – напоминал морской прибой по влажной гальке.

Передача по радио напоминала «стол находок». Только приносили и честно отдавали сюда потерянную любовь. Ведущий Виктор Татарский представлялся мне добрым старичком, что день ото дня разыскивает кому-то дорогие воспоминания. (Оказалось, что тогда он был молодым человеком!)

В письмах люди признавались, что помнят и ждут кого-то. Часто задаваясь вопросом: «Скажите, почему, нас с вами разлучили?..»

Многие песни я хорошо знал. И был счастлив, что накопил в душе уже свои воспоминания: «Ты у меня одна заветная…» – представлял старую яблоню у колодца, шершавый ствол. Когда обнимешь его в моро-

ный вечер и долго глядишь, как на промерзшем небе леденеют звезды.

«Ночью нас никто не встретит, – обещание цыганки, – мы простимся на мосту!» – мне виделся мостик перед знакомой калиткой, и отражение лица черноволосой девочки. Ее улыбку сносило течением, запутывая в прибрежной траве, но еще долго оставалось на воде светлое пятно, с какой-то милой утренней пропащенкой…

Слушая чужие признания, я не понимал: как можно отдать то, что было так дорого! А еще оставалась тайная надежда, что однажды прозвучит письмо отца, пусть без фамилии и без обратной связи. Пусть в безымянном месте, на мосту через неизвестный ручей он вспомнит, как подошел когда-то и произнес маме: «Я приехал ради вас». – «Догадываюсь». – «Буря прошла над моей жизнью. Сейчас у меня нет ничего, с вами я обрету дом и покой...».

Раньше упорство мамы было безбрежным и глубоким, теперь – обмелело, как озеро с лечебной грязью. Она редко садилась за пианино и давно не пела романса про осенний сад, в котором тайно встречалась с отцом.

Во дворе стемнело. Костяшки стучали осторожно. Мужики долго разглядывали белые точки на черном домино, и приставляли одну к другой – словно хотели повторить созвездие над нашими головами.

ТАМ ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ

1

Артистки в красных сарафанах вошли в комнату плоскостопной походкой, как у беременных. Полные женщины расправляли складки на бедрах, худые сжимали в ладонях сукно и ёрзали им по талии.

На подоконнике лежали связки подарочных книг для ветеранов. Солидная дама из профкома (я уже различал градацию партийных и прочих начальников) в бордовом платье – напоминала бесцеремонный театральный занавес.

Взглянула на книги:

– «Двенадцать стульев»?

– Да, восемь экземпляров, – ответила ей женщина с огромной прической на голове. – Один еще… слегка помятый!

– Помята чья-то там краса, – пропела бордовая дама. – Положите пока снизу.

Мама подвела меня к баянисту:

– Вот, мой сынок!

Баянист Яша барабанил пальцами по безголосым кнопкам. У него лицо фокусника: всякий лепет превратит в сознательное пение!

– Ты слова не забыл?

– Нет.

Мама сказала так, чтобы услышали все:

– Знает все военные песни! Никто не учил, сам запомнил!

Женщина из профкома кивнула небрежно: мол, надо же, хороший мальчик! – мельком глянула на меня, – не притворяется ли?

А женщина с высокой прической нахмурилась. Ей не понравился громкий голос мамы.

Забежал черноволосый парторг Ваня: проверить, все ли готово. Он щелкнул пальцами и нагнулся над стопкой книг, засветив на затылке лысину. На ней виднелись грязные разводы от краски, но никто не решался сказать об этом.

– В райкоме сегодня тоже чествуют, – обратился парторг к женщине с прической, будто башня. – Хотел с нужными мужиками поговорить, а меня сюда – нянчить!..

Когда парторг убежал, «башня» сказала «бордовой»:

– Наш кузнечик там первым отметился!

– Ну и как юбилярша?

– Да кто она такая? Зам-зав-пом, видишь ли…

– Ну, что так медленно они?.. – перебила ее дама в бордовом платье.

В большом зале был накрыт праздничный стол буквой «П».

Во главе президиум – лица с дарующими улыбками. По длинным концам суетливо рассаживались приглашенные старики. Они долго не могли угомониться: какие-то заранее измученные, похожие на темные головешки, от которых сейчас потребуют нового огня.

Это были ветераны революции и гражданской войны.

Мы с баянистом приткнулись на краю стола.

Сарафанную стаю, вообще, держали взаперти.

Парторг Ваня поднялся, расстегнув пиджак: «Вы сражались за светлое наше будущее! Не жалея сил, за рабоче-крестьянскую власть! Вам слава!»

Держался он бодрячком-своячком, много жестикулировал и оттирал рот салфеткой. Широкий синий галстук странно прилип к животу, не реагируя на его движения, словно перевернутый восклицательный знак.

Выпили за победу.

Ударили в штыковую – вилками по толщине колбасы в тарелках.

Следом за парторгом говорила женщина в бордовом платье: влажным добротным голосом. Она склонилась немного над столом, по-матерински всплескивая руками, и разгорячено шоркая ладонью об ладонь.

Затем ветераны снова пили водку под бодрые шутки Вани, жестом коробейника предлагавшего закуску на столах. Еще говорила женщина с огромной прической, с немного извиняющейся интонацией в голосе за то, что она «из другого поколения». Мама сидела с краю стола президиума и всякий раз поворачивала голову на нового оратора.

В начале концертной программы (после того, как утихомирили стариков) пел артист из филармонии: натужно выпевая народную песню широкой накрахмаленной грудью, будто стеклодув выдувал шар, на стенках которого тягуче отражалась русская тройка, а затем плыла, подбоченясь, ядреная дивчина с толстой косой на плече.

Сарафанный хор устраивал лабиринты песенного веселья, кружась и пружинясь от занавеса до столов, удивленно улыбаясь свекольными губами, дребезжа и повизгивая, поливая друг дружку частушками, как дети водой из ведер на Ивана Купалу. Хор состоял из работниц завода.

Мне вспомнился день, как мама водила меня на завод. И первое ощущение за проходной – мазутно-похотливое дыхание железного дракона. Дикая поросль кленов меж цехов прикрывала груды ржавого железа. Внутри дымных корпусов выныривали люди из мрачных нор: они поднимались куда-то по зачумленным железным лестницам, стуча тяжелыми ботинками, как инвалиды культею. Вокруг все грохотало и выворачивало душу. Особенно поразили женщины: в грубых спецовках, но некоторые – в шарфиках из шифона. В глазах какая-то донорская сдача человеческих чувств, будто это было единственное, что кормило железного дракона…

2

Вот настал мой черед.

Мама поднялась из-за стола и прошла, согнувшись, за спинами президиума, выражая на лице смысл «без сучка, без задоринки». Склонилась над плечом баяниста: «Готовы?» Яша кивнул всем туловищем, заслоняя налитую стопку. Сына она уже не спрашивала, даже не предполагая, что он может подвести.

Яша тяпнул перед выходом, всасывая слюну кривым ртом. «А че нам?» – подхватил он баян. Я направился следом, но по дороге потерял новую туфлю, вернулся опять, и от волнения уже не смог до конца утопить в нее ступню.

«Там вдали за рекой догорали огни, в небе ясном заря загоралась!» Голос мой порхал поверх застолья легко и бесцельно, а за ним, как сачок за бабочкой, гонялся шумно-свистящий баян.

«И боец молодой, вдруг поник головой – комсомольское сердце пробито!»

За столами немного притихли, мутными глазами смотрели на мальчика, увлекавшего их в давнюю атаку. Они будто вслушивались в ночную степь, в звуки шальных пуль, прикидывая на малого: «Сшибёт его жизнь, али нет?».

В мутной тишине открывалась предрассветная степь, огни за рекой, и вдруг – истерика вражеских барабанов и наступающие, с шахматной выправкой (как в фильме «Ча-

паев») ровные белогвардейские цепи… А им навстречу – из реки на берег – выезжали мальчики, купавшие красных коней! Они улыбались протяжно и счастливо, как во сне.

Поник боец – гибнет все: трава, рассвет, победа. «Он упал возле ног вороного коня, и закрыл свои карие очи!» Упал как зерно на голую землю.

Последние хлопки – я точно знал – были мамины.

3

Охмелевшие старики запели сами: оба рукава и разное. Будто соревновались: кто кого перепоет-перетянет, да и песни их были тяжелые и шершавые, как канаты.

Седой старик, с обветренным лицом и в мятом пиджачке, предложил Яше:

– Выпей для пущего голосу!

– И то верно, – согласился баянист.

– Хорошо у вас с пареньком вышло. Хоть сейчас по вагонам с шапкой!..

В потухшем взгляде мутно-серых глаз не было место заигрывания с жизнью.

К столу президиума подтянулись старики из бывших руководителей за оставшейся водкой и лаской. Они складывали замороженные старостью руки на белую скатерть, и Ваня, не меняя расслабленной позы, открыл приемный день для народа: «Ну, скажите – поучите нас, так сказать, вашему опыту. Сегодня ваш день!..»

– Правда? – уронил кто-то пустую стопку.

Было стыдно. За столом творилось что-то уродливое и печальное.

Парторг повел крепкими плечами, и кинул в народ: «Ну что, споем нашу-то?!». С разных мест заголосили женщины едким фальцетом.

Ваня пытался дирижировать стихийным пением.

Баянист старался объединить их, но чем больше пели за столом, тем меньше слушали друг друга. Это были бойцы пятой армии, разгромившей Колчака, а вместе с ним и дедушку Егора.

Яша испробовал разные военные песни, но ни одной не смог зажечь героев знаменитой армии Тухачевского. Пели они вразброд, группками или сами по себе.

Дряблые потухшие лица, я сравнивал их с дедом. На смятой скатерти лежали изработаные руки, подобно старым растрескавшимся корням, вышедшим на поверхность.

Некоторые старики еще храбрились, держась за пляшущую стопку: шутили над костылями, сжимая их грозно, словно кавалерийский карабин.

Одна старушка в заношенной кофте, с пуговицами от наволочек, вспоминала, что ее брат убежал к партизанам, а каратели поймали и повесили его.

Ваня встрепенулся: «Почему не поем?» – и повел не дожидаясь:

– По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. Чтобы с боем взять Приморье – белой армии оплот!

Но трудно было вновь, черед пятьдесят лет, одолевать даже песней великие просторы Сибири.

Яша опять навьючил баян; сестра партизана вцепилась в его рукав:

– Тусклой луной озарило, – запела она жалостливо, но отчетливо и даже красиво. – Тот старый кладбищенский двор!..

– А можно? – усомнился кто-то.

– Сегодня все можно, сказали же! – пробасил старик в тельняшке под железнодорожной курткой. – «А над сырою могилой рыдает молоденький вор!»

Блатную песню вели ладно, с ветхим надрывом, с согласной грустью, что силушка-то уходит незаметно, без былого напряжения двух войн, в которых и оказалась вся «недолга» их жизнь: «Ах, мама, ах, милая мама! Зачем ты так рано ушла? Ты в жизни увидела мало, отца – подлеца прокляла…».

Понемногу стол пустел; остатки великой армии, победившей белого адмирала, уходили тихо. Получив у дверей красную гвоздичку (мама старалась) и книгу о кубинском революционере, они таяли, как с косогора весенний снег.

Воспользовавшись затишьем, мама подвела меня к столу, где сидел крашеный Ваня: «Вот, сынок мой!» Парторг кивнул, вижу. «Воспитала одна! Хорошо учится, общественник!» – мол, для ваших же рядов готовлю верного бойца. Мне опять было стыдно: за маму, за грустное застолье. Стыдно за стариков, так радующихся крохам внимания. Стыдно за себя, потому что разделил их с дедом по разные стороны.

СТАРЫЙ ДЕРВИШ

1

Если случались перемены в жизни – мама обращалась к деду Власу, младшему брату бабушки Марии.

Он жил в старом районе Барнаула, тишину которого лишь отдаленно нарушали редкие звонки трамвая. Улочки песчаные, широкие и чистые даже весной. На перекрестках – чугунные колонки для воды, с изящным оттиском: «Завод… город Сталинск».

Насыпной дом, обшитый зеленой крашеной вагонкой. Мы стучали в окно, с голубыми ставнями и тяжелыми ржавыми шкворнями.

За забором раздавался бешеный лай собак!

Отодвигался тюль, выглядывало добродушное лицо бабы Тани; тут же скрывалось, но видно было, как над столом мелькают проворные руки – уже готовит угощение!

Перед калиткой стояли еще долго, пока дед запирал собак. В узком дворе чувствовался тяжелый запах псины, на снегу виднелись скользкие желтые пятна. Мы шли по дорожке, выложенной красным кирпичом и огороженной высокой сеткой. Даже над головой была сетка, чтобы не перепрыгнули бешеные овчарки.

А в доме пахло жирным борщом.

Топилась на кухне беленая печь. На стенах – связки головок чеснока, похожие на тюрбаны, из толстых косиц лука выстреливали зеленые побеги.

Дед Влас был желтолиц и очень худ, с впалыми висками и пышными седыми волосами над высоким лбом. Носил круглые очки в черной оправе. И курил папиросы через янтарно-черный наборный мундштук.

В его доме особый покой какой-то виноватой тишины. Словно ее заперли, уговорили быть послушной.

Хозяин не любил гостей. Он почти страдал, когда кто-то по незнанию прерывал потоки света в доме. И требовалось время, чтобы восстановить солнечные артерии из комнаты в комнату. Чтобы вновь озарились стекла книжного шкафа, а корешки книг выступили из потемок, будто сосны на опушке. Чтобы на кухню опять

просочился полуденный луч, преломленный через стеклянную дверь – расплываясь голубой медузой на известке печи.

В зале весели фотографии деда в военной форме лейтенанта-пограничника: те же волосы, только черные. Неистовым блеском в глазах он был похож на Павку Корчагина! В начале войны защищал Брестскую крепость, отступал и попал в плен. Выжил, потому что из лагеря его забрала немка-помещица. Служил конюхом. После победы – получил десять лет на севере.

С тех пор у него осталась лагерная привычка: покупал старые фетровые шляпы и шил из них необыкновенно легкие тапочки!

2

Пока баба Таня с мамой готовили стол, дед уводил меня в кабинет. Здесь было сумрачно и душно от табака. На столе лежали рукописи, старые желтые листки. Массивные счеты с желто-черными костяшками, черные нарукавники – дед работал до пенсии бухгалтером.

Каждый раз он вынимал из шкафа одну и ту же книгу:

– Только смотри, уголки не загибай!

На обложке – древний азиатский купол с голубой глазурью, побитой молью веков.

– Я скоро поеду в Самарканд! Хочешь со мной?

– Если мама отпустит…

– Договорюсь с ней!

И мы становились ровесниками. Чтобы однажды уехать в этот восточный город. Почему? Может, у деда ныли кости, промерзшие на севере. В доме пахло жареным мясом, а ему не хватало дорожных сухарей. Душа рвалась облачиться в халат вольного дервиша.

Нам представлялись раскаленные от жары кривые улочки Самарканда, и то, как мы будем питаться рисом с кукурузными лепешками. На базаре выбирать у колченого продавца душистые дыни с золотой младенческой кожицей. Из-за глиняных заборов будут свисать к нам зеленые чубчики винограда, приглашая странников зайти в чайхану.

– Если кончатся деньги, – заверял седой романтик, – я напишу статью и отдам в местную газету!

Этот волшебный способ был неотразим: дед отдаст счастливчику-редактору свою рукопись, словно дождь с севера на сухую южную землю.

Однажды мама сказала, что отец сбежал от нас именно в Самарканд. Призналась случайно, просто хотела осадить деда Власа, «чтобы не забивал мальчишке голову!» Такое странное совпадение! Но благодаря фантазии деда, мы могли бы встретиться – отец и сын, – два беглеца в чайхане, на темных пыльных коврах, где сидят белоголовые старики, и дымятся пиалы с зеленым чаем, словно чистые озерки у подножия снежных гор.

Голубые купола, голубые тени по утрам в узких расщелинах-улочках, прохлада метровых стен, и голубые горы вдали… Мама тоже была в этом таинственном городе: она не могла отпустить отца! Ее тревожные мысли, ее страдающая душа следовали за ним. А я был на ее руках. Может, потому казались мне такими знакомыми гигантские бутоны мавзолеев, словно нераскрывшиеся от жары цветы. Вечерние глиняные тени, похожие на засохшие лепешки, и крики чайханщиков – вслед молодой измученной женщины…

3

На столе появился винегрет из соленого арбуза, густой холодец с прозрачными хрящиками и чесночными кружками. Пахло пирожками и копченым салом.

Мы усаживались на большой диван из толстой черной кожи. На верхней полке стоял караван мраморных слоников, и я всегда боялся, что они когда-нибудь свалятся мне на голову.

Баба Таня жаловалась маме:

– Домашнего вина делаю всякого! А он, – робко покачала головой, – пойдет в магазин и купит себе дешевого портвейна! Скажи хоть ты ему, Варя!..

Бабушка была полной противоположностью деду: тихая, пугливая и заботливая. Курносое востроглазое лицо, розовый выпуклый лоб, прилизанные бровки и девичьи веснушки.

Она разливала по рюмкам домашнюю наливку с терпким запахом перезимовавших ранеток.

– А с недавних пор совсем сдурел – с ножом в магазин ходит! Возьмет вот такой, – показала маленькими ладонями размер огромного тесака, – в карман засунет, как бандит какой-то!..

С гримасой простуды блеснули железные зубы, дед прикусил пустой мундштук:

– Молодые, наглые сейчас стали! Все лезут без очереди! Я им сказал, если кто меня толкнет – завалю!..

Немного помолчали, переваривая страшные слова.

– Дядя Власка! – перевела разговор мама. – Мне в партию нужно вступать?

Дед поморщился. Как обычно: говорил он одно, а лицо выражало другое.

– Вступай. Перед тобой все двери откроются!

Мама объясняла, что «разнарядка» только на рабочие специальности. Поэтому ей придется идти в новый цех и числиться на другой должности!

– А ты и так ни черта не делаешь…

Дед пошел во двор: покурить. Надел черное пальто с поднятым воротником, а я подумал, что нож до сих пор лежит во внутреннем кармане. То ли скучно ему было за мирным столом, то ли неуютно без каких-то тревог.

4

Если в таленском доме время шло, за каждодневными заботами, быстро и незаметно, то у деда Власа – оно будто остановилось.

Помню, приехал к нему в гости сын Мирон – высокий холеный капитан. С красивой женой. За праздничным столом он сидел в белой рубахе с завернутыми рукавами, руки сильные, розовые запястья. После домашней наливки, дед помрачнел, как бывало, внезапно. Запустил ладонь в седые волосы:

– Дай спички!

Мирон спешно хлопал себя по карманам. Протянул отцу коробок.

Худые пальцы медленно вертели коробок, выбивая об стол какой-то ритм. В полной тишине: то боком, то плашмя, а то приоткрыв немного – тогда звук получался шершавым и тревожным. Вскоре в комнате запахло серой.

Дед нюхал ее, заглядывая в щель коробка:

– Если из двух втиснуть в один – так и нас было в трюме…

– Ну, были и были, сейчас-то поживи спокойно!

– Заслужил ведь, дядя Власка!

Мирон смотрел на отца с детским страхом:

– Папа прошел и Крым и Рым!

Дед поморщился, не глядя ни на кого:

– Не стучи!..

Я вздрогнул, и принял – как свою вину – звук от туфель дедовой невестки.

– Ну, что ты людям тоску нагоняешь! – осмелилась перечить бабушка Таня.

– Я в своем доме!

Дед продолжал стучать, держа коробок фартовым жестом. Мама первой догадалась, подперла рукой склоненную голову и запела тихо: «Я помню тот Ванинский порт… и рев парохода угрюмый!».

Маленький домик превратился в тонкий коробок, а все гости – в спички – кто стоя, кто лежа, а кто на голове: «как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы». Видимо, ему представлялась толкотня на пирсе, лай овчарок у трапа. В каждом слове свой нажим, своя краска – одна из двух: черная и серая. Море в тумане, гулкий пароход. И только песня – идущая из трюмов, выводила его на светлый берег.

После «гудка парохода» строчки расходились, как судьбы разных людей: дед Влас вспоминал «жалобный стон», что у зеков из груди «вырывался», а мама перебивала его эмигрантской тоской – «прощальный России поклон!»

Дед сердился, но мама не уступала. И повторяла строчку вновь. Они были похожи своей дотошностью. И знали что-то такое, чего нельзя было знать другим. Не военная тайна, конечно, но жизненный опыт, который вынесли из своей молодости, прошедшей в Германии.

Мирон шепнул жене, что бы сняла туфли и надела фетровые тапки, как у всех:

– В голове стучат уже твои набойки!

Тревожно зазвенели мраморные слоники на спинке дивана. Молодая женщина удивленно и немного капризно постукивала под столом лакированными носками туфель.

Я вышел во двор.

Собак заперли в сарае. Слышно было, как они скулят и грызут деревянную дверь.

Во влажном весеннем воздухе раздавался легкий звук колокола, словно бой в рынду далеко в море. В этом районе была единственная в городе церковь. Медный звон, резко умолкнув, проложил дорогу городскому шуму – однообразному и всепоглощающему. Но вот опять ударил колокол мерно и тоскливо – возвращая меня к невидимому в тумане кораблю, на котором везли в Магадан бывшего военнопленного.

Возле бани я увидел дядю Мирона и его жену. Капитан держал ковшик и торопливо лил воду в женские ладони.

Жена всхлипывала.

– Молчи, еще врежу!

По бледному лицу жены стекали розовые струйки. Вода капала на ледяную дорожку, оставляя язвочки-проталины с набухшей желтоватой пеной. Женщина переставляла озябшие ноги, чтобы брызги не попадали на белые туфли. Оказывается, могут в сыне проступить черты характера, которые скрывал отец. Передо мной встал вопрос: что во мне заложено тайного от отца?

С того дня я боялся деда, его узкого лагерного двора, колючей проволоки и сетки, что прогибалась от ударов собачьих лап с черными когтями и кирзовыми стертыми подушечками.

5

Душа у деда Власа представлялась мне египетской мумией: желтые бинты на старых ранах приросли прямо к коже. И я удивлялся, когда узнавал, что дед просто слег от простуды.

А болеть он умел артистично!

Лежал в кабинете на диванчике и отступал, сдавая области мутнеющего сознания. Из последних сил выравнивая фронт: то приказывал спрятать рукописи «пока внук не вырастит, чтобы понять»; то прислушивался к весенней капели, потирая виски худыми пальцами; то рвался к собакам в клетку, потому что они грызли метлу в руках у бабушки. Иногда он вскрикивал, что дымит печка и ему душно! Или хотел вылить на себя холодной воды, чтобы «уж доканать враз!» А то просил обуть его в войлочные сапожки – «тогда легкость придет!» Или жаловался, что мутно в глазах, и вспоминал священника из лагеря, который вылечил его глаза медовым раствором.

Голосом, полным трагизма, шептал пропорции воды к меду, но вдруг поднимал голову, и говорил, с тревогой, что «колокол слышно, пора поить коней…»

После болезни дед становился мягче и заботливее. В его шифоньере висели костюмы, модные лет тридцать назад, нещадно пахнувшие нафталином. Дед отдавал мне рубашки с запонками в двойных манжетах и галстуки в косую линию.

– А ну-ка, примерь эту!

Я надевал бежевую рубашку, махая длинными рукавами, как грустный Пьеро.

Мы опять листали заветную книгу, покоряя пески Азии, и терялись в полях, заросших низкими мелкими розами.

Для меня так и осталось загадкой его желание сбежать, уйти и забыть прошлую жизнь. Всю, кроме того первого дня освобождения в Магадане.

Сколько раз вспоминал он и даже показывал, как примерял в магазине самый дорогой костюм и самую шикарную шляпу!

А потом отправился в ресторан.

Заказал салат из свежих овощей. «Такого нет!» – официант откланялся за графинчиком водки. На окне цвела герань «бледной зарею Севера!». Ножик всегда в кармане. Бывший зек срезал несчастное растение и покрошил в тарелку.

– Что такое? Платите штраф!

– Сколько?

– Штраф 500 рублей! – официант указал на жирный текст у входа.

– Пожалуйста! – достал бумажник красивым жестом. – И попрошу пока! (сверкнула железная улыбка) не портить мне праздника...

По прошествии многих лет, могу сказать: что самые нелепые и, может быть, самые лучшие свои поступки я совершал с тем же фартовым жестом моего деда.

И еще одну черту я перенял от него: после взлета души – нельзя допускать ее жесткой посадки! Лучше в дорогу, на вокзал, в степь или горы, или в далекий Самарканд.

А мы с мамой после ходили в церковь, что снять с души тоску мятежного деда.

ПАСХА

Ветер тихо сипел в вершинах тополей. Падали мелкие веточки с желтыми смолистыми почками, смущая птиц.

С песчаного взгорка виднелся голубой купол Покровского собора.

Его золотой крест был таким витиеватым и полупрозрачным, что казался частью облаков или золотистых сумерек. Он почти сливался с вечерней зарею, будто существовал полулегально.

Дорога вела под уклон.

На обочине скребся ручеек, пробивший русло в грязном льду. На ребристом дне мутно шевелились ноздрястые комочки шлака.

Краснокирпичные стены церкви возникли как всегда неожиданно, за крайним домом переулка.

За ним открылась широкая площадь.

В темнеющем небе летали голуби: они резко спускались к земле, вспыхивая крыльями в свете церковных фонарей.

Между маленьких синих главок храма затесалась грязная труба – из нее шел серый дым, пахнувший березовыми дровами.

Арочными ворота, похожие на красные ладони, сомкнутые на кончиках пальцев.

Входящие люди жались друг к дружке, словно испытывали какую-то странную тесноту.

Был праздник Пасхи.

Оказывается, он бывал каждый год испокон веков – по закону небесных планет, что в определенное время заходят в свои звездные гавани.

На снегу перед каменными ступенями сидели и стояли нищие, крестясь, кланяясь и протягивая ладони. В глазах – мутные всполохи, как серо-коричневый шлак в ручейке.

На стенах церкви, словно в одной очереди с нищими, стояли нарисованные фигуры седобородых святых, одетых в легкие одежды, а руки и вовсе – без варежек.

Внутри церкви было душно, полыхали свечи огненным блюдом. Мама купила две свечи. Протянула: «Твоя будет». Продвинулись мы недалеко, остановились у иконы Богородицы – заступницы женского счастья. У Девы Марии красивые восточные глаза. Маленький Иисус восседал на руках, как барчук! – умненький, старательный взгляд, – сразу видно, что отцовский мальчик.

Дети остро чувствуют разницу меж собой.

Отовсюду слышался тихий нескончаемый шепот.

«Служба еще не началась», – обмолвилась с кем-то мама. Старушки в черных платках сидели на лавках вдоль стен или прямо на полу, словно на привале.

Под куполом летали воробьи короткими стежками, быстро садясь на приступок у верха колонн, словно тоже ожидая чего-то.

Посредине церкви стол, накрытый белой скатертью. На нем чашки с крашеными яйцами, горящие красным светом, будто их снесла сама Жар-птица. Тут же грибницы разных куличей, запахом напоминающие мое любимое лакомство – «ромовую бабу»!

Но вот возникло новое движение.

Люди вставали, смыкались и замирали, улавливая с какой-то наивной благостью начало зарождающего действа. Запели тонкие женские голоса. Словно бы раздвинули пространство храма. Стало свежо и вольготно, как будто

открылись окна под куполом. Я оглядывал людей рядом, не в силах повторить движения их рук.

Голоса хора, казалось, еще не устремлялись, как положено им вверх, к куполу, но кружились низко над головами молящихся, собирая каждый отклик из души, словно птицы соломинки для гнезда. Женские голоса становились все тревожнее, слышалось в них какое-то робкое угасание. И вот они сметены порывом тугого баса. Но и он был вскоре удален раскатистым песнопением священника в золотом облачении.

Люди крестились, уже как бы в защиту от чрезмерного напряжения. Многие опустились на колени, обнажив нас с мамой.

Голубые окна под куполом слились в круглый горизонт, от которого кружилась голова. Выше окон смотрело на нас огромное Изображение, уже не поддаваясь охвату детского зрения. И не столько из-за своих размеров, сколько от чувства моей внутренней хрупкости, которую Изображение это могло бы раздавить, попытайся я его понять.

Из женского хора, – возродившегося после смятения нежными отголосками к молитве священника, – выделился особо звонкий и чистый. Серебряный!

Медный бас гудел и ширился, ему смиренно вторил серебряный. Их трудно было назвать: мужской и женский. Скорее, две стихии: земля и небо. Бас ударял в небесный набат, верный своей толстостенной упругости. Серебряный обволакивал нежностью старославянскую скрытность, и смягчал сокрушительность горних слов. Иногда серебряный голос отставал, словно теряя нить и внося смятение, но вдруг успевал убежать вперед, и вывести на долгую ноту вступление хора…

Потемнели огни свечей, золото окладов икон, парча священников – все слилось в какой-то смутный фон, на котором песнопение лишь сияло ясным, наивысшим светом. Я вновь поднял голову, пытаясь собрать из облачно-воинственных кусков росписи свой зрительный образ Бога. Но опять ничего не вышло. И я подумал, что Бог – это такое клейкое вещество, которым все в мире соединено! Страх и облегчение я испытывал одновременно…

На улице уже стемнело. Люди выходили, щурясь на первые звезды.

Нищие на паперти казались более усталыми и сникшими.

По церковному двору неторопливо шел батюшка, в полушубке поверх черной рясы. Юный семинарист с рыженькой жидкой бородкой нес воду в ведре с обледеневшим дном. На снегу въелись следы полозьев от детских санок, обрывки бумажных цветов. Мне нравилась эта забытая жизнь в церковном переулке. И еще важное чувство: здесь не было стыдно ни за нищих, ни за себя.

КРЫМ И РЫМ

1

Пионерский лагерь был похож на первое поселение Рима – убежище беглецов и разбойников. Кого-то родители «сбагрили», чтобы самим отдохнуть, а кто и сам был рад смотаться от чрезмерной опеки.

Лагерь – как и древнее поселение на Тибре – был разделен на отряды с дисциплиной военного образца. Среди пацанов ценились сила и умение драться. У первых жителей Рима, согласно легенде, не было жен или возлюбленных. Девочки в лагере жили отдельно, как бы в «других племенах».

В центре лагеря стоял клуб с деревянными колоннами, напротив – высокая мачта с красным флагом. Асфальтовая площадка, где проходили линейки. Футбольное поле со скамеечками по краям и спальные корпуса в два ряда.

Деревянный корпус остеклен во всю стену: днем в нем было жарко, ночью луна заходила, как к себе домой.

На террасе ряды обуви: черные и синие вьетнамские кеды или цветные сандалии. Меж корпусов рукомойник – железная такса – из крашеной трубы торчали соски, над ней деревянные полочки для мыла и щеток. Трава под раковинами припудрена зубным порошком.

По утрам в воздухе пахло улитками. Детей выводили на зарядку под песню Высоцкого: «если вы в своей квартире, лягте на пол, три-четыре!..»

Низко летали воробьи, чирикая на тех, кто сачковал.

Еще до завтрака детей собирали на «линейку» – пионерское каре – красные флаги, дробь барабанов, сдача рапортов… Затем строем шли в столовую, когда уже слегка подташнивало, и не хотелось есть загустевшую кашу, а кубик желтого масла терял форму на куске хлеба.

Оставшийся хлеб со сливочными пятнами сушился возле домика сторожа на дощатом столе. Эти сухарики были удивительно вкусными: пахли хвоей и солнцем!

В лагере был негласный принцип: от каждого по способностям, каждому по потребностям. У кого выявили способность к пению – тянули в хор, расставляя по росту, и строго следили за теми, кто «впустую» открывал рот. Если умел рисовать – поручали стенгазеты. Кто-то участвовал в играх и в спортивных соревнованиях. Если ничего не мог – больше купался, загорал или сидел под грибком дежурного у ворот.

2

Фамилия долгое время жила от меня отдельно: звучная и пугающая! Я слышал ее, как бы со стороны, вместе с чьим-то шутливым удивлением. Такую фамилию нужно заслужить, и, конечно же, нельзя опозорить!

Впервые я произнес ее на пионерской «линейке».

Помню, был торжественный день.

Тысяча красногалстучных огней на белых плечах, словно в партизанском лесу – сигнальные огни для самолета, который скинет с неба «светлое будущее».

Свежеокрашенные стены спальных корпусов источали дух горячей краски, предвещая знойный день. В голове пионеров мысли о ласковой речке, что блестела желтыми искрами за молодым сосняком.

Старшая пионервожатая командовала:

– Дивизия, равняйсь, смирно!

В центре «линейки» соорудили бетонный куб с отверстием. В него должны сегодня опустить и замуровать кап-

сулу с письмом для будущих поколений лагеря. А вскрыть только через двадцать лет!

Старшая вожатая – красные змейки из-под воротника, – читала детям приговор времени. Ее взволнованный голос резонировал от безучастных сосен.

Неподвижные – под ярким солнцем – дети, заложники чьих-то надежд, слушали хмуро. Легкий ветерок рывками поднимал красное знамя на металлической мачте. Гудел трос, как толстая струна.

Я стоял на шаг впереди отряда, и пытался запомнить текст письма. Но мешала мысль: куда же уйдет такая уйма времени. И разве может стать другой жизнь? Такие же пионеры придут, тоже самое прочитают…

Издали донеслось, сливаясь с шумом изнывающих детей:

– Командирам отрядов сдать рапорта!

Шеренги пионеров уже расхлябались, красные пилотки клевали всяк на свою сторону.

– Отряд, равняйсь, смирно!

Торопливо бежал по асфальту, перепрыгивая через подставленные «ножки» пацанов из старших отрядов. Остановившись напротив вожатой, я прятал глаза под косой тенью от поднятой руки:

– Товарищ старшая пионервожатая!

Задирал лицо на высокую девушку, широколицую с задорными ямочками на щеках:

– Отряд «Отважный» на торжественную линейку, посвященную закладке письма будущим поколениям, построен!

Вожатая незаметно кивнула, терпеливо держа руку с изящно изогнутой ладонью. В синих глазах опасение, чтоб мальчик не сбился.

– Отряд! – взвился мой голос. – Наш девиз!..

Издали, не сразу, но гулким нестройным и догоняющим шквалом донеслось: «Нам никогда не будет шестьдесят, но лишь четыре раза по пятнадцать!»

Пока отряд выкрикивал в два приема свое детское бахвальство, я уже по-свойски переглядывался с вожатой, улавливая вместе с ней отдельных «петушков».

– Рапорт сдал! Командир отряда Сергей Пушкин!

Вожатая отвечала твердым голосом:

– Рапорт принял!

Обратно путь был также через «ножки». Вдогонку неслось приглушенное: Сергей-воробей!

Играл марш «Прощание славянки».

Нежная сила отрывала ноги от земли, и отряды – с командирами впереди! – медленно приближались к серому кубу. Миновав мачту с флагом, кто-то спешно развязывал галстук и расстегивал верхнюю пуговицу потной рубашки.

3

Сойдя с торжественного асфальта, отряд остановился в четком порядке возле наших корпусов. Вожатая ушла куда-то, оставив пионерский строй на меня:

– Ждите меня.

– Долго?

– Пока не переодевайтесь!..

Опять на жаре! Всем хотелось на речку. Или хотя бы на лавочки в тень. Особенно разъедал порядок Васька Пантелеев по кличке Понт. Он вообще не умел стоять на месте.

Вася был из безотцовских. Я понял это, когда приезжала его мать: по тому жесту, как взял из рук авоську, привычно размахивая и не любопытствуя, как пошел впереди, вразвалочку, а мать следом за ним. Взгляд исподлобья – сам себе и сын, и отец, и добытчик, и защитник. Даже галстук у него с отгрызенными концами – не из шелка, а из бордового сатина.

– Ну, долго еще стоять-то будем?..

Понт задирал мальчишек, ожидая вызова, чтобы подраться, или явной трусости, чтобы обсмеять.

Пацаны помельче избегали столкновений, делая вид, что не замечают его. Покрупнее просто уворачивались от цепких рук. Девочки брезгливо сторонились.

– Командир, слышишь?

Я дал себе слово, что не сдвинусь с места, не стану и заискивающе улыбаться:

– Слышу.

– Долго еще?..

– Стой.

Отряд расступился, сделав молчаливый коридор, в котором остались только мы с Понтом.

Даже отвернувшись, я чувствовал удушливо-нудный взгляд.

В прошлый «родительский день» один мальчик пожаловался на Ваську своему отцу. При всем отряде! Папаша подошел к хулигану, сделавшему безразличное лицо (ему, не знавшему мужской управы, это легко). «Ты откуда такой (с нажимом) взялся?» Васька не обязан был отвечать, но, еще не зная, чем дело кончится, сцедил сквозь зубы: «С Булыгина!» – «А-а, – что-то свое скумекал заступник-отец, – тогда понятно!» Увидев вожатую, сказал строже: «Понимаю, что здесь не Артек…» – «Да у нас лучше, чем в Крыму!» И кончили миром: с одной стороны против всего хулиганского района не попрешь, а с другой – Ваську выселили в какой-то особый Булыгинский лес, признав его смелость.

Понт стоял против меня, удивленный полуобморочным безразличием.

Отряд ждал драки.

– Идем, покажу что-то!

Подставив спину горячему и тяжелому, как утюг, взгляду Васьки, я пошел к забору. Понт подался следом: остаться – быть дураком, напасть со спины – выглядеть трусом.

Он шел не торопясь, насвистывая сквозь зубы.

В столбике забора торчал обломок черной пилочки, похожий на ножик. Жестом подарка я протянул обломок Ваське. Тот спрятал его в карман, подчиняясь кодексу блатного братства.

Вернулись мы к отряду вместе, и это вызвало у мальчишек уважение: разобрались пацаны!

Теперь в движениях Васьки появилась осмысленность: он стал гангстером! Пряча «ножик» за спину, подкрадывался к выбранной жертве и приставлял его к горлу.

А потом мы оба столкнулись взглядами на смуглой девочке с желтыми волосами и с нежно-белыми, укрытыми от загара, обводами у висков. Увидели, словно впервые: «А в сторонке стояла она, белокурой играя косой…»

Оборви строчку – кровить будет!

Понт добрался до нее первым, кривляясь «импортным» бандитом: «Из-за пары распущенных кос, что пленили своей красотой, с оборванцем подрался матрос, подстрекаемый шумной толпой!» – Мы вцепились друг в друга, катаясь по траве и нещадно зеленя пионерские рубашки: «Оборванец был молод, силен, в нем играла-кипела любовь, а матрос был болезнью сражен – в горло хлынула алая кровь!..»

4

После отбоя не легли в кровати двое: стояли по разным углам спального корпуса.

Спать совсем не хотелось. Душа оставалась еще во власти «ножевой схватки». Мы оба угрюмо сопели, чувствуя под ребрами запал борьбы.

Голубой свет луны опушил веревку, на которой висела простынь, отгораживающая кровать студентки-практикантки от ее мальчишек.

– Ну что, так и будем играть в молчанку? – Спросила Вера Николаевна шепотом, будто бы на кроватях все спали.

«Оборванец над трупом присел, чтобы лучше врага разглядеть…» – я старался подавить в себе послушного мальчика.

Коварные полосы дотянулись до противоположного угла, выхватив голые ноги Понта: так кошка шарит лапой в мышиной норе.

– Значит, будем упрямиться!

Вожатая гладила платье при свете луны, подложив под одеяло доску и упираясь коленями в кровать. При наклонах у нее резко округлялись бедра и голые икры ног.

– Кто скажет: откуда взялся ножик?

Понт переминался с ноги на ногу. Но не выдал.

Вера Николаевна ушла за простыню и стала переодеваться.

Таинственным образом появлялась на веревке дневная одежда. Я чувствовал запах духов и пота, слышал мягкий шелест снимаемой блузки на вытянутых руках, электрический щелчок и гирлянду скученных искр в глубине ткани.

В окне уж не в первый раз маячил радист Гена. (После отбоя персонал лагеря собирался в столовой на тихие танцы.)

– Ну что, будем просить прощения? – оправа очков бросала закругленные тени на бледные щеки студентки.

Вася пробубнил заученное «прощение» и пошлепал к своей кровати вразвалочку, только что не насвистывая.

– А ты, Пушкин?..

Когда называли эту фамилию, я чувствовал, что взывали не просто к совести, но еще к ответственности за непоправимый шаг. Поэтому я не признавал вины, если видел легкое прощение.

– От тебя я меньше всего ожидала!

Лунный свет накинул – от плеча к бедру – белую тогу римлянина. Чувство вины мне представлялось в виде древних развалин: очаровательно-мрачных, шатких, и заросших плющом, как брошенный сад.

В окне маячил темный контур радиста, он смешно разворачивался на каблуках.

– Ты же командир… (она искала взрослое слово) мой помощник! Моя опора…

Стыдно за человека, пытающегося хитрить: какой я командир? Назначили, потому что никто другой не хотел, а я – покладистый, каждое лето в лагере, знаю все порядки, и меня знают все.

Вожатая все же нравилась мне: хоть и смотрела на своих пацанов, как на кактусы. У нее было характерное движение рук – чуть опасливое, повторяющее воздушный контур мальчишеских голов. В воскресенье Вера Николаевна уходила в лес одна, чтобы «восполниться», оставив не забранных детей напарнице. Однажды я подглядел на поляне: она бродила босиком по хвое, чуть морщась и постанывая, пританцовывая на шишках; принимая молочный душ косых лучей, она напевала «о влюбленных наяву».

Вера Николаевна присела на кровать, почти совместив голубой отсвет стекол с темной оправой. Поманила пальцем, окончив свой жест игривым мизинцем у рта:

– Тяжело мне с вами!.. Двадцать человек, двадцать характеров. К каждому нужен свой подход.

Я стоял совсем близко, вдыхая ее безмятежность, внутренний уют и какую-то неряшливость в жестах и позах, свойственную невинным людям. Упрямый мальчик, – мелькнуло в ее темных глазах.

5

Вера Николаевна наконец-то ушла, и мальчишки всласть размяли занемевшие души.

Из поколения в поколение передавались в лагере страшилки: зловеще-прекрасные легенды о мертвецах и разбойниках!

А рыхлый лик луны, – как прозрачный череп, – заглядывал в душное нутро корпуса, освещая спинки кроватей и смятые простыни. Лунный парафин отливал свой обморочный мир, обжигая мальчишеские души, и застывая в памяти слепком особого лагерного страха.

Все мы, даже самые отчаянные, скучали по дому. И та внезапность, с какой изменилась наша жизнь, сравнима была с историями о безродных бродягах и скитальцах. Двадцать белых холмиков в два ряда, разом взбрыкивали, открывались могилы тишины, – вставали обитатели подземного царства: не величие смерти или тайна ее земных ритуалов, но лунное затмение разума!

Обычно начинали с рассказов о закопанных кладах – на глубину ста голов!

«А вот еще было…» – продолжал кто-то скрипучим голосом. «Один парень попал в городскую тюрьму. Его барин туда посадил, чтобы невесту взять к себе! А там, в каталажке, умирал как раз старый разбойник. Парень понравился ему, и старик рассказал, что спрятал все свои сокровища в пещере! Возле деревни. А подручных всех убил!..»

Лунный мандраж трепетал на окнах.

– Пацаны, гляньте, никто не идет.

– Никто! Давай – дальше!

«Ну, парень тот вернулся домой. Прикинул: одному идти – не донесешь сокровища!»

– Сдрейфил!

Мальчишка капризничал:

– Ну, рассказывай сам, если все знаешь!

– Ладно. Что потом?

«Подговорил своих братьев – семь человек. Пошли они в пещеру!.. Добрались до места. А там скелеты лежали, и на цепях сундук висел!.. Только факела у них быстро прогорели, пришлось им вернуться».

– А на утро вся деревня пошла!

Пацаны засмеялись, хотя в мыслях каждый пристроился к толпе кладоискателей.

Но стихли быстро, услышав спокойный, до дрожи, голос:

«Зашли все в пещеру. Сундук открыли, а в нем пусто!»

– И что?

«Только парень тот промолчал, что заметил на цепи клеймо местного кузнеца…»

Хлопнула дверь.

Вернулась с танцев вожатая. Она быстро скрылась за простыней, будто ничего не слышала.

6

Однажды, подобно римскому царю, коротышка-физрук объявил в лагере войну – «Зарницу»!

Отряды поделили на красных и синих, раздали погоны. При молчаливом одобрении пацанов на синем погоне нарисовал я желтой гуашью трех орлов. Получились лохматые звезды.

У Веры Николаевны не было времени разглядывать, да и вряд ли она решилась бы провести такие «дикие» параллели.

Нас вывели в лес.

Два войска по исходным позициям на соседних полянах. Физрук, – с толстыми волосатыми руками, которые даже на «линейке» во время исполнения гимна не прилегали плотно к туловищу, – кричал в сердитый мегафон, похожий на огромное и глухое ухо:

– Чья сторона больше погон сорвет – та и победит!

Рядом с ним стояла директор лагеря, смуглая кожа на морщинистом лице – похожа на сухофрукт.

Вожатые всех отрядов стояли в ожидании, словно на арене Римского цирка.

– Внимание! Начало игры – красная ракета.

Мальчишки задрали головы, выглядывая меж верхушек сосен куски чистого голубого неба, предвещавшего хороший купальный денек.

Взметнулся хлипкий огонек – искрящаяся оранжевая колючка с подгоревшим дымным концом.

Лес взорвался сотней криков.

Одной рукой прижимая погон на своем плече и вытянув другую, как ошалевшие, кинулись мальчишки врассыпную. Спотыкались на кочках и падали, взрыхляя коленками зеленые влажные мхи. Я рванул вглубь леса, думая только о сохранении своих орлов.

«Серёга! – крикнули в спину, – куда ты?»

За мной бежало с десяток «синих».

Присели в кустах, махая своим руками: мол, затаись! Вездесущий механический голос стряхивал желтую хвою с голов, и окружал со всех сторон.

– Убитые отходят в сторону! – орал физрук в «матюгальник».

Сражение сместилось к реке. Крики пацанов глушил плеск воды.

Мальчишки носились друг за другом по берегу и отмелям, поднимая высокие брызги так, что издали они казались всадниками на сказочных полупрозрачных конях. Из той же плоти, что и крылья врубелевской Царевны-Лебеди.

Наша кучка «окруженцев» сидела на корточках. Пацаны ждали, принимая отсидку пока, как засаду. Они не знали, что у командира нет плана – ни победить ни одурачить. Командовать – значит чувствовать момент, когда отдать верный приказ. Если опоздаешь – тогда все, кто доверил тебе жизни-погоны, обвинят в бесславной кончине.

На ветках сосен согнулись молодые побеги: желтые и пушистые, пахнувшие мякотью ананаса. Я жевал их, морщась, уже наметив путь через ложок, заросший черемухой. Наш отряд обошел поле боя, таясь и слушая вопли невинно убитых. Основные силы красных месили песок на берегу.

Мы выскочили внезапно и с лету обчистили плечи растерявшихся противников. Далее – к броду на другой берег реки, чтобы занять удобную позицию на травянистом мысу.

«Убитые» орали, призывая своих к отмщению.

– На тот берег нельзя! – ревел взрыватель ушных перепонок. – Вернитесь! Немедленно вернитесь!

На скользкий мыс бежали уже все без разбора, живые и мертвые. Будто захват этого плацдарма решал судьбу всего сражения. Началась бестолковая толчея: мальчишки падали в воду, утягивая друг дружку за шиворот, поднимались с клочьями водорослей в руках.

Физрук бегал по берегу, черпая сандалиями горячий песок:

– Правый берег – зона заражения! Все погибли! Все погибли!

Его сизые щеки наваливались на белый крупный нос, словно боксующиеся негры между белым судьей. Взрослые хотели быстрей закончить игру. Вожатые собирали своих бойцов, чтобы вернуть их в послушных мальчиков. Лес смягчил вопли мегафона.

Сквозь густую листву таяли звуки войны. Еще не остывшие от схватки, мы пробирались в лагерь лесом и хотели совершать новые подвиги. Иначе, зачем было начинать?

Встретив густой брусничник, упали в него, с наслаждением перевернувшись лицом к небу.

– Пацаны, – нас догнал Васька Понт, – с меня погон содрал уже мертвяк. Вот борзота-то!

Но ему никто не сочувствовал. Теперь верховодил другой. Я сидел, окруженный бойцами, и они ждали приказа. Истрепанный погон с тремя орлами гордо синел на плече. Я молчал, и мне давали молчать, чтобы придумать за них. Но чем больше в меня верили, тем сильнее улетучивалась моя решимость.

– Молодец, Серёга, искупали мы их!..

– У меня полный карман их пагонов!

Придумать сейчас какую-нибудь штуку, подобно царю древних римлян, когда на праздник пригласили соседние племена с женами и невестами…

– Идти в лагерь, что ли?

– Серёга, надо сказать физруку, что нас атаковали мертвяки. Это нечестно!

– А кто тебя слушать будет? – усомнился Васька с привычной манерой сплевывать сквозь зубы.

И многие с ним согласились.

– Да лучше пошли купаться без спроса, все равно попадет!..

Седой мох быстро отсырел под мокрой одеждой.

Понт затянуться «бычком», огонек на спичке пахнул палеными волосами. Передал по кругу. Мальчишки затягивались и кашляли, поглядывая на меня.

Уже вечерние тени закрались в овражек, грибная сырость охладила смолистую духоту леса. Я отвернулся от пацанов, непостижимым образом соединяя окраину леса, сетку пионерского лагеря и рассказ мамы о восстании «ватиканов», когда вдоль границы были поставлены вышки с громкоговорителями…

Решение найдено! Глаза пацанов горели, сейчас они пойдут на любое дело!

7

– Проберемся в лагерь, захватим радиорубку и громко объявим, что победили «синие»!

Да, это надо было придумать! – вот он, командирский взлет.

Пацаны рванули к лагерю, сшибая локтями листья. Рыжая от прошлогодней хвои тропинка привела нас к знакомой дыре в ограде.

Как рыбешки из невода, вытряхнулись из стальной сетки на асфальтовую дорожку с кривыми трещинами, через которые лезла настырная трава.

Возле спального корпуса копошилась стайка девчонок: они стряпали «пирожки» из песка, переворачивая формочки с какой-то тягучей хлопотливостью.

Тени от облаков, словно ручные птицы склевывали желто-радостных уродцев у них прямо из-под рук.

Презрительно водя носами, пацаны спрятались за стрижеными кустами, похожими на тюфяки с пружинами.

Затем прокрались вдоль умывальника, не замечая теперь запах болотной тины.

Чем ближе подбирались к радиорубке, тем более слабел азарт мальчишек.

На терраске домика стояли Вера Николаевна и радист Гена. Они слушали Высоцкого: «Один шагнул под пистолет, другой же лег виском на дуло!». Гена крутил эти записи только для себя, впадая в состояние одутловатой задумчивости:

– Это о Маяковском?

– Да, и о Пушкине! (Я вздрогнул.)

– У нас любят поэтов с душком…

Солнечный луч поскользнулся на затылок радиста и скатился вниз по длинным черным волосам. До этой минуты у меня был план: выбежать с криком, мол, в лесу мальчик сломал ногу, и что физрук просит помочь донести. А когда Гена убежал бы, проникнуть в радиорубку через окно. Теперь план был сломан.

Захотелось пить, горькая грязь налипла на губы.

Пацаны ждали, но уже не верили. И потому вновь стали расторопными. Они подталкивали меня в спину взглядами, чтоб не тянуть безнадежное дело. Я смотрел на Веру Николаевну: что она здесь делает? Ведь «Зарница» еще не окончена. Еще не объявлен победитель. Еще римский царь на мирном празднике не дал знак хватать женщин из других племен и брать себе в жены.

Под согнутой ладонью радиста – пойманной бабочкой – трепыхались две серьги.

– Ой, это мне?

– Знакомый привез из Польши! Просил продать…

– А я думала, – вожатая запнулась.

Ломкая тень от Веры Николаевны осторожно спускалась по ступенькам, ожидая и здесь какого-то подвоха. Она уходила в тот момент, когда решалась судьба сражения.

– Не, пацаны, – услышал я за спиной шепот. – Базара не будет!

Командир повернулся и дал «отбой». Мальчишки послушались, но признали это трусостью.

8

От солнца на воде рябило в глазах.

Пацаны выбегали из речки и, прижав распластанные ладони на груди с переплетенными большими пальцами, падали на песок. Лежали, блестя острыми мокрыми локтями. Выдержав срок, они вставали, как черти покрытые песочной шерстью, – с чистым двуглавым орлом на груди.

– Мальчики, все на берег!

Вера Николаевна привстала на колени, к ее смуглому и влажному животу прилипло несколько темных песчинок, сделав его похожим на посыпанную маком булочку.

– Пантелеев, ты слышишь меня?!

Вожатая взяла в руки книгу. Она следовала программе внеклассного чтения, и сегодня на пляже была «Полтава». Словно отголосок вчерашнего сражения: «Тогда, смиряясь в бессильном гневе, отмстить себе я клятву дал…»

Пацаны поеживались, блаженно стуча зубами. Выразительное чтение вожатой напоминало им о школе, о зиме и несправедливых оценках.

Потихоньку они уползали в сторону, наверно, перебирая в голове свои данные клятвы. Вожатая читала старательно, но солнце, песок и жаркое дыхание хвои вовсе не совпадали действием героической поэмы. Поэтому она прощала мальчишкам их своеволие: если нельзя купаться, то хоть бродить по речной мели. Потому что ребристый намыв песка на прохладном дне щекочет подошвы, словно шершавое нёбо в пасти ласкового щенка.

– Ой, смотрите, Вера Николаевна, – закричали девчонки. – Васька на корягу забрался! Нырять будет!

– А ну вернись! – оторвалась от книги вожатая.

И не понятно было: текст это или обращение к ныряльщику.

С места вчерашнего штурмового плацдарма Васька Понт ответил ей смело:

– Да здесь глыбоко! – нарочно ввернул смешное неуклюжее словцо, будто открутил все лишь одну гайку на пути нудного чтения.

– Я кому сказала?

Васька медленно согнулся в поясе. Его тело стало похоже на бумеранг – сиганет в воду и тут же вернется на корягу! Вожатая резко поднялась. И вдруг прижала руки к груди – по локтям ее хлестнули тонкие лямки расстегнувшегося купальника…

Девчонки замерли. Ныряльщик на коряге разогнулся. По лицам мальчишек ползли понимающие улыбочки. У меня перед глазами ползал жук в ямке, и совсем не ожидал катастрофы на разобранных рельсах поэмы: «Носил ее – как мать во чреве младенца носит. Срок настал».

Не думая: надо или нет, я поднялся и сцепил медный прикус лямок купальника, Улегшись обратно на песок, почувствовал – по смущенному «спасибо» студентки, по любопытным глазам девчонок и разочарованным взглядам пацанов, – что сделал нечто, всем назло! Я нашел жука в песчаной ямке и почувствовал на кончиках пальцев прикосновение к влажно-парным подмышкам вожатой, и даже завитки слипшихся волосков.

9

После отбоя Вера Николаевна подошла к моей кровати. Присела на край и спросила шепотом:

– Вы с мамой живете?

– Да, – я натянул одеяло до подбородка. (Раньше мама часто просила меня застегнуть на спине пуговицы лифчика.)

От вожатой исходил мягкий запах духов, разбавленный свежестью ночного воздуха.

– Без папы?..

Вот уж не надо! Такого глупого вопроса мне давно не задавали! Все равно что спросить у калеки: где его нога?

– Гена уже заглядывал, – кивнул я в сторону окон веранды.

Как ни странно, эта оплошность уравняла нас. От ее близкого присутствия стало тесно. Но не дыханию, а чему-то другому. Меня сковала странная обязанность студентки объясниться со мной, вызнать что-то, чего я и сам не знал.

В ее беспечном любопытстве, именно так определил я этот внезапный интерес, было желание найти что-то для себя. Педагогический интерес.

В палате повисла напряженная тишина: вязкая и скрипучая. Неужели она не понимает, что нельзя создавать «любимчиков»? Потому что отомстят. И теперь не за ошибки в «Зарнице» и на пляже, но просто за то, что шептался с Верой…

Когда она ушла, тишина даже усилилась, доказывая мои опасения. Мальчишки не спали, но еще ожидали внезапной проверки, а значит, предполагали во мне позорный сговор с вожатой.

Я мечтательно вытянулся. А когда поднял голову, то увидел, что возле кровати стояли смуглые варвары, как у стен Рима! С белыми подушками в руках. Объяснять что-либо было поздно, да и бесполезно. Пришлось быстро вставать на кровати, гордясь своим одиночеством, и даже радуясь, что теперь разрешится все разом.

– Бейте его!

По плечу огрела пуховая дубина – не сильно, еще для того, чтобы раззадорить. А я был готов, и даже крикнул: «Ну, подходи, кто смелый!».

За меня поднялся сосед по сдвинутым кроватям – круглолицый Вадик – последний, по несчастью, мой солдат. Спиной к спине мы отбивались, как римляне – от наседающих варваров, окруживших нас со всех сторон.

Порванная лямка майки сползла с плеча. Сетка пружинила под ногами, раскачивая тело, отчего было труднее попасть в нас бегающим по полу.

Темнота в палате посерела от летающего пуха и пыли. Щекотное перышко попало в уголок рта. Я сплюнул, с азартом уворачиваясь от ударов, и впечатал очередной пуховый слепок с чьей-то темной башки.

– По ногам им бейте!

Вадик упал на кровать, закрывая голову руками. За ним – повергнутый командир отряда, почти повторив судьбу гордого адмирала, преданного кучкой трусов…

Наступила тишина.

Долго остывали железные пружины да сопел обиженно Вадик. А мне было хорошо! Сбылась мечта о настоя-

щей храбрости, которая никогда не изменит человеку. Как признак его породы! Очарованный своим открытием, я спокойно встал, оделся, не обращая внимания на беспокойно поднятые головы с мирных подушек: мол, жаловаться хочет! И вышел из корпуса.

Никто не окликнул, не остановил – побоялись.

10

Ночь подарила герою какофонию раздухарившихся сверчков. Они сокрушали незнакомую тишину ночи. Круги от фонарей освещали сочную листву и забытый резиновый мяч в траве.

По дорожке мне встретились серебристые пионы – красивые и печальные, лохматые и влажные. Я сорвал несколько липких бутонов, замирая от сочных ропотных звуков ломающегося стебля. С какой-то новой дерзостью вдыхал я запах цветов, внезапно пораженный их женственностью. Ноздри залепляли смятые лепестки, кружа голову.

Мрачный деревянный корпус сопливо блестел окнами веранды. Я представил себя, одиноко лежащего на кровати. Видел свою вожатую, присевшую на мою кровать, так что стянуло на груди простыню. Зачем она приходила? Оказывается, только на свободе и можно было вспомнить ее круглые сжатые колени, ее тетрадку, со смещенной клеткой по торцам. Как удивительна бесчувственность бумажных линий и лунные выпуклости на голых коленках.

Исчерпав себя эмоционально, я успокоился. Что-то подсказывало: подобная ночь повторится, и встреча с женственностью тоже повторится, чтобы в свое время открыть мне свой нужный смысл.

Над головой выключился фонарь.

Раскаленную крышку щипнула ночная прохлада: дзонь… Дзонь!

Словно мошка бьется в жестянку.

Я спрятался в тени плакучей березы, впустившей меня под купол гибких веток. Все вокруг было чуждо, рано; томило душу без спроса и удовольствия. Я не знал, как поступить с этой ночью, как оставить ее в своем сердце. Как

потеснить в нем старый немецкий парк, заросший кувшинками пруд, и вечно безотрадное журавлиное небо.

Дзонь! – опять включился фонарь, и мотыльки полетели к нему, кружась под ржавой крышкой, похожей на шляпу канотье.

11

В субботу дети висели гроздями на железных воротах лагеря, ожидая родителей. Их высматривали на повороте лесной дороги и выбегали через дыру, чтобы скорее выхватить из рук сумки с гостинцами.

Дежурный, с красной повязкой на рукаве, сидел под грибком, равнодушно глядя на «нарушителей режима».

Подошедших папаш и мамаш он встречал строго: к кому, в какой отряд? Посылал гонца в лагерь. Несколько добровольцев срывались с ворот и бежали наперегонки.

Взопревшие родители усаживались на скамейку и ждали; приходила вожатая, они писали расписку, если забирали ребенка на весь день.

Помню, был праздник, и приехало много людей.

На лавочках перед эстрадой сидели ветераны войны. Жарко блестели на солнце медали. По лагерному радио звучали военные песни.

Стихийное движение возле концертной площадки напоминало сборный пункт: все куда-то уходили и возвращались с победными возгласами.

Дул ветер, реяли красные флаги!

Я стоял в тени и ждал своей очереди – выступать на сцене. Несколько раз подходила старшая вожатая и отмечала что-то в тетрадке, кивая мне без слов. Как на линейке!

Потом все же спросила маму:

– Не трудная для него-то?

Военных песен я знал много. А эту даже не учил, просто однажды пропел все куплеты, будто помнил всегда. Она похожа на гимн – четкий, раскатистый и одновременно сдержанный. С каким-то былинным достоинством! Я запомнил имя исполнителя песни: Марк Бернес – отдельные слова он выговаривал почти речитативом, словно священник в церкви.

Музыка просто озвучивала рассказ о том, как шел солдат летним днем: птицы летали – соразмерно его шагу, – не далеко и не близко. Сердобольные женщины всплескивали руками, босоногие дети провожали его до околицы, до странного места: «на перекрестке трех дорог».

Я видел старый погост на опушке леса, и темный крест-голубец под треугольной крышей: облупленная икона, будто надпись адреса стерлась…

Песня ушла дальше солдата, ушла в народ, но народной не стала. В ней, как в Евангелии – не заменить, не сгладить, не спрятать ни единого слова: «Никто солдату не ответил, никто его не повстречал…».

Так под вечер с лугов поднимается горячий воздух, а прохлада спускается, – будто чья-то ладонь, – мягко касается головы.

В двенадцать лет ко мне уже приходила мысль, что отец может умереть где-то, и я никогда не увижу его. Как не узнаю, что было в походном мешке солдата. Мысль эта добавляла тяжести словам: «но не сойтись вовеки нам!» Я тащил песенную баржу, как одинокий бурлачок, подсовывая ладонь под ремни на уровне сердца...

Не помню, как потом спустился по деревянным ступенькам, как искал щель в плотной толпе у эстрады.

12

Семь лет в лагере – путь с двенадцатого отряда до первого, где попадались уже четырнадцатилетние дядьки с усиками над верхней губой.

Но первый – это последний отряд детства.

Дневное солнце, лесные поляны с ягодами и речная благодать уже не манили так, как ярко освещенный круг танцплощадки.

Меж высоких сосен горели фонари, звучали гитары, топтались пары в пионерском танго: «Там где клен шумит над речной волной…». Соблазнов я не любил, и приглашал девочек последним – чтобы избежать скучной необходимости выбора.

Гораздо интереснее было стоять у края площадки и смотреть. Притихшие пацаны выглядели смешно: они

держали за талию девочек вытянутыми руками «на пионерском расстоянии» и старались не встречаться глазами. При этом краснели, обдувая лицо через нижнюю губу.

В этом возрасте произошло разделение: девочки расцветали внутри себя, мальчишки торопились к внешнему взрослению, чувствуя отставание от сверстниц. Несовпадение выливалось в любовную аритмию.

Девчонки стали более закрытыми. В сравнении с мальчишками, научились показывать скуку и ждать чего-то необычайного! Они создавали в себе присутствие тайны – повод для насмешек в прошлом, но теперь это вызывало любопытство.

Когда все путалось в душе, я уходил бродить по берегу реки, слушая издали: «Говорили мы о любви с тобой!»

В растянувшихся по небу облаках пряталась луна – зеленоватый свет озарял бледно-рыхлую вереницу. Словно в сказке: сестрицы держали в руках серебряные блюдца, а царевич угадывал из одинаковых колдовских дев – одну, настоящую. Его суженную.

Какое смешное было слово…

На танцах было принято «занимать» девочку и не лезь к чужой – а то побьют. Девчонок это забавляло. И когда мальчик налагал на кого-то обязанность «верности» – девочка или возмущалась или гордилась.

Однажды и я выбрал девочку. Мы вышли на круг, и вдруг оказалось, что бока у них не глиняные, а мягкие, и даже ужимаются, если чуть сдавливать ладонями!

Неожиданно к нам подошел какой-то шкет и нагло дернул за рукав:

– С ней танцевать нельзя! – передал от кого-то угрозу.

Было много света, а сердце билось впотьмах. На лице девочки мелькнуло любопытство.

Опасность вскружила голову. Раздвинулся темный горизонт за танцплощадкой. В ночном воздухе запахло липкой сосновой пыльцой. Ее желтые пятна лежали на красных девичьих сандалиях…

Я опять пригласил эту девочку: она стояла одна, кутаясь в свои длинные каштановые волосы, чуть растерянная – другие мальчики опасались, а кавалер держал гордость!

Теперь она пошла со мной охотнее.

За рекой, сквозь заросли ивы, крадучись, пробиралась луна. И опять эти мягкие ребрышки, даже пальцами вспотели. На этот раз никто нас не тревожил. Песня длилась долго и томительно: «Опустел тот клен, в поле бродит мгла…». Смотреть в упор на девичье лицо я не мог, отводить взгляд в сторону – было стыдно. Еще подумают, что боюсь…

После этого танца меня пригласили выйти – поговорить. Пожалуйста! Мне и самому третьего захода не выдержать! Оказывается, это тяжелое занятие: танцевать молча, пропуская через себя чужие слова: «а любовь как сон – стороной прошла!». Да еще что-то изображать на лице!

За танцплощадкой окружили мрачные пацаны, кто-то придерживал за спину, чтобы не сбежал. Луна встала на цыпочки, выглядывая из-за обломанных верхушек черемухи. Помню, я запнулся о корень дерева и в падении навалился на чью-то грудь. «Ты че, впрягся? – Кричал кто-то, распаляя себя блатным словом. – Ты впрягся-то чего!..»

Получив сбоку в скулу, я тоже махал руками. Нападающих было несколько, но они давали подняться – быстро отскакивали, выжидая время для удара, упиваясь бойцовской сноровкой: «Ты зачем впрягся, а?.. Не знал, что ли?».

Внезапно подбежал физрук и поднял меня с земли: «Из какого отряда? За что тебя?..». Нападавшие отбежали, но услышали:

– Да так, оглобли спутал…

Коротышка-физрук заслонил луну, огни площадки и девочку, которая опять стояла одна: «Ни к чему теперь мне цветы дарить!..» Меня отвели в наш корпус и сдали вожатой:

– Постой рядом со мной, – сказала она. – Тут мыши летают, прямо над головой!

На террасу долетало: «Ни к чему теперь о любви твердить!» Казалось странным, вот сейчас бы и надо что-то делать красивое! Сейчас остро хотелось говорить, цветы дарить, озноб тела гасить новой борьбой. Тихо шуршали летучие мыши, огибая свет фонарей. Даже они выражали недоумение, и какую-то новую заботу о моей душе…

Вскоре танцы кончились, погасли фонари площадки. Дети возвращались в лагерь.

– Всем чистить зубы и спать!

Я стоял возле умывальника. В ночной воздухе сильный запах апельсиновой пасты. Девочка с длинными волосами шла по дорожке, прижав руку к бедру, но отведя кокетливо мизинец. Молчаливый ухажер спотыкался на ее пятках. Пацаны делали ему знаки, мол, смотри: чистит зубы, уже скоро не понадобятся!..

У меня в руке зажата щетка, острым концом наружу. Слышу: «Ты кого оглоблей назвал?». Набираю пену в рот и раздуваю щеки, если врежут – чтоб не так больно: «Ну, сам выбирай…» – «Что? Что там жуешь-то?..»

– Мальчики! А ну, что там за сборище!

Вдруг раздался крик!

Мы все оглянулись. В потемках пронесся трепыхающийся комок. Оставленная всеми девочка бежала к фонарю, отмахиваясь руками и мотая головой, словно мышь попала ей в волосы! Затем склонилась на свету, откидывая с лица на затылок длинные волосы. Они падали в беспорядке и были, правда, хороши…

Ночью я не спал, настраивался на завтрашнее раннее утро. Мысленно уже шел по росистой поляне за рекой, где цвели оранжевые жарки. (Нехоженая поляна мне будет вспоминаться из всей этой истории, именно туда станет проситься душа!) Я представлял, как принесу букет, найду на террасе красные сандалии и положу на них цветы! А потом напишу письмо, и подброшу: без подписи, без намеков на всякие там подробности. Пусть сама отгадает! Нет, пусть сравнит мои слова, с теми, что говорит ей другой. Не помню уже, во сне или из памяти всплыл ночной звук жестяной лампы: дзонь! Осыпались лепестки цветов, и опять было трудно дышать.

13

На следующий день художники отряда рисовали стенгазету. На двух сдвинутых кроватях разложили лист ватмана, цветные карандаши, кисти, листочки со стихами.

Активисты сочиняли сюжеты, смеялись, припоминая кому-то обиды. И я даже не сразу поверил, что вместе с

нами была та самая девочка с летучей мышью в волосах вместо розы! Правда, цветы утром я не дарил, потому что проспал. Письма не писал, потому что их сочиняют в ответ, а я не слышал ни одного ее слова. Девочка и сейчас молчала. Оставаясь странно равнодушной к нашей газете. А потом и вовсе легла возле ватмана, поджав ноги и закрыв глаза. Так уютно и тиранически лежат домашние кошки – всеобщие любимицы, изнеженные непомерной лаской.

На ватмане появились сосны, синяя лента речки, спальные корпуса, дети в красных галстуках, кривые надписи и ехидные стрелки. Похоже на пиратскую карту. Я рисовал и старательно отворачивался от девичьего бедра. Наконец, не выдержал: потянулся за резинкой и будто бы случайно задел ее согнутый мизинец.

Девочка вздрогнула. Резко поднялась, мельком глянув на меня, выражая на лице какую-то баснословную досаду! И еще скуку. Казалось, в одно мгновение она перетрясла всю мою душу, не найдя ничего нужного! И если раньше я сомневался в том, что не нужен никому в этом мире, то сейчас видел конкретный пример. И он был ужасен.

Я даже обрадовался, когда меня опять «вызвали»…

– Ну, идем, поговорим!

Мы зашли за корпус. Встали: один на один. А выяснять нечего! Ни он, ни я не успели сказать что-нибудь важное девочке с длинными волосами. Видимо, только эти слова можно защищать, чтобы победить! Стыдно признаться, но мысленно я уже отказался от борьбы. Я смотрел на соперника с нескрываемым любопытством: мы были одного роста, цвета глаз и волос. Теперь я на его стороне. И потому виноват перед той гордой девчонкой.

ПОЛОВОДЬЕ

1

После снежных зим, ручей в деревне вспухал, поднимаясь до бревен моста, а поверх льда шла желтая вода, разъедая ноздрястую рыхлую корку.

Бурный поток срезал ледяные наросты в извилинах русла; крутил воронки и терзал пену, разрывая ее в жемчужно-опаловые лохмотья. На своем пути ручей сносил хлипкие низкие мостки, словно сделанные из соломы, гнул и крутил их, ломая о камни и выбрасывая обломки в ивовые сети.

Как щепки песенного челнока!

Стоишь на мостике в половодье, и кажется, что плывешь на лодке – очень быстро! – по бурной реке. На берегу остаются куры с навозной жижей на желтых лапках; стадо лохматых овец с каракулевыми ягнятами, подтопленные бревна… Но вот лодка остановилась – по дороге идет мама, уже не любя деревню за грязь и за свои широкие неуклюжие шаги.

Своим утомленным видом она показывала, что приехала ради сына, и это единственное оправдание ее появления в «этом» доме. Мама ревниво осматривала меня, выискивая что-то, уже разделяющее нас, и удивлялась моему глупо счастливому существованию. Ее настораживало все: мое тихо-саповое упрямство, моя терпеливая улыбка с хитрым прищуром. Даже деревенские веснушки глядели вызывающе, чего уж говорить о весеннем загаре на ушах и щеках.

Ускользнув из ее рук, слышал вдогонку: «Не лезь к собаке!». Во дворе обнимался с Шайтаном, сочувственно подскуливая ему, пока новые гости поднимались по ступеням крыльца: «Шата, нельзя!». И думал, что они видят мою смелость.

В летней кухне готовили праздничный обед.

Жаром дышала печь. Женщины в бабушкиных фартуках, поверх красивых платьев, носили в дом миски с рубиновым винегретом. А куры бежали за ними вслед, норовя клюнуть в цветочный бант на туфлях.

От множества собравшихся людей в доме не было видно окон. А темные лица на фотографиях вжались в стену.

Иконы на комоде задвинуты в угол. На потолке дрожит малиновая рябь от домашнего вина в стеклянных кувшинах. Лавки покрыты фуфайками и одеялами. На стуле для именинницы свернулась пушистым калачиком наша кошка.

– Проходите к столу! Гостеньки дорогие!

Степенно рассаживалась родня за длинный стол. И пока все смотрелись однолико-счастливыми.

2

Белый свет обливал накрахмаленную скатерть.

Перед дедом Егором и бабушкой Машей стояли хрустальные рюмки с солнечными пиявками. Гости выискивали свои стопки, скромно отодвигая пока тарелки.

Женщины накладывали салаты, прикрывая ладонью вырез платья – слишком заметна белая полоска на загорелой груди. У мужчин на затылках торчали вздыбленные волосы от снятой кепки.

Вначале застолье похоже на кучу сырого хвороста: то с одной, то с другой стороны пытались его разжечь шутками, раздуть тостами, упрямо морщась от первых стопок, как от едкого дыма.

Сосредоточенно, и в который раз, читал дед надпись на тарелке: «Общепит». Похожую на подвядшую веточку укропа.

Бабушка чуть сморщилась, смочив губы водкой. На смуглых щеках выступил цыганский румянец.

Закусывали после первых стопок вяло: мол, не голодные, да и много всего на столе – поди, разберись!

Гармонист потянул за ремень трехрядную подругу.

Жена остановила его:

– Поешь, а то потом некогда будет!

Но заголосили уже бабушкины подружки, не надеясь «опосля угнаться за молодухами».

Криво растянулись бордовые меха. «Скакал казак через долину!» – начинали старушки четко, раздельно и почти грозно. Отставшие ухватились вдогонку, побросав вилки: «через Маньчжурские края!».

Пели не щадя себя, с утомительным напором, мутным, как глинистая вода весной: и не напиться, и к топкому берегу не подойти. Лица сморщенные, глазки востренькие, губы хлюпкие, а в горле какая-то надсадно-звонкая погремушка, будто бы нарочно заглушающая слова и музыку.

Все песни нашей семьи были о возвращении. И лишь эта – стремглавая и путанная: казак в одну степь, невеста в

другую! Песня уводила, пусть даже мысленно, тихого деда Егора из дома в Забайкалье. На родину, которую покинул он навсегда, встав под знамена белого адмирала.

Отдав уважение хозяину, ели и пили уже вразнобой.

Воспользовавшись шумом вокруг забытых слов следующей песни, я спросил маминого брата:

– Дядя Гриша, ты отца моего помнишь?

– Конечно… – ответил не сразу. – Помню!

– А он высокий был?

Дядя уперся взглядом в притолку над дверью, словно припоминал тот день, когда отец выходил из нее: «Да, высокий будешь…»

Оговорился, но так хорошо!

За спинами гостей суетились доброхотные тетушки: они и «перепившего» отведут на постельку, и «брошенного в жар» – к колодцу. Им еще трудно остановиться после резки салатов, варки в летней кухне, тревог размещения гостей. Их просят отдохнуть, «ничего не делать больше!» Пусть празднество идет своим ходом, а значит – без них.

– Ну, хватит бегать-то! Отстряпались – и ноги в квашню!..

3

Уже подтаял холодец в тарелках, его желтоватый лоск перешел на лица гостей. Под низким потолком висело сытное душно-хмельное облако.

Мама спросила салфеток. Ей передали кухонное полотенце. Прикрыв глаза рукой, она слышала, может быть, сейчас духовой оркестр в парке для русских и видела золотые купола Потсдамского храма:

– Журавли весной кричали!.. Я ревела без удержу.

Она уже не помнила интонацию своего счастливого голоса в этом доме, оттого и сорвалась на первой же строчке: «Что стоишь, качаясь тонкая рябина…» Женщины поддержали сразу, осаживая веселье за столом: «Головой склонилась до самого тына!». Мама успокоилась, ее слушают и подчиняются силе голоса. Но оставалась возвышенно одинокой, со своей особой судьбой, несхожей с бывшими подругами.

В песню вступали новые голоса, с горькими вздохами, будто брели босыми ногами по нескошенному полю. Кому трава по колено – изгибаются плавно, лавирую высотой звука; кому по пояс – прятались за более высоких и сильных; а кто и вовсе споткнулся об острый камешек – уже будто бы причитал, стараясь попасть в ушедший строй.

Родня пела – вминаясь друг в друга горем и радостью, добывая кому-что нужно: и силу, и сочувствие. Лишь мама смотрела за реку поверх голов, не ища ничего в лицах напротив.

– С ним княжна ехала в вагоне, – дед Егор сжал стопку.

Бабушка пихнула его локтем:

– Молчи, опеть! А то поедешь за ними, куда след!..

Дед улыбался добродушно, мол, куда я от тебя уж денусь?

– Давай, веселую! – жена гармониста пригладила мужу волосы на затылке, ласково перебирая пальцами по стриженому затылку.

Сыпанули чертенята мелкой рысцой!

Запели женскую, разбитную – не пропадать же добру в жалостливой душе! – про то, что у любви есть какая-то вина перед всем миром.

А мама опять хочет верховодить!

Голос чуть надсажен с непривычки, а вместо мягкой травы ноги бегут по острой осоке. И не теплая земля – топкое болотце, вода с родниковым холодом. Спасает ее, как лодочка – сильный голос брата: «Только знала ночь глубокая, как поладили они…».

Пели про девичий отпор бабьей доли: мол, если выпадет такое – уж изведаю! Потом пусть судят!

Жена дяди Гриши зажала между ног пустую бутылку с торчащей вилкой и звонко бряцала, идя по кругу. У тети Любы грудной голос, рассыпчатый и сочный – как переспелая мякоть яблока. И еще от нее исходила особая мягкость, не свойственная нашей родне: «цыганочка, Аза-Аза! Цыганочка черноглаза…»

– Там в Потсдаме был действующий храм, священника прислали из Москвы… Наш отдел проверял! – мама понизила голос, будто это до сих пор было секретом.

Щеки деда Власа покрылись желтой испариной:

– Я звона их наслушался!.. Как на ратуше затренькает – иди коней поить! А лошади жрали лучше, чем мне давали!

На нем темный костюм, светлая рубашка с запонками и галстук с черно-оранжевыми полосами. Ел вяло, разрезая котлету ножом с вилкой.

Баба Таня смахнула крошки с рукава мужа. Зажала их в кулачок – маленький, пухлый, почти девичий.

Любимую песню деда Власа здесь не пели, лишь из уважения гармонист подыгрывал спичечному коробку, нервно шагающему по столу. Получался вальс без слов: *«будь проклята ты, Колыма!..»* Не принимала деревня позора земли, пусть даже далекой, но все-таки нашей! Там и золото и страдания людей в одном месте спрятаны! А в деревне – повсеместно.

Коробок завалился на бок, мама сочувствовала:

– Помню, приехала в Россию, а в гостиницах – тараканы…

За столом всегда найдутся те, кто будет слушать, кивать и поддакивать.

4

Тем временем мужики переманили гармониста и затянули свою песню: про зимнюю степь с метелью.

Я подсел к ним, разгадывая: каким путем шла наша кровь, на ком выплескивала силу, а кого обходила стороной.

Был за столом жидкоусый дядька с татарским лицом и горькими русскими морщинами. Он почти не ел и лишь кусал потный ус, словно обрубок хвоста ящерицы. Тетки предлагали ему «просвежиться». Но он махал узкой рукой и все хлебал горькую песню, все слабел перед какой-то «своей виной». Слова выходили путаные, будто из разных куплетов, но все же угадывалась в них нетронутая любовь, ее нездешнее предназначение.

Тетя Люба подпевала ему, будто дышала на замерзшие ладони. А меж строк сказала:

– Шофером работал… на Чуйском тракте! (Какая-то девушка махала рукой с обочины. Потом ее выдали замуж…)

Вечернее солнце теплом ласкало хмельные лица, а песенная зимняя метель скребла душу. И мало кто хотел идти с бурей в ногу, дышать ей в затылок или рвать на груди ее ледяные объятия. Словом, желал быть равным ей.

Чувство равенства я вынес из песен.

А уж тоска – она была наследственной, самой крайней, самой нечетной на все иные чувства.

За столом уже стали выдыхаться. Повалили на крыльцо, а кто и дальше во двор. Женщины торопливо, и чуть жеманно, – более наслаждаясь невинным стыдом, – разглаживая смятые платья, отирали потные лица белым светом и весенней влагой, разлитой в вечернем воздухе.

А еще старались вынести погромче веселье, чтобы слышали соседи со всех сторон: Ойнины гуляют!

Мужики курили, сидя на завалинке.

В огороде пахло слизью.

Снег, как говорится костьми лег за родну-зимушку, и лишь в картофельных лунках еще белели рыхлые кучки вместе с оттаявшей ботвой.

Только за баней оставался большой сугроб, покрытый слоем старых веников. На них сидели скворцы и колупали засохшие сережки.

5

Доброхотные тетушки прибрали стол: положили свежих салатов, обновили тарелки. Опять вспомнили причину праздника, запели бабушкину любимую.

Есть песни, что запалятся, будто поддувало у печки: чем ясней – тем сильнее тяга! Уже все прощено, все улеглось, но лежит что-то на дне души! С каким-то священным зароком – слова расставания. И помнятся-то не обиды или предчувствия, но то последнее, что сердцу милей всего – три сосны за околицей, мостик через ручей, вечернее солнце, уходящая поступь зари…

За столом голосили бабы, мама переводила дух и, слегка морщась, подступала к стеклобойному деревенскому исполнению, словно раскрашивала гжелью глиняные черепки.

Бабушка восседала неподвижно, а весь песенный мир плыл и отражался в ее черных глазах. Сбился на затылок цыганский красно-зеленый платок, завязанный особым узлом, какой не удавался больше никому. В хмельных глазах светились огоньки, иначе, как кочевые – не назвать.

В конце песни она поманила меня, показывая гостям, мол, внуки – вот ее радость! А потом рассказала, как «я однажды просился идти с ней, когда хоронили какую-то старушку».

– Маленький был, но кричит: баба, возьми меня с собой! Я говорю, мол, до кладбища дорога тяжелая. Вот умру, тогда сходишь!

Сквозь бурный смех, я различаю слова, которые произнес в три года: «Ага, дождешься тебя!..»

В дом заходили и садились новые люди. Вот появился хитрый дядька с рыжими усами, под ними дырка в зубах – будто лисья нора. Про него говорили: пил аж со свистом! Но когда пел – не шепелявил.

– Дождешься парень! – просвистело из лисьей норы, – и не бабку, а молодку!

– Рано еще…

– Чужие дети быстро растут!

Чем больше пели, тем просторнее становилось в доме. Через окна виднелись заливные луга, тугой изгиб реки. В небе рвалась от натуги вечерняя заря – от невозможности охватить всю заречную даль. Казалось, что розовые облака проникали в горницу, садились за стол, расправляя дебелые плечи. За ним увязался туман с лесных болот. Впустили в дом и высокий холм в березовом платке. И озябшую церковь, словно девушку с красными руками, полоскавшую белье в холодной реке.

Гора за деревней похожа на бабушку Машу! Ее летние дороги, словно цыганские бусы в несколько рядов; весной – жемчужные нити – оттого что снег в колеях таял позже, чем на ситцевых южных склонах.

А мама оставалась под горой – как разрушенная церковь.

6

Гости склонили головы над расковырянными салатами. Пели осевшими голосами. Только дядя Гриша «выносил еще шибче», водя боками под тесным пиджачком.

Это была его песня. Он привез ее издалека, как нечаянную невесту:

И покидая вагон,
Ты встретить не вышла солдата.

Дядя Гриша не служил в армии, он сидел в тюрьме. Ушел по этапу в семнадцать лет. Так ранней весной прыгают в воду утята – оттирая меж льдин подростковый пух, закрывающий взрослое оперение.

Из лагеря его вызволила сестра. Он вернулся домой без телеграммы. И дело не только в стыде, но в какой-то обязанности блудного сына пройти сквозь строй чужих людей:

Я сам могу тихо войти,
Не скрипнув калиткою сада!

Дядя Гриша срывался, смолкал, чтобы выпить водки. Застолье покрывало брешь, перекладывая его горькую ношу. Кто-то гнал уже, не щадя горла, зная, что и полкуплета не выдержит, подставлял песне свое плечо:

Сын, мой родной! –
Ты вся в слезах прошептала…

Облетев взглядом стол – чем бы закусить, глотая жгучую слюну и открывая задохшийся рот, – дядя выновлял голос:

Ты возвратился домой,
И жизнь моя радостней стала!

Я тоже подпевал, внутренне страдая от брешей в куплетах. Знал, что дядя Гриша спрыгнул с проезда за три версты до села, перед речкой, где мы ловили пескарей, и шел до дома пешком. И еще я догадывался, слушая песню, что меня так же ждет судьба непокорного сына.

И на сыновней груди –
Лаская седую старушку,

Эту песни нельзя было прерывать. Но ее ломали, укорачивали, забывали слова. Может, оттого что знали про

себя больше и «хуже», не задаваясь вопросом: почему сложилось так жизнь?

Ты скажешь ей тихо: веди,
Веди меня в нашу избушку!

Я ловил каждый звук, ощущая родовую тоску. И чувствовал: во мне также нуждаются эти люди, как я в них.

В песни было все, что я знал и любил: детство в деревне «где гонял голубей по крышам босой и раздетый!», родной дом и сад, подножка вагона, перрон и вальс любви. Было в ней вечное наше возвращение – отчаянное и беспутное.

7

Песенная роса выпала на лица и души!

– А его предали, – громыхнул стопкой дед Егор.

– Молчи! – бабушка накрыла ее ладонью.

Но дед хмелел от своей правды:

– Всякая дрянь ползла. Порядка не хотели ни те, ни эти!..

Дедушка откусил соленый огурец, обменявшись с ним чесночным духом.

А за столом пропустили уже слова: «лаской твоею согретый!» – не спели с должной любовью, не смогли.

И уже редели гости, хоть и сдвигались плечом к плечу. Куда-то ушел вечерний свет. Только дед с бабушкой еще удерживали гаснувший праздник.

Видя, что люди устали, дядя Гриша выскочил из-за стола, хлеща ладонями по коленям. Пошел вприсядку и почти орал, прогибая ударами каблуков толстые половицы. Не мог он сдаться, спустить песню, чтоб угасла она меж трудных всхлипов и суетливых вылазок на закуску.

Женщины стянули на плечах платки, намотав на пальцы шелковые кончики. Но еще осаживали себя: мол, ненароком-то разнесу ваши мебеля!

Сдвигали скамьи, звенела вдогонку посуда.

Бабушка не отпускала меня: «Ты маленький был, в будку собачью залез и говоришь, мол, не хочу уезжать…».

Странная, мучительная вражда прорвала праздничную плотину, затопляя стол и гостей, неся мимо пустых кувшинов щепки былого веселья. (Мне рассказывали, как в прошлом году наводнение затопило дом у соседей: они поставили козу в комнате на полированный стол, а корова осталась по брюхо в ледяной воде. И ее потом зарезали.)

В споре с бабкой мама быстро уставала и срывалась, показывая свою беззащитность. За ней не было чего-то главного. Ее страдания, может быть, давали право так говорить с матерью, но не уважение деревенской родни.

Гости вскакивали с мест, спрашивая: что случилось? Хотя давно знали эту историю.

Кто-то возмущался:

– Да что ж их мир-то не берет! – оскорбляя маму, что она не выглядит жертвой.

В суматохе мы искали друг друга. Но я терялся. Потому, что ждал чего-то. И это ожидание лучше чувствовала бабка: «Твой отец хороший был! Меня, бывало, обнимет и говорит, что не хочет уезжать!..».

В глубине души я тоже не хотел уезжать. И боялся, что эта схожесть с отцом выглядит предательством. Мне хотелось, чтобы все успокоились, вновь запели хорошую песню. Чтобы была в ней «светлая сила» – единственная, которая могла унять маму!

– Ноги моей здесь больше не будет!

– Оставь хоть ребенка!

– Не трогайте моего сына!

Ощущение «светлой силы» угасло; солнце кануло за темным лесом.

Я почти ненавидел бабку, потому что не уступила, потому что чувствует нужную силу (так необходимую сейчас мне) и пользуется единолично.

Тетки на кухне мыли посуду.

Сырые тарелки издавали хрусткий звук. «Да что ж у вас в родне такое жестокосердие? – как всегда расстроилась жена дяди Гриши. – Столько лет живу, не могу привыкнуть!»

Мама находила меня как свое спасение:

– Одевайся быстрей!

– Варя, куда ты – на ночь глядя?!

– Оставьте нас!..

На улице уже подморозило, ноги скользили по застывшим колеям.

С боку темнела высокая железнодорожная насыпь… Такой же ночью, только несколько лет назад, бежала мама из дома с грудным ребенком – каким-то орущим свертком. Прожектор поезда ослепил ее, будто она хотела броситься на рельсы. Не знаю, каким образом вошел в меня тот давний страшный гудок. Но, видимо, с того момента – я впервые отлепился от матери.

А сейчас мы шли в полной тишине. Хотя нужно было говорить! Надо было вытеснить из души тяжелые чувства. В этом возрасте еще можно принять все случившееся как что-то необъяснимое.

И это произошло!

Я услышал странный звук, непонятно откуда идущий. Как будто бы с неба. Словно шелестел тонкий лед: когда идешь по застывшей луже, а он все гнется, звенит, и трещины расползаются с трассирующими щелчками…

Последнее, что я смог осилить, поднимаясь по переходному мосту к вокзалу: освещенная станция в лунной пороше, – с прожилками рельс и множеством неподвижных вагонов – была похожа на большой капустный лист с гадкими бурыми гусеницами.

СЛОВАРЬ

1

Чувство вины перешло ко мне по наследству от отца. (Виноватость угнетала душу, но приучала к терпению.)

Однажды, в конце очень долгой морозной зимы, мама надоумила написать письмо отцу:

– Пусть вышлет сухофруктов! У них дешевые и выбор большой…

Вот так вдруг, предложила невозможное – вступить отцом в переписку! Выказать свою гордость, а может, детский гнев.

– Пусть не волнуется за расходы, напиши, что это в счет алиментов.

Отец добровольно обещал платить до восемнадцати лет. Сумма неизменная, как его слово.

Я начал писать черновик, как школьное сочинение: «У нас еще зима и не хватает витаминов…»

– Напиши, что ты хорошо учишься!.. Особенно по математике…

– Может, что яблони в Таленском саду вымерзли?

– Не надо про сад.

– Что у нас новая квартира, отдельные комнаты!

Мама кивнула и пошла на кухню:

– Подумай, пока, один…

Листок лежал на новом полированном столе, учебники на краю в стопку. За окном прилетела стая свиристелей – облепили яблоню и клюют мерзлые ранетки. Опять – яблоки! «Вот привязалось, будто пухну с голоду!»

Из открытой форточки доносился шелест фольги – свиристели щекочут подмышками старушку-зиму!

Долго я не мог найти слово, с каким обратиться к отцу. В голове вертелась громоздкая фраза: «Здравствуйте… товарищ (зачеркнул) обратный адресат (зачеркнул) человек, отчество которого я ношу». Мама подсказала просто: по имени-отчеству. И отец составился из двух слов, но даже они с трудом появились в заглавии листа.

Боже, как стыдно! Обратился внезапно, с размаху, отчаянно! Обида выпирала между строк. Слова разлетались в дребезги, как снежки об ледяную крепость, что стояла в нашем дворе.

Письмо получилось бездумно-нарочитое, невозможное и для понимания, и для сомнения в его искренности.

Сочинял я долго, даже тайно залез в старый мамин ридикюль.Но уже не было стыдно. Наоборот, у чувства измены появился привлекательный оттенок. Оно стало советчиком и тайным другом.

Вынул фотографию молодого мужчины в шляпе, с надписью на обороте: «Над моей жизнью прошел шторм, раз-

метав года и людей. Хочу, очень желаю, обрести с тобой счастье и покой!» Отец нарушил свою клятву. Или остался верным чему-то другому?

Мне тоже хотелось быть верным. Упереться во что-то всей силой души. Пообещать – и стоять насмерть!

Написанное письмо я не перечитывал. Запечатал конверт и сразу почувствовал легкость: будто нас только что прервали, и отец продолжает слушать меня. Ведь он знает все движения моей души, и разберется в моих мыслях. А просьба о сухофруктах – только предлог. Главная просьба: чтобы не мучился. У меня все хорошо! Только вот встречу в будущем я никак не предлагал...

2

Через месяц пришла посылка!

Был уже яркий мартовский день. Хрустели ветви кленов, пахло морозным черносливом, что лежал, должно быть, в посылке и даже немного слипся.

На почте был другой запах – картона и сургуча.

Мама быстро заполнила бланк, и на прилавок вынесли маленький пакет. Перепутали что-то. Но надпись верна: Ойниной Варваре Владимировне. Фамилия разорвана, читалась как: «Ой, не ной!»

Обратный адрес: Чимкент, до востребования. Ну правильно: южный город, полный солнца и фруктов.

Почерк с наклоном влево, узкий и рачительный. Остался неизменным за прошедшие годы. В графе для писем – пусто. Наверно подумал, что говорить со мной еще рано, и главное – объяснять что либо. И не надо!

Отойдя в сторонку, мы разорвали плотную бумагу, кроша ломкую печать, и вынули новую коричневую книгу – «Орфографический словарь русского языка».

В голове мелькнуло: в письме было много ошибок! Будто в школе схватил «двойку». А может даже – «кол»!

Дома я бросил словарь на стол и пошел на улицу.

Еще зимой, когда горы снега в нашем дворе достигали высоты второго этажа, ребятня и взрослые вырубили на двух вершинах крепостные стены с зубцами и бойницами. Пацаны возили на санках выработанный

снег и складывали его отдельно – выбирая себе бомбы и гранаты.

А потом начинался штурм крепости! Мы делились на две стороны: одни оборонялись, другие наступали. Кто были наши, а кто не наши зависело от победителей.

К весне крепостные стены сильно оплыли, зубцы стерлись, бойницы забились. На солнечной стороне чернели вмятины, покрытые утренней коркой, а склоны горы сильно обледенели.

В тот день мальчишки рубили на них новые ступеньки.

Сверкало солнце, влажно подтаивали снежные крошки на штыковой лопате.

Мимо нас шли студенты. Остановились на минутку и метнули по снежку, вспомнив недавнее детство. Засмеялись, пошли дальше. Но кто-то из пацанов запулил им ответ в спину. Один комок попал в модный дипломат. Пластиковое нутро загремело, словно барабанная дробь к бою!

Трое студентов бросили свои дипломаты и ринулись покарать наглецов!

Мы встретили их градом снарядов.

Нападавшие кидали более крупные комки и упорно поднимались по склону, выбивая защитников. Вскоре, они были у самой стены. Мальчишки, один за другим, отступили на запасной рубеж.

А я остался. Выпал случай: стоять «насмерть»!

Атакующие шли с южной стороны, где снег лучше подтаял, и не скользили ботинки. Солнце слепило глаза, но было на моей стороне: я плохо различал движения студентов, и реальное расстояние до них. А значит – не видел опасности!

Студенты действовали слаженно: один нагибался за комком, другой отвлекал ложным замахом, третий – кидал! Мои грудь и плечи в снежных ранах, щеки царапали осколки. Выручала цигейковая шапка с завязанными ушами. Да и тонким пижонским шапочкам от меня доставалось!

Нападающие прятались за стену и били почти в упор. Последние взмахи я не смог уловить… Ко мне подбежали, будто хотели взять в плен. Но вдруг стали обнимать. Даже заискивать:

– Не больно? Прижми снег к переносице…

На верхней губе расплывалось что-то тепленькое.

Студенты смотрели на кровь – как на мою победу! Виновато оправдывались: «Что не сбежал-то с другими-то?» Потоптались немного и пошли в свою взрослую жизнь:

– Потерпи, скоро пройдет.

А я не хотел, чтобы «прошла» моя смелость, мой лучший бой! В счастливом расположении духа, я лежал на снегу и смотрел в небо. Оно было синее и влажное, с весенней слезинкой, оттого что в вышине кружили два белых голубя.

Вдруг меня накрыла тень – склонились виноватые лица мальчишек. Пришло подкрепление…

3

Вечером я перетряхнул словарь еще несколько раз. Искал записку или надпись на пустой страничке.

С того дня прошло сорок с лишним лет, я пишу этот роман, а коричневый словарь лежит рядом с рукописью. Вечером буду слушать по радио «Встречу с песней» и голос Виктора Татарского. Верность – хорошее качество.

Иногда я открываю словарь наугад, давняя тоска бежит по трем плотным колонкам, похожим на шифр: «облобызать, облов, обманщик» – с желанием найти в случайных словах какой-то тайный смысл.

Так в народных песнях душа отыскивает верное слово, может, проверочное для памяти или клятвы. И разные поколения находят эти слова заново.

КНЯЖНА

1

Вот она, с пропащенкой в улыбке: молодая, хмельная, вызывающая.

Походка стылая! Волосы цепляются за смуглую шею, за бессеребряное ухо, за угол скривленного рта. Она – ни го-

родская, ни деревенская; ни кочевая, ни оседлая; ни светлая, ни темная. Она – другая!

Рядом с ней хлопочет старуха – это тоже она, только через несколько шальных лет. Всю ту жизнь – ухайдаканную, как мелодию разбитой гармони, – озвучивал вагонный передвижник. Он сидел у ног девушки музыкальным псом. Перед ним – околевшая военная фуражка, с медяками на помин чести козырной!

Испитый парень жевал хлеб, скаля белые зубы: вместо подтяжек у штанов – железные цепи, впившиеся в конопатые неизношенные плечи.

Еще в свите был калека на деревянной тележке, в ватных штанах обрубки ног – засаленные буфера: он плакал под мелодию вальса, подперев лохматую голову грязным кулаком.

Гармонь играла вальс «Амурские волны», семеня блестящими уголками. Под этот вальс грустил дед Егор. А мне казалось, что падение Порт-Артура для России – словно ампутация ног.

Я стоял, замирая от музыки. Густело небо, горел фонарь над перронной скамьей и девушкой со свитой. Странное очарование веяло от их непонятной жизни.

Девица вдруг громко пропела: «Куда ты, милый?..» Я обернулся. Она засмеялась, щедро и легко: «С такою рожей? На шарабан мой, покрытый кожей!» – подмигнула цепному другу. Но исподволь поймала и мой взгляд, оценила – взвесила на широкой привокзальной ладони…

В вагоне электрички было пусто.

Тускло светили лампы.

В темном окне напротив отражалась желтая лавка купе. Забавно было следить за ее мгновенными пассажирами!

Вот на скамью присело розовое пятно меж сосен. Пока я угадывал, что это – вечерняя заря, лес стал гуще и непрогляднее. А вот прилег на лавку сиреневый отблеск от реки. Это открылся высокий песчаный берег, по которому стекали вниз последние слабые лучи. Затем плюхнулись на жесткую лавку, вскинув белые ноги, тонкие березки-хохотушки и тут же сбежали, взмахнув желтым подолом.

Дольше всех сидела луна: хоть и прожгла деревянные дощечки, но проехалась в вагоне до края леса, а потом скрылась на повороте, где блестели яркие фонари шоссе.

В Усть-Таленскую я прибыл затемно.

Перрон был пуст.

За крайним фонарем меня дожидались звезды!

Мужик на телеге предложил подвести. До нашей улицы в объезд: «Ближняя дорога затоплена!..»

2

Месяц старательно макнул тонкий край в печную трубу.

Как золотое перо в чернильницу!

Со стороны сада послышались голоса. Чья-то тень на крыльце. Может, спутал дом? Но вот наш мостик, силуэт старой яблони над колодцем. Как странно может изменить случайная фигура привычное равновесие детства.

На веранде горел свет. Я разглядел девушку – напряженный изгиб тела и поворот головы куда-то в ночь. За дверью стоял еще кто-то. Я не видел его, не слышал голоса, но тут же решил, что девушка слушает вынужденно, и что тот человек ей неприятен.

Тихо скулил пес, издали узнав меня и грозя разразиться отчаянным лаем. Но как уйти: незнакомая девушка отчаянно занимала мое воображение. Рядом с ней мне уже ясно рисовался образ коварного процентщика, взявшего в залог волнения юного сердца! Непременная темная сила, что опекает наивных девиц, как весну сопровождают заморозки, а любовь – разочарования.

Еще был знаком мутный свет, широко падающий из раскрытой настежь двери.

Знаком был и тихий ночной стук в окно спящего дома.

Вот зажглась лампа под абажуром, глухо брякнули поленья. Тонко задрожали стекла веранды.

Дед открыл дверь:

– А, Сережа! Я слышу, собака не лает…

На веранде знакомый запах: луковой шелухой, овечьей шерстью и заветренным салом. В доме топилась печь, отбрасывая на пол красные полосы.

– Мать-то не собиралась приехать?

– Нет, пока, – говорю я как можно непринужденнее. – А у вас новые квартиранты?

– Да так…

– Пока наши студентки на каникулах, попросились дачники! – пояснил дед.

От нагретой плиты шел запах убежавшего молока – да так далеко, что разливалось передо мной жаркое разнотравье сенокоса, мятный дух луговой клубники и еще многое, вкусное, из детства!

Бабушка резала сало на старой доске, упираясь левой ладонью в тупой верх ножа:

– Долго не пробудут!..

– Твоя ровесница, – дед шелестел газетой, поднимая ее ближе к лампочке под зеленым абажуром.

Зашипела яичница в сковородке.

– А почему так?

– Налегке уж больно! Живут как на даче. Но приехали, видно, не для того.

Жаркие бельма глазуньи лопались, обрызгивая жирными лохмотьями островки золотисто-прозрачного сала со смуглой щетинистой коркой…

После ужина спать не хотелось. Я вышел на крыльцо.

Теплый ветер ждал во дворе, словно привязанный конь! Остро запахло соломой, потной сбруей, дегтем смазанных колес. Хотелось еще чего-то! Более далекого и родного: запах сосновых шишек и болотного ила.

Густым пеплом осыпались звезды на крышу отцовского дома. И опять я услышал эти странные звуки: будто взламывающие ночную твердь неба. Так ломается под детскими сапогами тонкий весенний лед. И страшно, и очень хочется испробовать глубину!

Вернувшись в избу, я спросил у деда об этих звуках.

– Журавли! Они здесь ночью летят.

– Почему ночью?

– Днем кормятся на полях…

Постелили мне, как всегда, на перине.

Свет погасили, и закрыли дверь – оставив меня один на один с недавним детством.

С комода глядели те же темные лики икон, лунный свет все также старательно разглаживал жесткие склад-

ки нетленной одежды. Босые ноги чувствовали все ту же преданность самотканых половиков.

Мне показалось, что я опять расслышал женские голоса.

И будто бы колыхнулся над кроватью старый коврик. Когда-то на нем были яркие кудлатые облака, солнцем намазана зелень листвы, розовые журавли растянули улыбку заката. Уже много лет за этим ковриком томится дверь, которую я открывал когда-то детской рукой.

Отец ушел из этого дома, по своей какой-то библейской надобности, а мама положила жизнь на строчки романса: «И мы не нашли свое счастье поныне, ничем не унять теперь нашу печаль!»

Перед ее зеркалом сейчас стояла незнакомая девушка, клоня голову в след сонному гребню.

3

– Я жил здесь когда-то… с отцом.

– Как славненько! – послышался звонкий голос.

Она появилась так внезапно, что я не успел разглядеть лица. В ту пору у меня было убеждение, что девочки, которые нравятся мне, просто передают мое воображение и мою влюбленность из рук в руки.

– И что же? – торопила она.

– Мне было три года, кажется. Но я помню голубую печь посреди… И вот эту смородину. Картофельное поле!

– Печь стояла посреди поля?

– Нет. Печь должна остаться там, где и была.

На крыльцо вышла женщина с лицом похожим на маску. Такими бесстрастными показались ее черты: тонкие брови и коротко стриженная густая челка. Лишь карие глаза смотрелись живо, но будто из прорезей, причем вырезанных меньшим размером, чем нарисовано карандашом на маске.

– Мама, к нам явился наследник этого дома.

Женщина смотрела на меня, как свалившуюся на нее лишнюю мороку. Пришлось скоренько объяснять, что дом построил мой отец, а потом мама увезла меня в Барнаул…

Девушка сказала, что она тоже из Барнаула, подчеркнув этим обособленность от матери.

Чтобы казаться непринужденнее, я постучал ладонью по столбику крыльца, мол, как тут обветшало все без меня.

– Оля, что ж…

– Совсем кстати.

– Приглашай молодого человека на чай!

Мать первой поняла серьезность моих намерений доказать любовь к родному гнезду. И поспешно ушла в дом.

– А я видел тебя вчера, поздно вечером…

– Может, это была не я.

– Я приехал на телеге.

– Это важно?

– Еще как!

– А вот у меня нет своего дома, хоть и родилась здесь недалеко. На соседней улице.

Девушка пригладила рукой светло-рыжие волосы с непокорными ковылевыми прядями:

– Зато есть белый замок с вишневой крышей! Вышила его крестиком еще в детстве. Как найду похожий, так и будет мой!

– Княжна Анна тоже любила вышивать.

– Кто это?

– Пока тайна!

– Не люблю тайн. В устах героев они звучат глупо.

Я понизил голос: «Это гражданская жена адмирала Колчака».

Девушка засмеялась:

– Ты ее тоже видел – в неясном свете луны?

– Да, она стояла на крыльце, кутая плечи в мамину шаль.

– Подглядел! – произнесла серьезно, почти по слогам. – Звучит как-то странно: гражданская. Что-то вроде общественного долга!

– Нет, ничего. Я сам родился в таком браке.

Из открытых дверей послышалось: «Оля, чай готов!»

– Ну, пойдем, – сказала Оля. – Кстати, мою маму зовут Галина Степановна. Мое имя ты уже знаешь.

Я назвал себя; затем уселся на ступеньку крыльца:

– Сегодня не могу что-то. Сама понимаешь: родовое гнездо, столько накопилось!.. Вынеси мне чашечку, если не трудно.

Подол платья коснулся моего плеча: «Боже, какие мы тут баре!»

4

Хлопнула калитка, я обернулся.

Никого!

Подгнившие столбики, подпираемые буйной черемухой, ржавые петли. Мальчишкой я катался на той дверце, расшатывая одряхлевшие гвозди.

– Это овальное зеркало, наверно, вашей мамы? – появилась Галина Степановна, примеряя вчерашнюю позу непокорной дочери.

– Да. У нас дома такое же, только размером больше. (Может быть, его оставили, чтобы вернуться?)

– У каждого зеркала свой характер, – серьезно заметила Галина Степановна.

Она помолчала, давая оценить ее мысль:

– Своя, так сказать манера. Как у художников. Изображение зависит от угла падающего света.

– Вам понравилось?

Она думала о своем:

– Женщина ощущает свой возраст, когда начинает делить зеркала!

Сказала мне, как уже понимающему мужчине: соединив мою маму с юной Олей – и этим перевела мои возможные отношения с ее дочерью в священную серебряную плоскость.

Я улыбнулся, вспомнив, что бабка накидывала квартирантам плату, после того как они невольно оглядывали себя в немецком зеркале.

Рядом с этой моложавой женщиной вязли мысли, хотелось казаться рассеянным, чтобы не подпасть под ее ясную логику: «В молодости нравится все!».

– Теперь вы с отцом, – Галина Степановна делала вид, что подбирает слова, – живете порознь?

– Да.

– И давно ты его видел? – допытывалась она, перейдя на «ты», после неудачной попытки превратить меня в возрастного союзника.

– Вообще не видел!

– Хотел бы?

– Хотел...

Стало очень тихо. В глубине дома слышалось радио: беспечная музыка.

– Зачем? – спросила Оля.

Она стояла спиной к матери.

– Глупый вопрос.

– А если он окажется не такой? – настаивала дочь. – Не таким, как был в мечтах.

Разговор был неприятен. Но опять возникло то чувство, как прошлой ночью, что девушка нуждается в моем присутствии.

– Не знаю, какими бывают плохие отцы, – сказал я. – Но у меня хорошие дядьки и дедушки!

– Молодец. А твой папа еще пожалеет. Если уже…

Оля вышла из-за спины матери и стала медленно спускаться по ступенькам:

– А ты сам не хотел его найти?

– Теперь уже нет.

5

– Ой, Коля Сличенко!

Мы умолкли, прислушиваясь к музыке в доме.

– Из бедного табора, а какой голос! – Галина Степановна пошла на звуки радио. – На знатной цыганке женился, чтобы в люди выйти. Пойду, сделаю громче!..

Оля смотрела ей след. Когда динамик взвился, сказала тихо:

– Если слышу песни о матери, стыдно становится, хоть беги…

На страстные звуки угрюмо заскулила собаки. Это Шайтан ревновал меня.

Слышался голос знаменитого цыгана. В то время многие влюблены были в него! – «Очи черные, очи жгучие!» – в безбожной стране новая религия: что и на-

града, и расплата, и день, и ночь, и счастье, и несчастье – все в мире есть любовь! Она кочует по свету, как цыганская песня. – «Не встречал бы вас, ох, не страдал бы так!». Цыгана-Колю вырвали из табора на божничку телевизора.

Помню отрывок из фильма (как бы сейчас назвали: клип) – на хуторе домик с соломенной крышей, месяц над ивой. «Вы сгубили меня, очи черные! унесли на век мое счастие…» Молодой цыган метался в ночи, напирая грудью на плетень. Словно коренник в тройке летела песня его! Пристяжные ей – взнузданные облака с одной стороны, темный лес и заливные луга – с другой! Неслась цыганская душа, летели к черту бутафорский домик, деревья и луна. Весь мир вставал на дыбы! Будто ловкий цыган заарканил его своей любовью!

Подобно африканской крови поэта, тосковал Сличенко среди русских снегов: «Кто счастья знал, тот не узнает счастья!» Цыган понимал муки Пушкина, что несвобода – это жизнь без любви: «Не спрашивай, зачем унылой думой среди забав я часто омрачен». И что в России с бунтарей выкуп небесный берут уже на земле: «На краткий миг блаженство нам дано».

Он вернул Есенина. Привел за руку – как блудного сына! Россия стояла в слезах у порога, узнавая своего златокудрого мальчика: «Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя умереть».

Оля положила руки поверх острых штакетин забора:

– Красивый у вас сад!

– Говорят, отец хотел, чтобы в доме было много яблок, и шел от них «духмяный запах»!

– Яблони одичали.

– Идем, покажу тебе…

– Нет. Иди один. Я тебя здесь покараулю.

Она проводила меня до калитки:

– Люблю старые деревья! – и добавила задумчиво. – Почему люди не могут быть так красивы в старости?

– Театром бредишь? – предположил я с каким-то смешным кивком. И все ждал, вглядываясь в ее светлые волосы, что она вспомнит заросли вишни, побег через окно веранды и прощание утром на мосту.

6

Сад был похож на старый этюд, записанный другим художником. Лишь кое-где проступали контуры прежнего замысла. Особенно заметно это было весною.

В марте под яблонями снег был избит розгами ярких теней. На припеке, и вовсе разъеден садовым мусором из мелкой коры и тонких веток.

Небо меж голых ветвей сияло цветом спелой голубики.

Обледеневшие, серо-пятнистые воронки у основания стволов протаивали до самой земли, из них торчали пучки желтой травы с легкой прозеленью. В воздухе разлито что-то бражное, золотистое и сладкое, похожее на запах старого меда, что хранила бабушка до Великого поста. И мне казалось, что Пост – это караульная служба для души.

Летом сад скрывал свое одичание! Будто отец брал меня за руку и вел по тропинкам. По запаху морковной ботвы – я определял место, где росли когда-то розы, вымерзшие в бесснежную зиму. В осевшей траншее из позеленевшего камня укрывались лозы винограда, а теперь сидела кудрявая рассада помидор под пыльными рамами.

Осень опять раздвигала границы угасающего сада, выпуская из него какую-то несбывшуюся мечту.

Сквозь голые ветви открывалась парящая прорезь – вновь приближался изгиб реки! Казалось, что деревья растянули на ветках тонкую голубую ткань, немного влажную в продольных складках.

Здесь мягче и нежнее звучал мамин романс: «Листья желтые медленно падают в нашем старом забытом саду…». Как приглашение отцу уж если не вернуться, то хотя бы вспомнить!

Осенью в саду всегда что-то не успевали: торопились вскопать землю, убрать листья из-под яблонь, обрезать и уложить малину. И отступались, со словами, что весной «дерево само подскажет».

Хмельной дух ранеток от ночных морозов сменялся в солнечные дни глубинным запахом теплого сена. Первый снежок казался робким, легким, неспешным. Серое небо провисало до верхних побегов. Потом дул ветер, влажные

хлопья летели торопливо и запальчиво, призрачно взмывая из сумеречной мглы.

Зима приходила белым праздником: земля уставала от грязи и темных ночей. После снегопадов дедушка обтаптывал стволы яблонь от мышей. Скрипел снег под валенками, тянуло на мороз, и даже звезды затаивали дыханье, чтобы не сорваться и не сгинуть в растущих сугробах. Ближе к весне, я залазил на яблоню у колодца, собирая в кружку мороженые ранетки. В избе заливал их водой и ставил на печь. Сморщенные бордовые яблочки набухали, светлели и разглаживались, распространяя запах подтаявшего вишневого мармелада.

В мартовские оттепели снег казался старым, дышал простужено с влажным хрустом; на дорогах и вовсе превращался в серую рассыпчатую халву.

В мае яблони зацветали с кондитерским изяществом белых лепестков. Их нещадно обрывали воробьи и несли в гнезда, заметно виляя в полете – лепесток в клюве вызывал боковую струю воздуха.

7

В глубине леса возник протяжный вой.

Лавина стальных звуков хлынула в лес, прерывая в мгновение всякую жизнь.

Набухшая на черенке рельс зеленая почка – выросла в стремительный поезд.

– А что потом случилось с княжной?

Лобастый тепловоз пронесся мимо, толкая впереди себя горячий воздух. И уже привычно стучали железные молотобойцы на стыках.

Сквозь страшно-отчетливое мелькание колес летели яркие обрубки сосен на другой стороне просеки.

Из окон вагонов смотрели на молодых людей пассажиры, с вялым дорожным любопытством.

Поезд прошел. Наступила оглушительная тишина.

– Она ехала с адмиралом в поезде...

Юности свойственно облачно омрачаться в солнечную пору, когда невозможно быть счастливым, если кто-то и где-то несчастен. Причем этот «кто-то» может быть

даже из другой эпохи, но с родственной душой! Таково уж требование влюбленности: не будет сама собою, если не станет чудом и не воскресит любовь адмирала и княжны, и не найдет в теперешнем мире доказательств той любви. Да и как же иначе! – мир, забывший прежнюю любовь, – разве сможет принять новую?

Мы шли и удивлялись, что могли лежать рядом в старом роддоме и даже кричать «на пару».

– Нет, ты лежал зимой, а я – летняя!

Солнце опустилось за осиновую рощу. Еще полчаса назад такое нестерпимое от лобовых лучей, теперь оно не мучило глаза, просачиваясь сквозь бордовую копоть на темных стволах. Словно млеющая краснота в щелях печного поддувала!

– Ты, правда, не хочешь видеть отца?

– А что я скажу? Верни мне детство! Сравни, какой я получился, с белого листа…

– Не любишь переделок? Все-таки он много для тебя значит.

– Душа человека не измена! – вспомнились слова деда Егора.

– Значит, ваши – тоже.

– Вообще не понимаю, – сказал я, – как может рушиться мир или уходить земля под ногами.

– А я испытала потрясение!

– Какое?

– Не скажу.

Жидкие кустики бирюзовой полыни пробивались сквозь мазутный гравий железнодорожной насыпи, поднимаясь к рельсам. За ними карабкался подорожник с зернисто-початковым стеблем, а ниже виднелись трехпалые, с осенним багрянцем, листья земляники.

– В кафе, где я обедаю после студии, приходит один молодой человек. Каждый день. Только чтобы посмотреть на меня…

– Может, случайное совпадение.

– Я хожу в разное время, – уточнила она нетерпеливо.

– Сама, поди, не даешь слово вставить!

Оля даже не улыбнулась:

– Прикладываю палец к губам! И он понимающе кивает!.. У меня в студии амплуа роковых женщин!

– Да?

– Что, не похоже?

– Я тоже, пробовал иконы писать…

– Причем тут иконы? – она посмотрела на меня серьезно. – И как, получалось?

– Я их спрятал…

Солнце ушло за дальний рукав леса.

Есть в этом томительное любопытство – глядеть, как опускается червонная монетка солнца в копилку прожитых дней.

Оля спросила: «Куда мы идем?». Она совсем не узнавала дороги нашего детства.

– Это во мне Сергей Сергеевич разглядел.

– Кто такой Сергей Сергеевич?

– Как говорят наши девчонки: моя первая любовь. Он ведет театральную студию.

Она резко остановилась, разводя руками:

– Знаешь, как он выбивает из нас фальшь? Представь, готовый спектакль, первая сцена, артисты на взводе. Поднимается занавес, – а в зале «зрители» собрались вокруг говяжьей туши и с базарными криками! Бутафорская туша, мясник в фартуке, наглая толпа, а мы – на сцене должны играть в настоящем спектакле сквозь смех и обиду! Получалось – говорит Джульетта: «Пора кончать. Но вот кинжал по счастью». Из зала: «Коли вот здесь, жирнее мне кусок!»

– Да он новатор, этот Сергей Сергеевич!

У дороги попался большой белый камень, чуть вздрогнувший под моей ногой: «Так вот где таилась погибель моя!..»

– Это сцена?.. Тебе повода не давали!

Но удержаться не могла и продолжала:

– Все наши девчонки влюблены в красавца Глеба. Он, кстати, в театре уже играет. А мне никогда не нравился, поэтому Сергей Сергеевич ставит нас в любовных сценах. Благодаря мне Глеб сыграл Ромео, хотя в душе только Парис.

– Боже! Я чувствую себя тем глупым парнем из кафе. Только и остается, что…

Она перебила:

– А начинал, вроде, неплохо.

Тут и я не удержался:

– Чего тебе не хватает? Что вы все рветесь в актрисы?

– Хочу сыграть Офелию.

– Только и всего?

Чтобы смягчить свой голос, я сказал, полушутя, что мне не нравятся «тихушницы»!

– Офелию играют беззубой, – Оля хотела возразить что-то, но перебила сама себя. – Не то!.. Приниженной. И перед кем? Гамлет – мальчишка! На мать обиделся... Вообще, женская ось пьесы никем еще не прочитана.

Блестела вода в низинках. На лугу паслись кони – темные силуэты на фоне заката. Они махали длинными хвостами по высокой траве, словно сказочные косцы – согнувшиеся в три погибели от усердия!

Заслышав нас, кони взметнули гривы, приседая на передние спутанные ноги. Мы свернули к лесу, но остановились на развилке. Одна дорога вела к реке, другая, более заросшая, – к старому погосту.

8

Утро начиналось хмуро. На небе стеганые валики облаков словно бы раздумывали: откинуть им край одеяла или натянуть его до самого горизонта, чтобы еще понежить в полусне голубую кромку над лесом.

Хороший денек для бани!

Дедушка выгребал золу, кряхтя и жалуясь на больную поясницу. Я таскал воду: переливая из цепного ведра. И как ни старался, все же забрызгал колодезный сруб.

На образовавшуюся лужицу прибежали куры, разгребая лапками плавающий мусор.

Затем я сам вызвался предложить квартирантам баню на вечер.

– Обязательно придем! – сказала Галина Степановна, показывая, что ее тяготит дачная жизнь.

– В дом не приглашаю, Оля еще не одета!

Девушка откликнулась сама:

– Представь, что у тебя могла быть сестра…

Она вышла босиком. Узкий воротник свитера застрял на подбородке. Оля собирала волосы на затылке, зажав губами резинку, с перламутровыми шарами. Для большей убедительности, поиграла ими, словно пустышкой.

– Нет уж!

– Жаль.

В темном овале зеркала блеснул просвет – где-то близко барахталось солнце. Словно белокурый ребенок капризно прятал голову под подушку. А няньки-облака намеренно хохочут и щекочут его золотое тельце, выпевая из расслабленного хныканья первый жизнерадостный лучик.

9

Первым парился дед. Он подолгу сидел в предбаннике с открытой дверью. Пил самогон, а слюнки с ветвей ивы густо капали в ручей.

После него я забирался на полок, поджимая ноги и дожидаясь, когда тело покроется росой. Не выдерживая жары, я ложился на скользкие доски, уткнувшись лицом в горячие березовые листья. По спине, плечам и ребрам беспрестанно стекали капли пота, дробно стуча об пол.

За маленьким подслеповатым оконцем шел дождик. Но солнце пробивалось сквозь небольшие тучки. На листьях лопуха сверкали – в бархатных роскошных изгибах – упругие алмазинки.

Постепенно грудь и живот деревенели. Больно упирались в осиновые доски худые бедра, подобно спущенной шине на колесе. Я бросал кипяток на камни – шипящий рой мчался вдоль полка,пулеметной очередью сыпали брызги по розовой стали печки. Жгло уши и кружилась голова.

По телу пробегала странная дрожь, будто я зябнул от спасительного холодка, идущего изнутри. Тело в ответ начинало чесаться, веник переходил из правой руки в левую, охаживая спину и плечи жгучими березовыми лепешками.

Но вот зябкость прошла, сердце разбухло, намозолив до боли ребра, и теперь рвало заслонки где-то у самого

горла. Я спустился с полка на скользкий пол, встал на колени и окунул лицо в таз с водой. Ладони зарылись в нее, словно караси в зимний ил. Потом нащупал запотевшее ведро с колодезной водой. Поднял его и вылил на голову, фыркая и давясь осекшимся дыханием, хлебая влажный воздух сквозь водяные брызги. И уже почти блаженствуя, растирал на груди теплеющую жижу!..

Неся на плечах струи пара, я выскочил в предбанник.

Дед сидел с полотенцем на голове.

На скамье стояла бутылка и стопарик. В тарелке – огурчики с прилипшими веточками укропа. Остро пахло чесноком.

– А Колчак любил баню?

Нос у дедушки молодцевато-глянцевый. Полотенце сползло, розовое темя заметно пульсировало, будто свежезатянутая ранка:

– Простужен был, еще с Севера…

– Любил, значит.

– В провинции любят флаги, чтобы ухватиться всем скопом, да поднять повыше – подальше увидят! Вначале его на ура приняли, наступали до Уфы. Потом побежали. Сибирь была, что ледниковая морена – всякая дрянь вниз ползла!

На полу лежали поленья с присохшими пучками травы. Дед поставил на них ноги. Выпил еще, опустив плечи под полотенцем, словно мокрый мотылек:

– У адмирала и власти-то было от одной станции до соседней. Вся его война, как последняя экспедиция!..

Дед ушел в парную, унося запах жженой хлебной корки.

Воздух в предбаннике посвежел. Каким-то лазаретным холщовым духом пахли простыни и береста.

10

Через открытую дверь был виден сад.

Туманилась темно-синяя листва яблонь, на узловатых стволах лучистые трещинки – в местах среза ненужных веток и лимонно-бронзовые наплывы коры на старых ранках.

Каждой весной дедушка обрезал яблони. Одни ветки, сраженные секатором, падали как бойцы во время атаки – долго и плавно. Яблоня держала и покачивала их, словно не веря в смертельную рану. Другие – летели стремительно, втыкаясь в рыхлый снег. Ветки крупные и яркие, с множеством цветопочек. Но их безжалостно убирали, чтобы дать рост главному стволу.

Я держал банку с варом, похожим на старый мед. Дедушка разглядывал на ладони обмороженную кору, счищал ее и мазал срез, размягчая парафиновую смесь своим дыханием.

Вся Россия – времен гражданской войны – представлялась мне яблоней, которую обрезал весной суровый садовник.

– С ним княжна ехала. Коса толстая!

Мы опять сидели в предбаннике, и дед уже натягивал рубаху:

– На пяльцах вышивала!

Неспешно спрятал бутылку за пачки старых газет:

– На станции – цыгане, большой табор, откуда взялись? Конвой взялся гнать от вагона, но она махнула рукой, мол, чтобы оставили…

Вернувшись в парную, я ощутил знойную ненасытность печки. Бросил кипяток, словно вызов чему-то. Серая терпкая пена шипела и терялась в сухих трещинах камней. Я громко запел, будто хватал ртом свежий воздух: «В гавань нашу заходили корабли, – еще ковш на каменку. – Большие корабли из океана!..»

По выходу из бани мой корабль сел на мель. На мосту встретил Олю. В коротком ситцевом платье она показалась худенькой и голенастой:

– С легким паром!

– Что ты тут делаешь?

– Слушаю твои песни.

– Узнаешь?..

На тропинке появилась Галина Степановна с полотенцем в руках, и той особой, перед баней, озабоченностью человека, который хочет смыть все, что пачкает душу. Оля шепнула: «Приходи вечером!»

Мы неловко разминулись на узкой тропинке: женщины обдали меня запахом торопливой небрежности. Отступив в тень облепихи, запоздало вспомнил, что одет в старые дедовы штаны и что, наверно, смешон в них…

11

Теперь я шел по деревенской улице вместе с девушкой, и в новых джинсах!

Осень расщедрилась: после теплого дня был чудный вечер.

Незадолго до заката солнце просушило небесное полотно, розовые кружева тучек озарялись накрахмаленным светом последних лучей.

Оля замедлила шаг возле неприметной избы:

– Вот бывший наш дом!

В огороде ржавая бочка. Заросли лопуха. На крыльце стояли чужие люди. Еще три года назад она жила здесь и металась меж обидами родителей. Они разводились и ждали: на чей чемодан сядет девочка. Оля была младшей в семье, мать – властная, но тревожная. Отец – художник-самоучка, проигрывая в характере, пил и брал куражом. Олю любили и ласкали все, под ее умоляющим взглядом старшая сестра мирилась с матерью, остывал отец, грозя всему миру написать «изумительный» портрет. Ей даже взрослеть не давали, чтобы не исчез так быстро ее детский дар.

После развода мать с Олей уехала на север, в поселок на крупном угольном разрезе. Отец махнул в Барнаул, чтобы творить. Старшая сестра вышла замуж. В прошлом году Оля приехала к отцу на каникулы, поступила в театральную студию при театре и вдруг осталась.

И вот теперь они решали с матерью: как жить дальше.

12

«Приедешь, школьных друзей встретишь!» – «Да. А ты в кафе сходишь, дашь собой полюбоваться!..» – «Может, он уж забыл давно.» – «Такую не забудешь!» – «Как приятно, если не обманываешь.» – «Ни сколько…»

Рыхлые тучки досадно зевнули, да так, что их свело, растянуло и понесло куда-то по темному небу.

Лунная долина была похожа на меловое русло высохшей реки! Легкий ветер шевелил белую пыль, и, казалось, что нас накроет с головой прорвавшийся с неба поток.

Звезды проглядывали меж сосен и тайно гудели на луну – будто толстую классную даму, стесняющую их своим присутствием.

Мелко тряслась душа: через нее, как сквозь сито, цедились звуки песка под ногами, ломких веток и шишек. От огромных листьев лопуха исходил пыльно-чердачный запах.

– Тебя не хватятся дома?

– Испугался?..

Было странно: она совсем не думала о том, что за нее волнуются! А мне слышался взволнованный голос Галины Сергеевны: «Глаз не сомкнула! Где ты была?» – «В саду гуляла, домой тропинки…» – «Не кривляйся!»

Мы прошли детскую развилку, и дорога привела к старому погосту. Грибной дух от рыжих гнилушек. Фосфорический свет, подпаливший основание ветхого креста с треугольной крышей.

Казалось, что только луна ухаживала за этим местом. Заросшие холмики, одичавшая сирень, низкие оградки, таинственные дольки Божьей нивы. Бескостный страх в голубых просветах. Взмахи лунатических крестов испытывали тяжесть души, будто она повисла на ветхих перекладинах…

Самое неподходящее место, чтобы проверить свой характер: душа под спудом, земля сомкнула губы. А мы все шли до какого-то ненужного предела, до какой-то непременной отметины.

У серой плиты, цвета ноздреватого жмыха, увидели столик и две коротких скамьи.

Сели напротив, положили руки. Большой жук в черном фраке спрятался на торце стола, оставив усы для присмотра. Оля сжала мои ладони, (чтобы не трогал жука). В темных глазницах не видно взгляда; а душа вдруг изболелась, истосковалась. В крови свернулись черные узелки… Ладони раскрылись, еще цепляясь, словно мы разламывали

черствый хлеб. Этот жест показался таким древним и знакомым…

Стволы берез слоились белой рябью от обостренности зрения.

Кресты погоста, как добрые старики, выступили из-под тени, кланяясь нам вслед.

Обратная дорога была легка и крылата. «Боже, зачем?..» – шептала она, стряхивая паутину с плеч. Но в голосе слышалось еще что-то, кроме испуга.

13

Лунная опека земли пошла на убыль.

Тени деревьев стали длиннее и потеряли утомительную резкость. Расширился ночной горизонт – из непроглядной мглы выступили дальние рукава леса и ближние холмы.

Ночь обмякла.

Оставшись без классной дамы – луны, звезды расшалились и сгрудились кучей-малой. Будто досадные капли под промокашкой – они высыхали, расширяя прилежную синеву меж крупных созвездий.

Вот уже кончился лес, затем осиновая роща. Показались приземистые плетни деревенской околицы. А мне хотелось идти еще и еще! Куда-нибудь – во всю ночь! И может, еще весь солнечный день. Остановиться страшно!

Мы даже не целовались: перед кладбищем было бы стыдно, а после – некогда…

Лунный свет иссушил душу. Я озирался, будто искал что-то. На самом деле уже трусил:

– Вон (на небо смотрел, будто впервые!) на ту звезду смотрели адмирал и княжна! Он пел ей: «будешь вечно неизменная…»

– Кому: звезде или Анне?

Высоко над деревьями послышался тонкий, далекий и какой-то окраинный звук. Я будто очнулся, припоминая, что случилось со мной.

– Вот они! Журавли!..

Нутро мелко тряслось: таким маленьким и потерянным казался я себе, такие жалкие чувства прятались в моей душе!

Звуки с неба крошились и расходились вширь, как идут во льду трещины.

Лунный свет стал более водянистым и оседал на землю голубой мутью, пробирая насквозь деревья и кусты. И вместе с ним отчетливее проникали к нам звуки журавлей. Они будто задыхались, пытаясь пробить душную твердь над головами. Даже на земле стало трудно дышать.

14

Мертвым крылом на столбе трепыхалась несорванная листовка. Черным айсбергом – в клубах белого пара – проплыл отцепленный паровоз. Несколько солдат красовались бантами: разорвали платок – чей-то подарок для жены.

Жалкая кучка цыган шумела на заснеженном перроне, будто стая птиц, не успевших улететь в теплые края.

В купе Верховного Правителя России вошел генерал Занкевич:

– Ваше Высокопревосходительство, поступила депеша от генерала Жанена. Он предлагает вам один вагон до Иркутска.

Колчак поднял усталые глаза. Черты его лица, без того резкие, обострились за последние сутки:

– Передайте ему, что эшелоны с русским золотом останутся при мне. И ни в каком случае не будут вывезены из России.

Он и теперь еще стоит «почтовый ящик» под крышей голубца у Таленского погоста. Может быть, через него старик-парфюмер отправил свидетельство тех дней:

«Отречение царя, отречение от всего святого! Толпа требует новое, ревет о старом; ни радость, и ни горе уже не под силу. Общество вдруг очнулось, как безнадежно больной перед кончиной. Стало умилительно все добропорядочное, размеренное. А главное – породистое. Остались еще люди, что умели любить. Нести свой крест. Колчак был из них».

Железнодорожные эшелоны растянулись по всей Сибири, обагряя солдатской кровью главную дорогу войны.

Фронт разваливался, и только чешский корпус слит единой волей – вырваться из мятежной России.

На станции Зима оторвавшийся чешский тромб закупорил артерию Верховного Правителя.

Начальник штаба ждал.

– Что еще, генерал?

– Господин адмирал! Преданные вам офицеры и конвой предлагают пробиваться в Монголию. По почтовому тракту. До границы двести верст. Автомобили готовы!..

Колчак сжал губы чайкой: тонкая верхняя, изгибом напоминала птицу над волной.

– Постройте солдат и офицеров перед штабным вагоном. Я выйду к ним! (Дед Егор стоял в том стою. И готов был идти за адмиралом через ледяную пустыню, верный единственной в жизни присяге.)

Мягко закрылась дверь, в коридоре привычные голоса: слышно, как солдатик бросает уголь в печь, звенят стаканы, повар готовит завтрак…

Темно-синий бархат упал на колени.

Анна отложила пяльцы и раскрыла Библию: «что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его…».

Мутное солнце кропило светом затоптанный перрон, цыганский табор и шеренгу солдат. В момент, когда распадается коллективная воля, люди сильней жмутся друг к дружке. И не важно: чье дело победило – правое или неправое; главное не выронить стержень своей души, держать его, как штык голой рукой.

Слова Колчака выслушали в полной тишине, а потом зашумели. Громче всех кричали цыгане…

Александр Васильевич вернулся; на шинели крупные теплые снежинки.

– Что ты сказал им, Саша?

– Я остаюсь.

– «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный». А с нами что будет?

– Пророчествуют те, у кого нет будущего, – он улыбнулся той единственной в мире улыбкой парящей чайки. – У нас ничего не отнять!

Вагон медленно поплыл, хоть и стоял на месте – отправили другой эшелон.

«Семеновский состав! – крикнул унтер-офицер в коротком полушубке без погон. – Егор! Смотри-ка, солдатик ловчит чайник выхватить! Дурище!.. Поднимешь, когда поезд пройдет». – «А что сказали на митинге?» – солдат кивнул на вагон Верховного Правителя. – «Говорил, не хочу, мол, вас напрасно губить! Идите, мужики, по домам…Ты куда?» – «Пойду, цыган отгоню!»

Перрон быстро пустел. В окне адмиральского вагона махала рукой барышня с темной косой на плече.

15

Первая цыганка вышла в белом платье. Куталась в рваную шаль и озиралась на белый свет. Голос низкий, причитающий, будто замешивала песню в ступке для гадания. Мотив неясный, шершавый, непокорный, в словах удивление – деревянные домики, пожарная каланча, темный лес за околицей – все распадется, все изменится, все смоет красная пена заката…

– Помнишь, Саша, нашу встречу?

Спросила, будто с полпути вернула:

– На Балтике, на эсминце. Флот ждал войну, а я ждала тебя! Ты появился в кают-компании вечером, веселый, с гитарой: господа, я приехал на лошади! Мужик на пароме с подводой… О тебе ходили легенды: в Северном океане на шлюпке – в поисках барона Толля. Это было еще безрассуднее, чем сама экспедиция барона!

Человек обживает такое пространство, на какое способна его душа! Будь то шлюпка отчаянного капитан-лейтенанта или вся Великая Сибирь от Урала до Приморья.

Вторая цыганка вышла в красном платье, ее короткий причитающий вскрик утонул в снегах. И слышался в нем всплеск золотого оружия, упавшего с борта черноморского крейсера, не опреснившего моря измены!

Словно замерзший цветок – облетала цыганка песенными лепестками…

– А потом я узнала, что ты в Японии, почти в плену, бросила мужа во Владивостоке и примчалась в твой госпиталь. Тебя лечили бывшие враги. Помню, лепестки сакуры на белом кителе, звонил колокол. Я поклялась не расставаться с тобой!

Княжна взяла вышивку, прижимая к груди серебряный узор:

– Боже мой! Я не была у постели умирающего сына! Теперь отнимут и тебя…

Третья цыганка вышла в черном платье, с красными цветами на подоле. Она прошлась по грязному снегу, собирая с рваного полукруга по нитке чистого звука, и осторожно сматывала песню в цветастый клубок.

– Кажется, нас прицепили к паровозу!

– Теперь уж недолго.

– Пусть. Еще хоть день в пути…

Солнечный луч упал на погон с тремя двуглавыми орлами:

– Мне рассказывали об экспедиции 19 года, – начал Колчак.

Четвертая цыганка вышла в платье голубом. Она заглянула в глаза адмиралу и пустила песенный клубок по снежной дороге!

– В устье Игарки обнаружили склады, еще от царя остались. Их охранял местный большевик, бывший ссыльный. Оказал сопротивление – расстреляли. А собаку – на цепи у входа пожалели. Пришлось пробить стену, чтобы вынести продукты. Говорили, что когда все забрали, кобель перестал рваться, уткнулся мордой в снег. Кормить пробовали – не взял! Отвязали, не кусался, думали: на сто верст нет людей – никуда не денется. Так вот не пошел, остался в пустом доме…

– И что с ним сталось?

– Волки, наверно…

16

Прощались на мосту. Качались доски под ногами; Оля спросила:

– У тебя с собой есть мамина вещь?

Я перебрал содержимое карманов, пожал плечами:

– Вот, может, пуговица. Пришила от старой блузки!

Она пошла к калитке, не взглянув на пуговицу.

У крыльца обернулась, поманила ближе: «От мамы у тебя – пупок!». И скрылась за дверью неприкаянной половины нашего дома.

На черном окне колыхалась паутина, смутно блестели стеклянные банки на штакетинах забора.

Есть в жизни такие места, которые лучше видятся с закрытыми глазами!

Тень от черемухи на голубой крыше, опушка соснового леса, березовый холм за селом. А между звезд серебристая нить от клубка, что увела адмирала в последний путь. Теперь не найти тот след в Ангаре, но должно же оставаться вечное!

Даже звезды – это всего лишь узелки на изнанке небесного полотна, истинный узор которого душа лишь вспоминает на земле.

ЗЕЛЕНАЯ ЮРТА

ПОВЕСТЬ

1

Молодого учителя, приехавшего в горное село, первой заметила мать Нади. Она работала в магазине и подтолкнула девку: смотри, мол, денег не считает!.. Высокий, стройный алтаец с широким открытым лицом и тугим разрезом черных глаз, в глубине их светились яркие кочевые искры. Особенно понравился голос с природной мягкостью и любезной поспешностью, как в говоре мелких горных речушек.

Ходил Вася по деревне в белой рубашке; стал директором школы – надел галстук. А пять лет назад выбрали Василия Михайловича главой села.

На родном языке он не говорил. И если звали в город на совещания, слушал алтайскую речь молча, чуть виновато, кивая и морща высокий лоб. Выступал редко, сыпал поговорками. Руку прикладывал, когда голосовал, словно от солнца заслонялся: « Как не годна шуба без ворота, так и начальник без разума!»

Единственное, что раздражало начальство – его длинные, до плеч волосы. А Василий шутил: «кто борется с морозом – будет без уха, кто с начальством – без головы!» Но постригся, когда начал седеть.

2

В детстве Вася был уверен, что солнце в родных горах есть всегда! Если в одном логу пасмурно, идет дождь или снег, то стоит перевалить через хребет – и увидишь залитые светом зеленые склоны.

Золотая долина младых лет: солнце на закате перекатывалось в ладонях гор, будто красный уголек. По

отвесным скалам вились гибкие речки, превращаясь в сплошной пенный водопад, с передышками на широких выступах, где, словно фартуки на каменных коленях, расправляли гладь чистые озерки.

У отца было ружье послушное, как ручной сокол. Оно тихо сидело за плечом. Трава шуршала о приклад, поднимаясь мальчику по пояс, когда они ехали с отцом на лошади. И всегда неожиданно выскакивало дуло стальным продолжением отцовской руки. Даже не успеешь вздрогнуть. Только почувствуешь через грудь отца мягкую отдачу от выстрела.

На берегу ручья находили груду черных камней. Сядешь, бывало, у костровища и смотришь на чуткий пепел, иногда даже теплый. Он мог рассказать о неизвестном охотнике, что был здесь недавно. Молод или стар, жаден или ленив, какое мясо ел и какой пил чай. А еще пепел хранил отпечаток дум сидевшего у костра человека.

Отец доставал ножик. Сыну казалось, будто он хочет поранить свою руку:

– Косуля-косуля, зачем так плохо бежала?

– У меня ножка болит! – отвечал отец быстрым говорком, видя жалость в глазах сына.

– Ножка-ножка, зачем болела?

Отец брал кусок наждака и ласкал им лезвие ножа, востря ухо на голос косули.

– Меня волк погрыз! – приподнималась губа с редкими черными усами, показывая край желтого зуба.

– Волк-волчишка, зачем косулю погрыз? – бросал суровый взгляд в сторону густой травы.

– Я есть хотел. Косулю не догнал. Пойду к людям за овцой!

Отец разводил руками, будто пришел сказке неправильный конец.

– Волк-волчище, не ходи к людям, у чабана ружье есть!..

Он посылал Васю за водой. Когда сын возвращался, то косуля убегала обратно в тайгу. И мальчик был рад, что волк остался сыт, а у косули перестала болеть нога.

3

Географический факультет Василий выбрал потому, что любил свою землю. И доказал это уже на третьем курсе, написав работу «Сравнительное исследование Библии и алтайских легенд».

Когда не было еще ни земли ни неба – был некто Ульгень. Неприкаянно скитался он над безбрежным морем. «И ощутил голос внутри себя!» (Библейский Бог распоряжался всем сам.) Голос уверил Ульгеня: все, что он сделает – будет правильно!

Ульгень повиновался словам неведомого духа: «Хватай впереди!» Увидел камень, торчащий из воды, и сел на камень подобно чайке. С тем криком, с каким птица находит отмель в бескрайнем море. Видимо, гордость алтайца – это желание отдохнуть от непомерного величия гор, выпавшего на долю маленького народа.

Дух говорил: «Сотвори небо! Сотвори землю!» И Ульгень делал это как младший брат библейского Бога.

Творил он похоже, но как-то душевнее. Вот увидел Ульгень плывущую льдину, а на ней – прилипшую глину. Весной часто на льдинах оттаивают комочки земли, прошлогодняя трава, шишки, изломанные перья птиц и спящие жуки. В этом месте легенды, возможно, сходится память всего человечества о леднике, внезапно остановившем жизнь на земле.

Ульгень поднял кусочек глины и вылепил человека. Как и в Библии – мужчину. Потом соскреб оставшиеся крошки и сделал из них великую рыбу – тайменя. И это не было странно!..

На трех тайменях Ульгень утвердил землю.

Должно быть, кочевые народы, живущие далеко от моря, все же видели его когда-то с высоты прибрежных скал. Это головокружительное впечатление так и осталось для них «краем земли».

Алтайская Библия – это поэма о красоте родной земли.

Сотворение мира у алтайцев шло по-своему: Ульгень воткнул крюк под жабры средней рыбы – чтобы она не наклоняла голову, иначе земля покатится вниз! В этом ме-

сте легенды пахнет праздничной кухней. Вокруг зеленые горы, в гривы вплетены серебряные ленты рек. Покрытая коврами поляна, на ней женщины готовят кушанья на кострах.

Об алтайских женщинах разговор особый. Кстати, по легенде, Ульгень сделал женщину из птичьего перышка! Может, нашел его на льдине, и значит, было еще какое-то загадочное существо до сотворения мира.

А может, вырвал перо из своего крыла!

Алтайцы – вечные дети у матери-природы. Кочевой образ жизни научил их хранить самое дорогое в словах.

Мудрость алтайца – легка, как поклажа путника:

– Тупого не точи, дурака не учи.

– Слово старика прячь в мешок; слово начальника за чулок заткни.

– Если бросят в тебя камнем – ты брось маслом.

– Задравши голову, тот час споткнешься.

– Лучше добрая мысль с зерно, чем худая дума с верблюда!

Курсовая работа Васи понравилась студентам. Особенно то место, что алтаец и его добыча (рыба или зверь) сотворены из одного теста и созданы друг для друга! А вот материал, из которого была создана жена алтайца, вызвал удивление и даже легкую зависть…

4

Присев на корточки, Вася оглядывал сломанную ограду: «Жерди-жердочки, почему вы сломались?..». Жена Надя легонько толкнула в спину: мол, не камлай!

– Говорила тебе: запри на ночь! Так нет же, пускай на воле побудет!..

Она сжимала у горла воротник куртки:

– Еще с вечера беспокойной стала!..

В сумраке проплыл подол белой рубашки – Надя заглянула в сарай к телятам. Почему-то ночная рубашка по утрам становится похожа на старый снег.

На крыльце мелькнули голые икры. Жена постучала калошами о порог и скрылась за дверью, хлопнувшей сытым домашним прихлебом.

Обычно Надя вставала раньше мужа и уходила доить коров. Вася пил чай один (дети еще спали) и тоже шел по своим делам. До завтрака супруги мельком встречались во дворе, обмениваясь редкими словами, и лишь какая-нибудь напасть соединяла их, отвлекая от привычного начала дня.

Например, ветер срывал пленку на стоге. Они ловили хлесткие мокрые края с разных сторон, задевая друг друга с нечаянно-укромной нежностью. Вася упирался локтями в колючий скат, ощущая мгновенный покой и летний запах, что исходил из глубины сена...

В пустом огороде чернела замерзшая слизь, на картофельной ботве лежал иней, будто клубок серебристых змей.

Возле пролома в жердях иней был сбит и втоптан в навозную жижу. Вася поднял взгляд на косогор, где за оградой шла темная тропка, набитая множеством копыт. Но виделись ему почему-то голые ноги жены. Такая вот путаница! Еще хотелось с утра чего-то мягкого и теплого, а приходилось лазить по холодной грязи.

Вася вздохнул громко. Так что в глубине под ребрами хватило жалости и на жену и на корову!

Зорька… Бежевая красавица, с кудрявой морщинкой на лбу! Нос светло-коричневый, шершавый, как детская босая пятка. Капли молочной росы в чутких розовых ноздрях. Глаза умные, лилово-дымчатые. А ноги – будто статуэтки!

Обидно, что ушла корова с хозяйским добром – стельная. Да и то спросить: столько раз отнимали у нее теленочка? Запирали его – жалобно мычащего – в теплую стайку, принося от матери ее молоко, разбавленное водой.

Сегодня ночью Зорька их опередила! И сделала это по-женски хитро, не пошла вчера в сарай, а упросила Васю лиловыми глазами.

Характер у коровы самостоятельный, например, не нравилось, когда ее гладили по кудрявому лбу. Не откликалась мычанием на крик «Зорька!». Притом смотрела както вопросительно, будто знала про себя еще одно имя. Во дворе корова любила стоять у палисадника, понукая свою рогатую тень, падающую на цветы, и отирая мощную шею об зазубрены штакетин. Услышав мычание теленка из са-

рая, Зорька переставала жевать. Отражения рыжих бархатцев влажно вспыхивали в ее сиреневых глазах…

5

Вася вошел в дом, испытывая странное возбуждение. Но до времени предпочел скрыть, чтобы не смущать жену.

– Фу, ты! – выдохнул растерянно. – Коровы-то нету…

– А я так не знаю!

Надя вынула из ведра творожный ком, завернутый в марлю. Посмотрела в окно, как бы не веря мужу. Но на самом деле, чтобы спрятать усмешку.

– Жерди валяются, – продолжил Вася, приседая мимо табурета, – сломанные! – И добавил, уже вовсе деловито. – Собирается там что-то, на перевале… Метель-то! Придет, однако, к вечеру!..

За окном светлело.

Утреннее небо было совсем чистым, а бледно-розовые горы дальнего перевала казались полупрозрачными, будто подмороженными.

Снежная лепешка на вершине стога потрескалась от теплого ветра. Белые, еще сухие обломки инея медленно сползали вниз.

Надя продолжала усердно тискать влажный ком. Сквозь озябшие пальцы сочилась холодная желтоватая влага:

– Вот отелится где-нибудь в тайге… Поделом тебе будет, угодник!

Вася отмахнулся:

– И что? Вон женщины в бассейне рожают!.. На воле, так сказать. В естественной среде!

– А если снег выпадет? Поди, сыщи ее тогда!

Про бассейн жена ничего не ответила. Но Вася знал ее хорошо: запомнила! И вывернет, когда надо будет, по-своему!

Он поправил ногой круглый войлочный коврик с орнаментом из красных и голубых лоскутов атласа. Коврик достался ему от отца. В аиле его стелили для дорогих гостей. А теперь на нем спал серый кот.

– А что не уйти-то, от такого хозяина! – усмехнулась жена, дожимая творог.

Она уже заметила в алтайских глазах мужа тревожный кочевой блеск:

– Тебя и метель уговорит, куда захочет!

Голубое солнечное пятно робко прильнуло к оконному косяку, словно вернулся домой ночной гуляка: не зная еще, примут или нет.

– Однако постоит денек, – ободрился хозяин.

Налил в стакан вчерашнего молока. Медленно выпил, чувствуя горечь, какая бывает у коровы пред отелом:

– Может, недалеко ушла-то?

Обхватив розовой ладонью запястье другой руки, Надя сгоняла молочную жижу, все сильней раздражаясь на возрастающий азарт мужа:

– Смотрю, настропалился уже!

– Найду я ее…

– Ну, пойдем что ли, глянем. А-то ведь ускачешь один-то, и пропал день!..

А уходить ее муж умел! И уводить за собой… Сейчас вот ляпнул про бассейн – и смутил каким-то близким чувством, которого ждала она. Даже сочувствие угадал к корове.

– Надень куртку-то теплую! – суетился Вася.

– Да грязная она, – отмахнулась было.

– На свидание собралась?

– А ты позвал?.. Вижу, что намылился, не терпится ему!

Они почти никогда не ругались, даже в молодости. В крайнем случае, когда Надя чувствовала в муже резкую смену настроения и не успевала за ним.

6

На дворе дул ветер.

Утренний, неустойчивый, чередуя теплую волну запахов от реки с холодным дыханием от заиндевелых лесных полян.

Выше косогора, за березами, просматривались рыжие склоны, разделенные кое-где мелкими въедливыми ручьями. Заснеженные горные отроги, как кривые пальцы,

вцепились в зеленые лощины. Освещенные желтыми лучами прояснялись натруженные костяшки гор.

Жена шла первой, чуть склонившись в талии, покачивая крутыми бедрами так, что от движения их запыхался Вася еще до подъема.

– Сама понянчиться захотела! – Надя обернулась, словно почувствовала упорный взгляд. – Понежиться с теленочком!..

Сказала уже явно сочувственно. Но смотрела с тоской. Может, тоже носит в душе какую-нибудь тайную мысль. О чем? О другой жизни, об уходящих годах, об усталости и скуке? Несмотря на ветер и холод, от жены веяло еще теплом постели. Она нарочно потягивалась и зевала, улыбаясь своей беспечности и неожиданному отвороту от домашних дел.

В горах чаще поднимаешь глаза к небу. И особенно радуешься, когда оно проясняется. А сегодня, похоже, будет тот самый последний осенний денек, когда нужно бы закончить много дел, но лучше не стараться, потому что все равно не успеть!

По твердой от заморозка тропке, с прилипшими к земле березовыми листьями, они поднялись на вершину косогора.

Верхушки долговязых сосен качались во все стороны, перехлестываясь кронами, словно ловили друг дружку в объятия. Желтая хвоя падала на их головы и плечи, как сухой дождь.

Ветер гнал по небу сизые убористые тучи. Они с ходу намеревались проскочить через высокую гряду, но застряли и скопились в устье синего распадка, как ледяная шуга в заторе.

На этом косогоре, на этой тропке, он встретил свою Наденьку двадцать лет назад.

Было это в мае. Она спускалась вниз; ситцевое платье облепило ее крепкие ноги. Вася подошел, девушка втянула живот, но дорожки не уступила.

«Потеряла чего?»

«Мама послала корову искать!» – бойко ответила девушка приезжему учителю, заслоняя от солнца лицо ладонью и разглаживая лисьи бровки.

«Давай, помогу!»

«Да вы сами заблудитесь!»

«Ну что ж, потеряемся, так вместе…»

Щеки розовые, на локте зябкая пупырышка! Под тонким платьем на груди пробивались соски, словно птенцы из скорлупки.

Девушка посмотрела в сторону острова, где уже зацветала черемуха, затем невзначай в глаза приезжему:

«Вы же дальше школы-то не ходите!..»

7

Деревня была видна как на ладони, растянувшись вдоль Чуйского тракта на покатом солнечном склоне. Нижние проулки выходили на берег ручья. Он таился сейчас в густых ивах. Сквозь серебристые листья проглядывала тусклая рябь воды. Ручей бежал незаметно, окольными путями – мелкий, но настырный – отнимая от деревни плодородную низину, поросшую молодым сосняком и кустарником.

Весной, когда с одной стороны вскипала большая река, а с другой разливался ручей, земля между ними становилась заповедным островом.

Это было место влюбленных.

Особо нетерпеливые пары перебирались на остров, несмотря на сильное течение, почти вплавь. А там, на зеленых полянах под солнцем, уже нежились листочки земляники и одуряюще пахла цветущая черемуха.

Когда-то и они с Надей гуляли и целовались на этом острове…

Временами ветер в лощине стихал, но оставался в неподвижном воздухе какой-то протяжный гул, словно он набирал силу за ближней грядой.

Надя остановилась. Скользя на тропе, Вася ухватился за ее талию. Почувствовал сквозь тонкую куртку, как жена втянула живот, поднимая грудь и выправляя осанку. А еще уловил: затаила дыхание, будто бы прислушивалась к чему-то, и выдыхала по чуточке. В этих крохах воздушной грусти таилась для него особое очарование.

Вася сильнее обнял жену.

– Не наигрался еще?.. – перехватила ладони, сжимая их.

Постояли молча. Затем пошли к соседней вершинке, но уже как-то с неохотой или с сомнением. Легкость осталась там, где они разжали руки.

Чем выше поднимались, тем удаленнее становилась деревня. Хотя виднелись еще крыши домов, зарывшись в желтую листву, будто пестрые куры-наседки в свежее сено.

8

В центре села громоздилось деревянное здание школы. Перед ним – зеленая лужайка с проплешиной. В начале своего учительства Вася делал на ней зарядку с детьми. Школьники приседали шеренгами и махали руками, сверкая белыми манжетами, будто подавали морские сигналы.

Хорошее было время! Он до сих пор жалел, что ушел из школы.

Рядом со школой, из-за высокой ивы, выглядывал их дом. Вернее крыша: высокая, шиферная, с ржавым подтеком от трубы. В огороде, где полосой сошел иней, можно было разглядеть неубранную ботву, издали похожую на спутанную шерстяную пряжу темно-зеленого цвета.

– Игоря надо было поднять, – сказал Вася про сына. – Опять всю ночь у компьютера сидел!

– Ты ж купил!

Старший их сын полностью выдался в русскую мать: с матовой кожей лица и большим разрезом серо-голубых глаз, не взяв ничего во внешности от алтайской крови отца. Застенчивый, а теперь и вовсе потерянный. А вот дочь – красавица-полукровка – яркая, как тавро на белой лошади!

Сын бросил институт после четвертого курса. Жил дома без дела и без интереса.

– Пусть поспит! – заступилась мать.

– Я в его годы…

– Нет у него общения, – перебила Надя. – Все друзья в городе остались. И подружки!

– Так и пусть вернется, доучится…

– Ждет эту свою… учительницу, – перебила Надя уже с легкой ревностью.

– Сама говоришь, надо общение!

– Ага! Приходит к нему в сарай... В потемках! Сидят, сосиски жарят... и шоколадом еще кормит!

Вася засмеялся: жена всегда ревновала его к школе, к молодым учительницам. А теперь вот и сына.

– Легко оделась-то! Иди домой.

Оглянулся, деревни уже не было видно.

– Пусть спит, – жена зябко тряхнула плечами. – Еще наломается в жизни…

Сосны вдоль дороги резко расступились. Открылись широкие поля.

Сухая поземка шарила по обснеженым скатам, тоскливо катая белую шуршащую крупку меж рядков скошенного ячменя.

Мутные горы дымились, словно кучки серого пепла.

В голубых просветах меж туч натужно гудел ветер, раскачивая зыбкое небо. Этот звук проникал на всю глубину горной чаши. Временами из прорех в облаках падали на землю короткие солнечные лучи и тихо гасли в снежной соломе.

Все явственнее чувствовалась ледяная испарина приближающейся непогоды.

Вглядываясь в сторону большого хребта, Вася прищурил тугие глаза. Их яркий блеск по молодости Надя боялась, а теперь любила.

– За перевалом она колдует… Метель-то!

– Уж разглядел! – Наде было жаль погожего денька.

– Придет, будь спокойна!

Но словно возражая ему, надолго выглянуло солнце. Осветились на полях лоскуты зябкой осенней рыжаны. Северные склоны прояснились и приблизились. Запорошенные цепким инеем сосны набухали в желтых лучах солнца и казались похожими на бежевый ноздрястый творог, только что вынутый женой из серой марли.

У Васи сильней билось сердце, и все беспокойнее становилось на душе. Ему хотелось скорей повернуть за каменистый выступ, а там – взобраться на холм, заросший приземистой караганой. И не ради коровы, но чтобы душу проветрить!

9

Вдруг где-то близко послышался гул копыт. Невнятный, с частыми остановками!..

Вскоре мимо них пробежали четыре молодые коровы, задрав рыжие хвосты. Увидев людей, они остановились, моргая лохматыми ресничками.

– Дашка! – узнала Надя свою телку.

Две сестры-телушки Маша и Даша, выросли на их дворе. Потом коров продали в разные подворья, но они не хотели расставаться: то к одной хозяйке приходили вдвоем с пастбища, то к другой.

У многих хозяев коровы паслись сами по себе, и бывало, что не возвращались к вечерней дойке, ночуя где-нибудь в дальних балках. Потом находились.

Телушка Даша мотнула головой, стряхивая травинку с ушей и какую-то обиду на бывшую хозяйку. Потом бросилась вскачь догонять подружек.

На жнивье сходил иней, и от яркой желтизны соломы стало теплее.

Все чаще выглядывало солнце из-за туч. Туман уминался в распадки, где хоронился еще утренний сумрак.

– Найдется Зорька-то! – сказал Вася, ощущая вязкую тишину гор, сдавливающую голос.

– Охрип, что ли?

– Иди домой. Может, пришла она…

– А ты?

– Дойду до Сопливого лога.

Теперь Надя согласилась легко. Она пошла по дороге так, будто вспомнила что-то важное. Вася прислонился к стволу березы и смотрел ей вслед: жена покачивала крутыми бедрами так, будто утягивала за собой вниз и эти поля, и березы, и молодой сосняк. Холмы в метель ходят также – плавно и немыслимо!

Вот жена остановилась.

Неизвестно откуда, поздней осенью, попались ей какие-то цветы. Мелькнул в руке сиреневый букет. И даже то, как несла Надя цветы – было удивительно! Будто они не заметили даже, что растут уже не в почве, а из ее ладони. Жена опять склонилась над замшелыми камнями,

затем чуть присела, разглядывая что-то неизвестное для себя.

Вася отвлекся и не заметил, как она исчезла в низине, за черемухой. И лишь мелькнула белая куртка в другом краю перелеска. Затем показалась на краю склона, просвеченная лучами солнца на фоне кривых берез. Странная отрешенность жены на лесной дороге вносила сумятицу в чувства мужа. Он и рвался уйти дальше в тайгу и не хотел упускать Надю из виду.

И вот что еще удивляло Василия: сам он хотел слиться с горами, затеряться среди склонов, даже тень свою путал с тенью облаков. А Надя, наоборот, неизменно выделялась и на яркой поляне и в тенистой роще. Подобно тому, как появляются белые буруны на гребнях волн в предвестии шторма. Может, не так грозно, но – главное! – поэтично, как желала сейчас его душа.

Потеряв жену из виду окончательно, он ощутил в душе утрату, как утром перед пустым загоном: «Как птица весною ищет гнезда, ищу я тоскливо глазами тебя…».

Вася напряг зрение, вглядываясь в подтеки черной смолы на белесых скалах, будто на камнях начертались стихи, звучавшие в нем.

И расстались-то часа на два, а уже представлялось, как подходя к усадьбе, отыщет жену: то ли в огороде, над грядкой моркови, в зеленом мамином платке, то ли в зарослях алычи, с бидончиком на животе, примотанным ремнем мужа. А может, мелькнет тень за стогом, и оттуда почувствует он родной запах. Земляничный! Еще с той поры, когда целовались и собирали они на острове неспелую ягоду.

10

Дорога спустилась к балке, сырой и тенистой. По ее крутым склонам летом косили сено, заполняя лог духом сомлевшей травы. Сейчас здесь пахло грибами и осенней прелостью.

На дне овражка блестел ручей голубыми пятнами, а в жирной грязи виднелись свежие оттиски копыт.

Выбравшись из оврага, ручеек щурился на солнце, вжимаясь в складки меж холмов; рыжая песчаная дорога

пересекала его неохотно, расплываясь и утопая в темной жиже. Заметно было, что стадо коров недавно перемесило ручей, и он с трудом сочился поверх грязи, пробуя нащупать новое русло.

Трава по берегам ручья была еще зеленая: сама себя заплетавшая в широкие косицы. А еще она ловила путника за ноги, будто звала присесть, послушать бульканье родниковой воды.

Но Вася останавливаться не хотел.

Дорога поднялась на холм, петляя меж кустов чапыжника, ныряла под ухабы, теряя рыжие колеи, и опять появлялась с клочками оброненного сена на вышарканных в траве полосах – настырная и одинокая.

Вася остановился и прислушался. Где-то вдали, будто с небес, послышался ему звон колокольцев.

Это было его любимое место. Потому что здесь паслись кони!

Вот они – далеко видны на бледно-желтом склоне – табун коней темной масти. Плавно машут гривами: то ли дожидаясь полной тишины, то ли ответного звука.

Где-то за ручьем, отозвались им колокольчики другого табуна.

Теперь звон слышался отовсюду, переливаясь по всем лощинам и полям, словно неспешно пасущиеся лошади обзванивали на своем пути каждый изгиб, выступ или впадину окрестных гор.

Вася умел различать множество оттенков колокольчиков. Иной звучал тяжело, с глухим чугунковым стуком. Другой – певуче, с двойным или тройным увесистым перезвоном. Иногда ему казалось при виде коней, что он сам превращается в какой-то хриплый надтреснутый колокольчик…

Завидев человека, лошади насторожились и выставили волнорезом против ветра длинные тонкие морды. Они видели в нем чужака, зябко кутая упругие шеи в черные реющие гривы.

Даже колокольчики смолкли.

Вот беспокойно дрогнула кожа на шее вожака. Вася почувствовал, что у него тоже дернулась какая-то жилка

выше ключицы. Оборотившись спиной и обмякнув плечами, он пошел прочь от коней, вслушиваясь в их недоверчивое фырканье. Будто в медленном танце: то приближался к табуну, постукивая пятками, то удалялся, оттянув назад руки, мысленно ухватив коней за поводы. Нет, не украсть хотел, не спугнуть. Хотелось быть своим для этих гордых животных!

Лошадь для него, что библейский таймень для первого алтайца!

Но табун не пошел за ним: чужой он! Давно уже чужой себе и жизни предков.

Вася поднял лицо к небу: верховой ветер тащил прочь от солнца, на невидимом аркане, стаю низких облаков.

Свистнул, что было сил! С отчаянием и обидой.

Табун выслушал его… Потом рванулся с места и пошел наискось по лощине, поднимая за собой серебристую пыль.

Гул от копыт покатился впереди коней, раскачивая горы!.. Не заметно даже мельканье ног – так легко и проворно отталкивались они от земли!

С детства Вася путался, отвечая отцу: сколько ног у бегущей лошади? Ему и сейчас-то не сосчитать!

Громадные увальни-облака медленно тронулись вслед табуну, пытаясь накрыть его своей мглистой тенью. Следуя азарту небесной погони, облака рвались от усердия. Серые лохмотья цеплялись за синие вершины гор, оставляя на них мутные всполохи, подобно тем снежным вихрям, что клубились по жнивью под ударами копыт…

На рваной линии между светом и тенью казалось, что лошади отрывались от умолкшей земли и взмывали в снежной пыли, как на белых крыльях!

На свадьбу отец подарил Васе коня. С именным тавром на правом бедре, изображающий кувшин с двумя круглыми ручками.

Прошло двадцать лет: нет уж отца, нет и коня…

Долго еще глядел Вася вслед уходящему табуну, повторяя мысленно алтайскую мудрость:

– Конь был – дорогу знал, отец был – народ знал!

11

Табун унесся за горный отрог. Также быстро – как годы его жизни…

Совсем недавно отвезли его мальчиком со стойбища в большую деревню: учиться. Интернат располагался на берегу речки, очень похожей на тот ручей, где стоял аил отца. Вася быстро освоил грамоту, чтобы посылать письма. Детские буквы в его конвертах напоминали беспокойную птицу трясогузку. Если она сидела на ветке, то остроконечные крылья складывались буквой «у», а если распушит хвост на камне – то буква «ж». Когда же начинала прыгать перевертышем у ручья – то отражалась в воде всем алфавитом!

В первый месяц в интернате Вася сильно заболел, по телу вылезли огромные чирьи. Врач залепляла их вонючей мазью. Но вскоре приехал отец и забрал сына. Дома он привязывал к чирьям горячий творог, который вкусно пахнул коровой; прикладывал серу лиственницы – и мальчик чувствовал силу тайги; а размоченная змеиная кожа напомнила ему весну, зеленые камни и мясистые цветы молодила.

В интернате Вася научился играть в футбол. На поле, заросшем густой травой, быстрее других находил мяч, словно гнездо птицы, и легко угадывал подходы к лужайке перед воротами.

Однажды после игры к нему подошла русская девочка: «Ты хорошо играешь! Хочу с тобой дружить!..». Вечером они сидели у реки, на бревне. Вася рассказывал ей про стойбище, про любимую собаку, которая начинает радостно скулить еще до его появления из-за пригорка, а он нарочно хлестал прутом по кустам ивы, чтобы пес услышал его как можно раньше. Но девочке было скучно, она как-то умело направила взгляд Васи мимо родного стойбища на ее незнакомую шею, ухо и белую щеку. Вася чувствовал, что должен сделать сейчас что-то взрослое. Он выслеживал в себе это чувство, вернее, юношескую оторопь по всему телу; потом уткнулся во что-то случайное – сливочную щеку, с позором ощущая свой холодный нос:

– Украду тебя и увезу в зеленый аил!

– Вот еще!

На девичьем пальце он заметил колечко-недельку:

– Только приготовь себе медные кольца!

Девушка засмеялась, широко раскрыв глаза:

– Останется след…

Так и осталась в памяти убежавшей косулей, в тот миг, когда трава мягко сходилась, скрывая белый хвостик, скребли жесткие брюшки глазастые кузнечики, а звуки от реки казались непривычно-болтливыми…

В институте Вася прослыл душою курса за свое умение создать атмосферу праздника. Перед состязаниями по стрельбе из лука он обкуривал можжевельником-арчином – снаряжение, как это делали его предки перед охотой. И даже тренер не возражал этому ритуалу.

В летние каникулы работал на турбазе инструктором: водил по горам туристов со всего Союза. Тропы его были самые легкие, рюкзаки самые покладистые, палатки самые уютные, а команду «Привал!», скидывая рюкзак, говорил так, что крылья расправлялись на уставшей спине! Вечером у костра – песни под гитару, счастливые лица, луна в зазубринах гор.

Это время так и осталось в памяти: законсервированное и вкусное, как тушенка тех лет!

Только со временем, особенно в конце сезона, стало охватывать его странное чувство тоски. Горы оставались, и были по-прежнему родными. Но душа все больше уставала от расставаний.

Возвращался он домой с грустью в тугих черных глазах. А письма, которые писал у раскрытого в тайгу окна и затем посылал в разные города огромной страны, только усиливали чувство потерянности. (Теперь его сын испытывает подобное.)

Отец первым заметил неладное с Васей: привел молодого коня под уздцы, приготовив подарок на свадьбу.

По его воле все и случилось. Жил Вася счастливо, забыв кочевой рюкзак. И только один груз никогда не мог сбросить – тот, что зовется любовью.

Сколько раз предлагал жене: поехали к морю, понежимся! Так, нет, мол, на кого хозяйство оставим? Вон корова и та поняла…

12

Дорога спустилась в лог на краю деревни. Здесь, в уютной низине, поросшей соснячком и вербами, покорно умялось сельское кладбище. В горных деревнях кладбища располагают на неудобице – на земле, непригодной для пашни. В том была особая неприхотливость предков, а посаженные деревья над могилами скрывали глубину распадка.

Рядом с кладбищенской оградой возвышался высокий крест из нового бруса. Это место – под будущую часовню – огородили жердями. Но там все равно паслись овцы, с какой-то благочестивой сиротливостью, будто ожидая своего библейского пастуха.

Возле креста выросла хвойная троица – пушистый кедр в центре, светлая сосна, с одной стороны и остроконечная темная пихта – с другой.

Вася остановился перед кедром, примеривая на него образ Христа. А вот кто отец, а кто дух – каждый раз сомневался. Рассуждал так: сосна – родственник кедра, а вот пихта – не росла в здешних краях, и занесена семечком с Катуни. Ветром или Святым Духом. И все же окончательно не решался поименовать хвойную троицу, оставляя до времени. Чтобы приходить к зеленому алтарю вновь с загадкой в душе.

По Чуйскому тракту неслись машины. Надсадно ревели на подъемах и шуршали колесами на спусках. От асфальта шибал в нос запах старой подошвы.

Заскрипели усталые тормоза. Остановилась машина, заляпанная грязью. Поплыло вниз мутное стекло, выпуская из салона затхлую смесь запахов пива, пота и женских духов:

– Семинский перевал скоро будет?

– Сто километров, – ответил Вася.

Распахнулись дверцы. Туристы вываливались на свежий воздух, как сомлевший холодец из формочки:

– А ближе нету?

Пузатенький мужик в майке, задранной на пузе, как у младенца, чесал локоть. У другого туриста на голых ногах

болтались сандалии со спутанными лямками, похожие на раздавленного паука.

Вася всегда рад помочь:

– Маральник есть недалеко.

– Как проехать?

– Три километра за деревней, – показал рукой, загнув ладонь. – И направо в горы. Там есть вывеска!

«Холодцы» переспрашивали несколько раз и все больше таяли на солнце, потом уминались обратно в салон машины. Голое плечо дамы на переднем сиденье торчало отдельно – как зубок чеснока.

Водитель вяло кивал, не глядя на распадок, куда показывали ему. В глазах тягучая муть: опять те же горы! и все та же сизая дымка чистейшего воздуха, что так нещадно скрадывает расстояния.

– Там смотрите! – предупредил Вася напоследок, – под горой болотина будет!

– Спасибо, – дама с опаской потрогала свои запыленные волосы. Тонкие пальцы уткнулись в больной висок. – Болотины нам еще не хватало!..

Машина рванула с места, кутаясь в сизый привычный дым. А Вася пошел дальше.

13

Пройдя немного, остановился возле забора с плакатом: «Дом, баня, отдых».

Окликнула хозяйка усадьбы Зина – полная белолицая женщина с нездешне широким разрезом глаз и нездешне глубоким вырезом платья на груди:

– Чего там спрашивали?

– Дорогу. А ты клиентов высматриваешь?

– Ага, – ответила толстушка весело, не по-деревенски поспешно.

– Вон, лови! – кивнул Вася вслед машине.

Зина махнула рукой:

– И с ними морока, и без них – маета!..

Теперь в деревне многие заманивают туристов: во дворе – плитка, фонарики, ручеек камнями обложен! Домики – как скворечники.

– Вчера с одним клиентом до Семинского перевала каталась! – Зина показала на кургузый джип, стоящий в ограде.

– Сватал, что ли?

– Да подь ты! – засмеялась женщина, сводя ладони на груди розовым треугольником. – Мужик богатый, но квёлый. Третий раз у меня останавливается. А вчера вдруг говорит, поехали, мол, покажу чего-то! Думала, рядом. А он на весь день! Хоть бы платье хорошее надела!..

– Ну, вернул же?

– Что ты меня разглядываешь, как инвентарь какой-то?

– Да гляжу, не убыло ли где!..

– Что мне станется.

– А мужик чего?

– Всю дорогу важничал, про свою работу хвастал: и фабрики у него, и пароходы! А поговорить, вишь, не с кем! Аж укачало от нудятины… Приехала домой вся, – она опять засмеялась, подбирая словцо по приличнее, – вся… умотанная!

– Да, вижу, не вся!

Эти слова чем-то задели одинокое сердце Зины:

– Прокатилась, блин…

Чтобы не впадать в дальнейшее сочувствие, Вася потрогал рукой заборчик из досок, словно шрапнелью простреленный короедом. Покосившееся звено висело на одном большом гвозде:

– Поправить бы надо заборчик!

Зина всколыхнулась своим большим кувшинным телом:

– Тут у туристки давление поднялось! Дочка за фельдшером бегала.

Затем поглядела на забор и добавила:

– А чтобы меня раскочегарить, не такой мужик нужен!

В ограде перед домиками туристов светился проплешинами скошенный газон. Вася подумал про себя: куда они траву девают? Ведь не держат скотину.

– А у меня корова ушла с ночи, – шаркнул ладонью по гнилым доскам. И улыбнулся, чуть виновато. – Тоже забор подвел!

Хозяйка корчмы засмеялась, чуть наклонившись вперед, еще сильней открывая на груди заманчивый вырез:

– Ты ж знаешь, мы без мужиков живем! Кого заманим – тот и работник!

Главой села Василия выбирали недавно, сманив из школы. Хотя жена и теща были против – доброму человеку трудно во власти. В каждом доме норовят стопку поднести! Да и спрашивают с хорошего человека с особым пристрастием: мол, не подведи, надеемся. На себя рукой махнули, а на него клин наладили.

Уже отойдя от Зины, услышал вдогонку:

– Тебя просить не будем, начальство побережем!

14

А еще в хорошем человеке всегда ищут червоточину. Взять хоть Машу Шустую, вот она на крыльце с бутылкой пива. Издали увидела, перегнулась через перила: иди, мол, похмелись! Знает, что вчера Вася с прорабом выпили перед баней.

Домик Маши покосился и сполз одним углом к речке. Многие алтайские семьи ставят аил в ограде, как летняя кухня у русских соседей. А у Маши только сарай, и тот похож на футбольные ворота.

Вася подошел к родственнице. Запутался ногами в густых зарослях полыни:

– Просил же тебя скосить возле забора!

– А ты своих коров привяжи тута. У вас их много! – Маша одернула зацепившуюся юбку.

– Фу, ты...

Наступил ногой на бутылку в траве.

Но про корову говорить не стал. Потому что у него пять коров, а у Маши только куры. Да и тех весной взял цыплятами старший сын, и теперь они живут где придется: в собачьей будке, в дровах, под ржавым ковшом от трактора. Мальчик один знает все куриные схроны, сам достает из них яйца и продает туристам.

Вася, оглядел неубранные тыквы, лежавшие яркими шарами по огородному склону:

– К вечеру снег пойдет.

– И пойдет, а мы не побежим! – затхлым прибоем качнулась пена в бутылке.

На крыльцо выплыл Саня, ее муж: маленький рыхлый мужик, с серебристой соломой в черных всклокоченных волосах. Выморщив тусклые глазки из влажных опухших век, он поспешнно кивнул родственнику. Вернее, обрадовался случаю высказать все, что отсырело на душе:

– Михалыч! Как же так? – поглядел на затылок жены, но не найдя поддержки, наддал в голосе. – Дали нам деляну?.. Да. Дали?

– Дали.

– А где?.. Где дали-то?

– Где?

– Аж за Сопливым логом!

Саня кивнул в сторону огорода, где сейчас возились его ребятишки:

– Мне, как многодетному отцу дали!

Он подумал, и уточнил, горько:

– Чтобы я отстал от вас!.. Чтобы вы там свои делишки могли дальше спокойно крутить-мутить!..

Вася тоже посмотрел на ребятишек: коровы нет, а детей – пятеро! Дом, правда, маленький. Кухня да светелка! Как волшебная шкатулка: внешне невзрачная, а откроешь – словно бархат от детских голов, да алмазы от их глаз.

Со школы у него осталось: виноватость перед детьми из бедных семей.

А Саня почувствовал слабину:

– Да оттуда, из Сопливого лога, на тракторе только вывезешь! Еслив не на себе...

Жена отвернулась.

– И где у меня трактор? – спросил муж, не то чтобы дивясь даже, а как-то заранее оскорбившись.

– Найди, – посоветовал Вася, отходя от крыльца. – Вон у соседа трактор есть!.. Если денег нет, сено ему скирдуй.

– Мне? – удивился Саня и потянулся к бутылке, оставленной на перилах.

– Не тронь! – Маша замахнулась на него. – Многодетный ты мой…

Выпила, поморщилась:

– Слезами что ли накапал?..

Смешав сухотную тоску с похмельной гордостью, мужик кивнул в сторону огорода: «Да! Вон они, мои медальки-то… кругленькие!..»

Смех и возня: дети спускали вниз рыжие тыквы.

Стоя на верху, они высматривали каждый раз новый путь, чтобы тыквы скатились до самого низа. Но тяжелые ядра все равно попадали в ямки или в густую траву, останавливаясь посреди склона, а летящие следом снаряды разбивали их в ярко-оранжевые сочные дребезги.

«Кегельбан! – крикнула Маша. – А ну-ка, сынок, кидай мне!»

Она поставила ногу на стул, словно воткнула носок в стремя. Затем прицельно вытянула руки. Мальчишка впился глазами в лицо матери, прижимая к груди маленькую тыкву. В глазах сомнение, слишком большое расстояние.

– Кидай, не бойся! – подзадоривала мать.

Ее прабабки сражались на равных с богатырями, покидая родные улусы в поисках счастья. Часто в алтайских легендах женщины-воины оказывались сильней мужчин!

– Лови!..

Кинула что-то в сторону Васи, он успел разглядеть ее маленькие смуглые ладони. Но поймал воображаемую тыкву, дивясь тому, как его мысль о давних подвигах алтайских женщин воплотилась в реальность.

Маша смеялась и была хороша. Черные глаза светились заносчиво и как-то по-детски счастливо.

Лицо почти без морщин, мореное той особой природной выдержкой, что держит до поры, а потом резко топит накопившимися годами. Подобной выдержкой каменеет древесина лиственницы, долго лежавшая в воде.

Алтайские женщины – не восточные женщины! Они упрямы и своевольны. Они никогда не знали рабства.

15

Небо подернулось сизой дымкой. Теперь легче было смотреть на яркое солнце.

По северным склонам гор пушистые сосны откидывали синие тени. Они резко выделялись на чистом снегу.

Но чем ближе к вершине, тем становились они голубее и мутнее. А на самом гребне и вовсе терялись, сливаясь с белесым туманом.

Недалеко от магазина Вася встретил «звездного мальчика» Сему, в костюме серебристого цвета и белой рубашке. Его сверстники пошли нынче в первый класс.

На улице зябко, дул сырой ветер, а Сема шел мелким шагом и будто не чувствовал холода, удивляя телесной закалкой, которая передавалась каким-то образом и его странной душе.

За несколько шагов Сема остановился, внимательно посмотрел на Васю, даже строго, будто застал врасплох:

– Дай денюшку, – протянул мальчик крепкую загорелую ладонь.

Вася подошел и погладил его по стриженой голове, ощутив пальцами влажные жесткие волосы.

– Да-ай! – громко повторил Сема с тревожной птичьей интонацией.

Алтайцы верят, что за потерявшего разум человека должны «дать выкуп» его родные. Отец Семы сидел в тюрьме, мать ездила недавно на свидание, вернулась беременной…

Вася хотел спросить, не холодно ли ему, но остерегся. А вдруг это удивит или расстроит «звездного мальчика»?

Светило солнце, но рядом с ним чувствовались сумерки. Смутно различались горы. Терялась улица, и как-то ненужно, даже опасно, словно битое стекло, блестели настороженные окна домов.

Вася порылся в кармане и вынул пятачок, с досадой на себя, оттого что не может проникнуть в странный мир мальчика.

Получив денюшку, Сема долго разглядывал монетку, клоня голову на бок с какой-то куриной внимательностью и высокомерностью. Странные потемки сгущались. Хотелось скорее пойти дальше. С суеверной опаской попытаться вникнуть в свое ощущение жизни, – а нет ли пробоины и в моем разуме?

– Пойду я, – произнес Вася медленно и раздельно. – Надо корову искать… Корова ушла…

«Корову!» – эхом повторил Сема, радостно принимая знакомый звук.

Он отвернулся, глядя в сторону острова, и Вася быстро шагнул прочь, стыдясь и боясь того, как поглядит ему вслед «звездный мальчик». Ведь неизвестно же, отчего и на ком может прозреть взгляд блаженного.

16

От яркого солнечного блеска снежные вершины отливали цветом слоновой кости. Кудлатый туман скапливался у подножий и медленно поднимался тонкими струйками по отрогам – всякий раз, когда наплывали на солнце тучи.

Вася почти догадался, где искать корову. Но решил не говорить пока даже жене. Потому что не сможет объяснить причину своей догадки.

В таком случае он шел к теще.

Низенький домик ее стоял на берегу ручья, в густой листве сирени и яблонь. Рыжий мох на темной полосатой крыше придавал домику схожесть с колорадским жуком на картофельной ботве.

– Здорово, Кондратьевна! – Вася здоровался с тещей издали.

Сухонькая шустрая старушка стояла на крыльце под навесом из старого шифера, ставшего пегим от голубиного помета:

– Что, корова сбёгла? – остро глянула сквозь толстые очки в хлипкой оправе.

На плечах у нее сидел рыжий кот.

– Прыгай, гутарю! – тряхнула плечом. – Нет. Не хочет, барин, лапы марать!..

Вася потер ухо и сморщился:

– Налей грушовки, – не любил он говорить с тещей на трезвую или больную голову.

– С утра уже?..

Скинув кота, старушка пошла в дом. Зятя не приглашала, мол, и так зайдет.

В доме привычный полумрак; Вася уселся на табурет возле маленького кухонного окна.

– Зажги свет-то.

– А тебе коголь усматривать?

Теща была экономной во всем; да и угощать не торопилась.

Тянула душу:

– Стопку, поди, и так различишь!

Вася опять потер ухо.

– Голову продуло, – поморщился он от запаха старого жилья, – токает что-то!

– А не ходи комачом!

Кондратьевна скрипнула дверцей шкафа:

– Возьми вот, натрись. Тройной одеколон!

Вася пожал плечами, вспомнив отцовский рецепт: скрутить воронкой промасленную бумагу, вставить в ухо и поджечь! Но чтобы не перечить теще, принял благодарно из жилистых рук флакон с замасленной этикеткой, пахнувший укропом и пижмой.

17

Тещин дом был доверху набит всяким старьем. Ржавые замки без дужки и без ключей. Чугунные утюги, словно броненосцы на рейде. Сломанный телевизор, в пыльном чреве которого все же тлели, как угольки, какие-то лампочки и мигали обморочные пятна на экране. Под кроватью лежали проржавевшие дырявые кастрюли, похожие на шлемы тевтонских рыцарей из-за оторванных крученых ручек. На тумбочке стояли магазинные весы с красными уточками, клевавшие носами порознь. А рядом с ними выстроились по росту с изящным блеском металлические гирьки.

Всю жизнь она работала продавцом в магазине. Никого не обманула, а вот личного счастья отвесить – не сыскалось даже малой гирьки!

Теща с жалостью глядела на одеколон, смотри, мол, не выпей:

– Снег вот-вот ляжет, а стожок из дальнего лога так и не вывезли!

– Коня вот, одолжу на ферме, так и вывезем, – привычно оправдывался зять.

– А ты и рад с утра к стопке!

Тещин голос, как недолгое похмелье, погудит и отпустит.

Кондратьевна нацедила банку розовой настойки. Поставила два стаканчика.

Тоже душа озябла:

– Не подкатывайся! Кажный раз на коня валишь… Ты начальник или хто? Возьми трактор!

– Вот ведь как! – попытался угодить ей зять, выпив угощение, – груша кислая, а винцо сладенькое!

– Ее резать надо и сушить, – охотно подсказала теща, – тада она вкус набирает.

Она тоже выпила через сжатые губы. Повеселела, чуть поправив на голове старый мохеровый берет.

– Жениха-то, поди, хорошим винцом угощала? – намекнул Вася на недавнее сватовство.

Из соседней деревни приезжал к ней свататься один дедок. Они, оказывается, в юности знавались.

Теща засмеялась, склонив немного голову, будто виноватая в чем-то, но и довольная тем:

– Жених-то, молодой! – как сушеные груши, зарделись щеки. – Да пахнет от него старьем!..

– Уж ты учуяла, – засомневался зять, украдкой оглядывая залежи жуткого хлама.

– От меня тож не сиропом, – согласилась теща.

Но гнула свое:

– Неуклюжий какой-то стал! Пошел по избе, взбуровил все мои половички!

– Что уж, еле ходит?

Она встрепенулась:

– Я-то как ласточка летаю в своей пещерке... А от него синильной кислотой воняет!

Чем воняло у тещи, Вася говорить не стал.

– Значит, не понравился жених! – запустил разговор по второму кругу.

– Да верно гутарят: кто на старости переедет на другое место, долго не проживет!

Она помолчала скорбно, мол, одной тоже трудно. Но опять улыбнулась, вспоминая сватовство:

– В подарок привез две конфетки! Сухие такие… с каменного веку, наверно! Я их таджикам отдала.

За огородом, под навесом дымился костер. Рабочие-строители варили обед и громко смеялись молодыми сильными голосами.

– Вижу, картошки дала им прошлогодней! – подивился Вася тещиной доброте.

Старушка нахмурилась:

– Ох, и надоели они мне! Галдят уж больно! До чего ж болтливы, у нас бабы у колодца не такие говорливые!

– Зато и деньги получаешь с них, – потянулся зять к розовой банке.

– Копила-копила, – подставила теща и свою стопку. – А помру, так ты даже выкидывать ничего не станешь! Сравняешь бульдозером, как мусорную кучу!

Сквозь толстые мутные линзы проступили, с какой-то мгновенной ясностью, ее голубые сметливые глаза.

Вася махнул рукой:

– Да живи ты!.. Кто ж на зароде стоять-то будет?

Кондратьевна выпила, засмеялась хрупким девичьим смехом:

– Жених-то, как дрова мои увидел, так и говорит: мол, заберем их! Значит, дело, остальное все бросим!..

Вася обнял ее, чувствуя, как вздрагивают худенькие плечи под старой кофтой, пахнущей змеиным ядом:

– Нечего! Не отдадим тебя…

– А мне и семидесяти еще нет! – отпихивалась теща. – Что ты меня в древнухи-то записал?

– Тьфу, ты черт! – Вася покрутил в руке пустой стаканчик. – Опять не угодил.

18

Слегка саданув его в плечо кулачком, теща ласково сощурилась, довольная своей строгостью. (А было время – когда дочь за него выдавала, – то впивалась в зятя глазами как-то даже ужалисто!)

Сколь силы еще в ней! На зароде – стоге сена – ей до сих пор замены нет. Легкая и шустрая, только и мелькает вилами, укладывая новые пласты, что накидывали ей снизу зять, дочь и внук. Конечно, жалуется потом на спину.

Сейчас уже все добрые хозяева тракторами косят, а они все по старинке – вручную! Потому что Кондратьевна не сдается. На покосе бегает в гору и с горы, как девчонка, – валки переворачивает для просушки, потом сено сгребает и таскает к стожку. Иной раз только спустится в балку к роднику, чтобы рассказать внукам: какая вкусная была здесь вода в ее детстве!

Вспомнив летний покос, они выпили еще, отгоняя ладонью мух от сладеньких стаканов. В такие минуты Кондратьевна вспоминала своего покойного супруга:

– Я как мужа схоронила, так и жить-то начала!

Муж был шофером, и нрава буйного.

– Слава Богу, прибрал его… Боялась, страсть! У его в кажной деревне бабенка имелась. А как приезжал из рейсу, так и гонял меня! То ли те шибче любили, то ли сына родить ему сулили!.. Мы даже в лес от него бегали с дочками, прятались.

– Так уж и управы не было? – сочувствовал зять.

– Случалось!

Теща неожиданно зашлась в кашле, сотрясаясь сухой грудью. Потом сказала с легким сердцем:

– Баню раз стопили. А Надюха твоя, бедовая была девчонка, прокралась в баню-то и натерла полок жгучим перцем!..

Старушка поерзала на табурете, изображая мужа на полке. И будто сама потихоньку к нему присела.

– Да, вот так и жили-пожили, щастье удили! А только девок наплодили…

Женился Вася на младшей дочери и не сразу понял, что взял в приданое несчастливую долю чужой семьи. Молод был – подтрунивал, сильным был – успокаивал. С годами устал – просто соглашался.

Но на судьбу никогда не пенял.

– Не было мне счастья с детства, – углубилась старушка в прожитую жизнь, сметая крошки со стола в ладонь. – Отец от нас ушел, када я маленькой была! Завел другую семью и бросил нас, папка-то! Только брата и взял с собой. Зажиточный был, кузнецом робил, пасеку свою имел… Мамка опосля попивать стала, своевольничать почём зря, на свободе-то спортилась…

В тишине избы скрипнула половица. Это рыжий кот прыгнул хозяйке на колени; потерся сухопарой мордой, метя слюнкой ее морщинистое запястье.

Теща всхлипнула, привычно не понимая всего того, что касалось отца:

– Да ты видел его этим летом, приезжал ко мне отец-то. Может, в последний раз виделись, старенький уж совсем! Волоски ерошутся на ветру, как из машины вылез… Брат подкатил, любо глядеть! Прощения у меня просил батька-то: мол, прости, Люба! Взял бы тогда к себе, можа, по-другому у тебя жизнь сложилось!..

19

Сказала грустно. Сжалась, потемнела, как прошлогодняя мерзлая картошка: дряблая снаружи и прозрачная внутри.

– Сейчас-то плохо, что ли? – спросил зять с добром.

Но нарвался:

– Сынок твой приходил уже с утра: дай, баба, грушовки похмелиться!

– Играет еще, – отмахнулся Вася.

– Вот и то-то, что тянется за тобой. Шайтан ты, сивый! Пять коров дёржут, бычков сдают, а возьмут и купят какую-то хрень – компютор!

– Пусть. Сыну надо.

Мохеровый берет тещи сбился на одно ухо, другое открылось и темнело густой старческой кровью.

– А Надя? – не унималась Кондратьевна. – Тыщу получает на почте, а по сто тыщь возит на велосипеде! А вдруг, кто позарится? – не дождавшись ответа, рассудила по своему. – Вот возьму топор и буду следом бегать!..

Еще немного, показалось вдруг Васе, и жаловаться начнут все вещи в доме: будто зябнут подошвы утюгов, заедает моль драповые пальто, скачет давление у полуживого телевизора, сырые коробки душит грудная жаба, головокружение у сломанного барометра.

Зять поднялся, ссутулился, нагнув седую голову раньше порога:

– Пойду я, Кондратьевна.

– И то, пора!

– Сына налажу корову поискать.

Теща поправила махеровый берет, взбив его, будто пышную прическу:

– А кто у тебя вчерась песни-то пел?

– Да с прорабом выпили малость, – тоскливо глянул зять на пустую банку.

– Хорошо поет! Тоскует… – рассудила по своему. – Городской. Нету ему тут схожести. Но уважительный. Кто поет – плохим не будет.

– Пойду я.

Вышли во двор.

Таджики-строители уже поели и мыли посуду в роднике.

– Собираются домой, поди? – кивнул зять на рабочих с юга. – Снег уж за горой.

Теща привыкла жаловаться на постояльцев, но все же любит их. Особенно Мишку, большеглазого и шустрого парня, похожего на цыгана: «Вот ведь, оглаеды, опять меня в раззор ввели!» – показала она рукой на тучную капусту.

В огороде у нее порядок, ботва убрана; лишь вдоль забора стоят в два ряда кочаны капусты на высоких бирюзовых ножках.

– У плетня-то не видать было! Кочаны большие, я хожу – издали радуюсь. А тут Мишка зовет: иди баба, поешь с нами шурпу. Я поела. Вкусно! С капустой, однако. Где взяли-то? – кивают хитро. А потом подошла близко, как глянула! – а кочаны-то подрезаны с тылу!.. Ах вы, окаянные! Ах вы, грабители!.. А Мишка, гадец такой, моргает глазами: мол, ничего, баба, ничего, отрастет!

Кондратьевна сжала сухонькие кулачки, обдавая зятя каким-то звонким и ерзающим на редких зубах смехом:

– Борода, говорю, у твоего шайтана отрастет!

Таджики сидели у костра и ласково кивали издали хозяйке, прикладывая ладони к груди.

Она тоже стала кивать, провожая зятя до калитки.

И уж было вернулась обратно, но увидела у ручья чужих коней. Паслись в низинке, на сочной травке.

– А-ну, гыть, воры! – крикнула старушка звонким фальцетом.

Даже таджики привстали, вытянув шеи.

Схватив прутик, Кондратьевна подбежала к лошадям, замахнулась, но отступила, все же побаивалась большого стреноженного мерина, неповоротливо отступающего к ручью. Почувствовав слабину, лошади остановились и даже потянули к старушке умные морды, вдыхая ноздрями сытный запах ее фартука.

– Ишь, вы, гривы нагнули, окаянные!..

В голове зятя всплыло опять: умру, мол, все бульдозером сравняешь… Он даже глянул мельком на усадьбу тещи, представляя на миг голую поляну и тропинку, по которой теща ходила за водой к ручью. Нет! Осиротеет деревня!

Отойдя уже далеко от калитки, Вася остановился и оглянулся еще раз: Кондратьевна прислонилась к заборчику, опираясь на хлипкий прутик, и хитро смотрела ему вслед, будто знала его мысли!

Она знала деревню как свою ладонь. И была ее частью – незаметной и неотъемлемой. Помнится, весной было, он заменил стойку под перила: сделал второпях, из сырой талины. А осенью теща первой заметила – что под стойкой вылезли крючковатые грибы, затекала дождевая вода.

Кодратьевна и сама была похожа на опенок с крыльца: такой же тонкий, согнутый в коленке, в желтой пятнистой шапочке набекрень.

20

Небо опять изменилось. Белесая дымка сошла, будто бы скаталась белым войлоком в крученые облака. Жидкие валки растянулись с запада на восток.

Снежные вершины сияли ярче; их ледяное дыхание не доходило еще до деревни. Слинявшие холмы и расчесанные инеем земляничные поляны курились последней осенней теплотой.

На другом краю деревни, на южном склоне, огражденном от холодных ветров двумя отрогами, располагался колхозный сад.

Раньше здесь росли яблони коренастые и невысокие, чтобы легче было снимать урожай и обрезать ветки. Те-

перь одичавшие деревья поднялись вверх и вширь, образовав дикую рощу.

Коричневая мелюзга ранеток бросала жидкую тень на дикую поросль. Из земли торчали седые камни, словно молчаливые сторожа на дорожках, посыпанных когда-то речным песком.

Брошенный сад жил своей жизнью: культурные яблони высоко поднимали свои последние сладкие плоды. Так мальчишки дразнят собак, держа угощение на вытянутой руке: пес прыгает, но озорник задирает руку еще выше и выше, пока не достанется пальцам от острых зубов.

Выделялись сломанные ветви с сухими листьями.

Окрестная тайга душила сад, отвоевывая свою исконную землю: меж рядов зеленели молодые сосенки, желтыми куполами выглядывали рослые березы, раздвигая белыми локтями хлипкие яблоньки.

Странное чувство от диких яблонь. Ничейный сад – это еще можно понять. Но бывший сад – этого не должно быть, как бывшей жены у алтайца…

21

Вдруг в кустах алычи затрещали ветки. Вася увидел свою корову…

Она брела меж рядов яблонь. За ней бежали три желто-розовые свинки с темными полосами вдоль спины. Корова высоко задирала голову, обслюнявливая ноздрями красное яблочко, и оно скатывалось по верхней губе в открытую пасть.

Тигровые свинки заводили под захрясший лоб шустрые глазки и заранее повизгивали, опасаясь соседства тяжелых копыт. Корова дергала ветку – мелкие яблочки падали на землю, свинки накрывали их большими розовыми ушами, и еще отталкивали друг дружку тощими задами.

Корова оказалась чужая…

Она ушла вглубь ряда, шелестя жухлыми листьями.

В саду всегда тихо.

Даже когда ветер гуляет по тайге, ветви яблонь остаются неподвижными. Словно берегут запах, наполняю-

щий сад в любое время года. Особенно весною во время цветения: в чем только жизнь держится – полусухой, изломанный, – а вот обнесет ветви белым облаком, и будто оторвет от земли! И даже зимой розовый иней на ветвях пахнет медовой кислинкой.

Такой же запах у Нади.

Удивительно, как этот сад напоминал Васе его русскую жену! Она была для него такой же нечаянной, цветущей и вечно ожидающей чего-то…

22

Сквозь заросли ивы козья тропка привела его к деревенскому стадиону, с деревянной аркой и надписью «Старт».

Ворота заросли бурьяном.

В прошлые года Вася косил траву на футбольном поле; сено, конечно же, забирал. Ну и пошла деревня чесать языками: мол, пользуется властью. С того и бросил, а поле заросло!

Возле стадиона гуляли школьники с учительницей.

Завидев бывшего директора, дети издали здоровались с ним, пытаясь сказать хором, получилось нестройно, но радостно. Так весной, от порыва ветра, обильно сыплются на голову белые лепестки!

Мальчики шли впереди, будто с неохотой: слегка насуплены, ладони спрятали в рукавах курток не по размеру, во взгляде какая-то прохладца и в тоже время растерянность.

Вася вглядывался в детские лица: лишь бы не от работы прятали руки! Вот подрастут, и сколь их уйдет из деревни, упрямых, ершистых! Сколько потеряется…

Учительница одета в желтую куртку и красные туфли, также ярко, как ее девчонки. Только что без косичек. С той же наивностью в глазах. И все же что-то куцее чувствовалось в ее улыбке.

А девочки пока еще домашние, нарядные: в белых бантах и фартуках, выглядывающих из-под курток. Они жмутся к учительнице и плывут по деревне робким цветочным островком. Только бы не облететь им слишком рано!..

И будто в подтверждении его мыслей, Вася заметил двух школьниц под мостом. Девочки прыгали с кочки на кочку, загнав в грязь какого-то мальчишку. А он кривил на губах что-то гаденькое: какое-то оскорбление, исподтишка, под шум реки.

Девчонки махали портфелями, но пацан уворачивался и болезненно повторял, уже сам не рад тому, что говорил. Видно было, что опасное слово раззудило его голову, как лишай. Заметив главу села, мальчик все же процедил: «Лесбиянки!» Чтобы Вася помог ему избавится от девчонок или от лишайного слова.

Школьницы стряхнули грязь с каблучков туфель, мол, ладно, только вернись!.. Так жены, на пороге дома, предупреждают своих беспутных мужиков.

Из ближайшей калитки слышался истошный лай. Свирепствовала маленькая собачка с розовым бантом на шее. Еще одна примета нынешнего времени – в деревне заводят мелких собак, вроде комнатных, городских, – лают они от страха, а едят гораздо меньше.

23

За мостом Вася встретил своего приятеля, прораба с острова. И сразу почувствовал сухость во рту. Должно быть, закончилось действие тещиной грушовки.

Прораб Семен Аркадьевич был его ровесник, сухощавый мужик, привыкший к кочевой жизни. В деревне его прозвали Пинеткой, потому что ходил носками внутрь, и даже в теплые дни носил зимние ботинки с широко откинутым меховым языком, что придавало им по-детски расхлябанный вид.

Вчера прораб приходил в баню, и теперь они сочувственно осматривали друг друга, узнавая похмельную маету.

– Ну, как ты?

В руках у Семена Аркадьевича кожаная папка, в ее швах забились мелкие опилки:

– В пределах допустимого!

Прораб достал из папки ручку и почесал ею спину за воротом куртки, вспомнив при этом, что вчера они так и не помылись.

– Зима, похоже, скоро! – произнес Вася, намекая на то, что скоро Семен уедет домой.

– Похоже, – прораб был не в духе.

– По льду-то скорее перейдем на остров, чем по мосту твоему!

– Снег пойдет, может быстрее шевелиться будут! – раздраженно сказал Семен Аркадьевич про своих рабочих.

Прожив здесь весну и лето, он уже сильно скучал по дому. В работе был тороплив, потому что каждый вбитый гвоздь приближал его встречу с семьей.

Но торопливых в деревне не любят.

– Снесет твой мост весной!

– Это почему же? – спросил прораб, не очень, правда, удивляясь и тем более расстраиваясь.

– Четыре прежних-то снесло…

– Посмотрим.

– Приедешь и увидишь! Может, новый начнешь…

Характер у речки был деревенский: тихий лишь до времени, но если разойдется, то будет крушить на своем пути все без разбора.

Зимой место строительства зальет водой: она пойдет из реки поверх льда и, к радости детей, остров превратится в каток.

– Ты мне скажи, – чесал спину прораб, – нужен деревне мост или нет?

– Нужен, но не здесь, – сообщил Вася, как давно решенное дело. – Тут место заповедное!

– А сено возить с того берега вам надо? – вздохнул Семен Аркадьевич, глядя на Чуйский тракт, по которому неслись машины в сторону его города.

24

Неспешно подошли к реке.

Посреди нее возвышалась железная опора, похожая на ржавый броненосец. Река глухо серчала на новую преграду: пенились волны на острие носа, крутились по бокам воронки. Зеленовато-прозрачные пласты воды разгонялись на отмели и с силой ударялись об корявое

железо. Содрогалась торчавшая вверху арматуру, а за кормой опоры вода расслаивалась желтыми мутными струями.

Приятели остановились, щурясь на солнечный блеск.

Только на душе у Васи было не спокойно. Тянуло ее куда-то, словно щепку на стремнину.

Берег усыпан сосновой корой. Смолистый дух смешивался с запахом речных отмелей и оттаявшей после заморозка травы. На зеленой пойме, меж двух родников, паслись телята. Оттопырив мохнатые уши, они глядели на людей ласково-гуманоидными глазами.

Вася вспомнил:

– У меня корова ушла!

– А у меня бригада пропала…

Из короткой трубы строительного вагончика шел дымок; низко стелился в русле реки и, провисшими сизыми клубами, уносился за поворот.

Скрипнула железная дверь. Молодой парень, с флюсом на красной щеке, сбегал к берегу, черпанув из реки закопченным ведром.

– Строят мост, – кивнул прораб на вагончик, откуда доносился крепкий мужской смех, – будто сами встанут вместо опор!

– Место такое, нехорошее …

– Чем?

– Здесь и так каждую весну ледовый затор.

– Берутся за одно, – не понял его Семен, – потом за другое! Ничего до конца не доводят!

– Может, плохо объясняешь!

Пинетка тряхнул папкой с чертежами:

– Да что непонятного-то?.. Зима скоро!

– Начальство в деревне не любят, – Вася придавил папку своей ладонью. – Вон, твои чертежи…

– В туалете нашел…

– Твои чертежи, – настаивал Вася, – тоже начальство!

– Да какой я начальник? – Семен поднял кусок арматуры и понес, косолапя, к мешкам с цементом. – Я им денег даю заработать.

– А сколь души взамен отнимешь!

Из желтой травы возвышался бетонный фундамент. На нем лежали свежие сосновые бревна ярко-охристого цвета с коричневыми жилками:

– С этого дома бригада ушла! – кивнул прораб. – Два венца положили и ушли!..

– Придут.

– И ведь не найдешь замену! Никто не пойдет на этот сруб! Все знают: Митька начал, его сруб не трогай!

– Не жадничай…

– Хоть ты тресни!

Прораб махнул рукой, потом взял прутик и стал хлестать по стеблям крапивы, жалившей его все лето:

– Пригрозил им, что платить частями не буду, отдам, когда всю работу сдадут. Так мне говорят: у нас, мол, вся конструкция собрана без гвоздя – придем и разберем все к хренам!..

Семен Аркадьевич выбрал чурку посуше и уселся, вытянув ноги.

– Вернутся они, – успокаивал Вася. – Сено свозят и придут.

– То покос, то корова потерялась. Захотят – придут, захотят – нет!

– Другая же бригада работает…

Мужик он хороший, но в ушах чужая пыль – слышит только свое:

– Бригадир на днях учудил, сел на пенек и вырезает какого-то духа моста. Мол, прилажу на перилах!.. А куда «прилажу», если прогоны еще не бросили?

– Теща про тебя сказала: хорошо, мол, поешь!

С реки подул холодный ветер, задирая светлую изнанку ивовых листьев. «А утром качались на волнах, – запел прораб, как-то легко попадая в свое вчерашнее состояние, – лишь щепки того вот моста!..»

Из вагончика вышел коренастый мужик с диковато-яркими белками глаз. Он держал в руке стамеску, проверяя ее остроту об темный, как старая набойка, ноготь.

– Иди вон, спроси бригадира, куда он домовенка лепит? – кивнул прораб, но уже не хмурился, а смотрел с интересом.

– Нет, – отказался Вася. – Надо корову искать… Да и жена, со вчерашнего еще, хмурнит!

Прораб махнул рукой.

Он так и остался сидеть у реки, на сосновой чурке: одинокий и чуждый рабочим и всей деревне.

А солнце светило, играла волна. На другом берегу прыгали тощие дикие норки.

Парень с флюсом шкурил сосновые бревна. Светло-коричневое лыко росилось молочной смолой и налипало на лезвие топора. Когда смолистые лохмотья накапливались, парень неспешно отирал их о торец бревна. Другой рабочий переворачивал обнаженные стволы: они глухо постанывали и скатывались под горку к фундаменту. А прорабу не хотелось верить, что бревна, по-щучьему велению, сами найдут будущие пазы, взберутся друг на дружку, поднимаясь в стенах дома. А может, сложатся как-то по-новому, какой-нибудь немыслимой винтовой башней. Недаром же столько лет они росли в тайге, размышляя о чем-то долгими осенними ночами.

Но эти думы знал лишь дух моста, живший в плену обрубка бревна.

Угрюмый бригадир обнимал его большими ладонями, и легонько выкорябывал стамеской благородную стружку. Должно быть, он чувствовал уже какое-то движение, вминаясь чуткими пальцами в кедровую плоть, будто принимал роды у рыжей чурки.

25

Надя стояла на крыльце с полотенцем в руках и протирала чашку, будто готовилась к празднику. Присмотрелся: ан нет! – в руках трепещется что-то живое. Жуланчик!.. Пучит черные глазки, будто семечки конопли!

– В ведро с молоком упала! – улыбалась жена. – Билась, билась. Ослабла! Вот теперь сушу!

Ошибся он с чашкой, но предчувствие праздника осталось:

– Синица в руках, – вспомнил Вася пословицу, – дело надежное!

Птица дыбилась мокрыми перьями и норовила ущипнуть клювом ладонь спасительницы.

В огороде прыгали на ботве другие синицы: ныряли под плети, выискивая мух. Вася хотел рассказать жене о своей догадке про корову, но передумал:

– Игорь-то спит?

– В сарае он!

– Пойду, поздороваюсь...

Дощатый сарай стоял в глубине усадьбы; из щелей под крышей сочился тонкий голубой дымок.

Сын сидел на диване, упершись взглядом в экран видика. В мангале шаяли вчерашние головешки.

Увидев отца, Игорь привстал и поспешно протянул ему бутылку с пивом, стараясь казаться взрослым:

– Будешь?

– Холодно сейчас для пива, – отмахнулся Вася, будто бы от едкого дыма.

– Нормально, – сын отхлебнул, тоже поспешно, и поставил бутылку на шаткий столик.

Сарай был завален рухлядью: старые велосипеды жены, на которых она возила почту, ободранный торшер с погнутым каркасом, ржавая стиральная машинка. А сын напоминал глупого скворца, что собрался вить гнездо осенью. Хотя все же какой-то странный уют, или точнее – покой, чувствовался среди этих вещей, отвергнутых, но еще таких привычных хозяйскому глазу.

– С пилорамы ушел? – спросил Вася, хотя и так знал.

– Не по мне.

– Понятно.

– Что тебе понятно?..

– Чем думаешь заняться?

– Работу буду искать, – потянулся сын за бутылкой.

Какой-то виноватый он по жизни: вот сейчас выпьет на копейку, а горечь в душе – на рубль!

– Постарайся.

– Я стараюсь, папа, – моргнул сын длинными ресницами. Как у мамы его!

– Что стараешься?

– Пойду завтра к дорожникам, спрошусь.

Присел на край дивана так, будто сейчас вскочит и за дело!

Отец кивнул на видик:

– Сделай тише, визжат как оглашенные!

Но Игорь уже переключился на экран, думая о чем-то своем. Видимо, о той женщине, что ждет вечером…

И все бы, закончить на том, прожить в мире еще полдня, в надежде на лучшее. Пойдет сынок завтра на дорожную насыпь, а там лопатами щебень кидают. Постоит, попинает мерзлые комки, закурить попросит и уйдет ни с чем.

– Зорька сбежала…

– Так и не нашли? – спросил без любопытства.

Отец хлопнул себя по коленям:

– Такие вот дела.

Сам виноват… Какое дело уготовил сыну? У самого работа странная: никого не трогать, никому не мешать. И уж непонятно – плохо это или хорошо, – но не вернуться ни ему, ни сыну к занятиям предков, когда в родовых стойбищах жизнь была привычной для всех поколений от младенца до старика.

Сын качал ногой под громкую музыку, и эти толчки доходили неприятной отдачей по дивану. Вася честно смотрел на экран, пытаясь угадать секрет притягательности визгливой певицы. Видимо, телом добирает!

На лице Игоря блуждала равнодушная улыбка. Сейчас отец уйдет, и он опять ляжет спать. Потому что так легче дождаться вечера, когда сбудется то, о чем кричит певица! Придет к нему тайно его бывшая учительница.

Вася понимал и сына, у которого нет здесь привычного общения, и молодую учительницу, которой трудно выйти замуж в деревне.

Уходя, он сказал, как бы невзначай:

– Всяко в жизни бывает, вот моя мать тоже была старше отца…

26

К своей свадьбе его будущая мать – семнадцатилетняя девушка – собрала почти сотню медных колец! Так было принято в алтайских улусах.

Младший брат ее жениха не был в числе кудаларов – тех, кто воровал невесту. Он помогал строить свадебный

аил. И получил от невесты в награду, как и все гости, одно медное колечко. Счастливая девушка стояла у входа в зеленую юрту и раздаривала кольца, приглашая на свадьбу.

Алтайцы искусны в свадебных напевах: «Как златолистая береза белая – не она ли, распустившая волосы по спине? Не моя ли это взятая, не моя ли это усмотренная, не она ли?..»

А через год ее муж погиб на охоте. Молодая женщина осталась жить в новой семье, смущая сердце пятнадцатилетнего юноши: по законам племени вдова могла перейти к младшему брату.

Так и случилось.

Отец Васи увез молодую вдову на дальнее стойбище. За три года он выкупил раздаренные невестой колечки и принес ей обратно. Семья хотела для младшего сына другую суженую: калым за невесту дают лишь однажды! Но сын настоял на своем. Он подал отцу кувшин, повязанный белым платком, со словами: «Мой брат украл дочь у родителей, а я жену – у судьбы!» И дивилась родня, и говорили: что раннюю мудрость он взял от любви!

Вскоре молодые вновь уехали из села, жили обособленно, словно стыдились своего счастья или берегли его от чужих глаз.

Прожили вместе сорок семь лет – ровно столько колечек выкупил отец.

27

Проходя мимо открытой двери в баню, Вася остановился. Заглянул в парную с чувством потери. Даже более обидной, чем уход коровы.

Здесь еще пахло вчерашним теплом. Стояли полные ведра с водой, на гвозде возле фонаря висело чистое полотенце…

Вася сам топил баню и воду брал только из родника. Заранее нарезал ветки из можжевельника, подвешивая их к потолку для запаха. А перед тем как позвать жену – стелил в предбаннике на лавке белый войлок.

Это была его зеленая юрта.

Так у алтайцев назывался свадебный аил. Ставили его из девяти тонких березок: сучки срубались, но оставляли на вершинке зеленую метелку из молодых веток.

В старину березовый остов покрывали берестою, позже – белым войлоком. Жених разводил огонь для очага с помощью трута и огнива. (Раскаленные голыши в каменке бани напоминали каменное огниво.)

Невеста стояла у двери юрты и дарила гостям медные колечки. Для таких подарков алтайские девочки начинали запасаться кольцами с раннего детства.

На лавке в парной прилип старый березовый листок. Вася вздрогнул, будто откроется сейчас дверь и войдет жена, повязав голову белым платком, прикрыв груди густыми косами. И все как обычно: сидя на полке, Надя перескажет деревенские новости. Если муж спорил или сомневался, она плескала на каменку, согласно кивая; и пар быстро мирил их.

Париться Вася не любил.

Просто терпел, как будто бы угодил в грозовой ливень, исхлеставший ему спину и плечи, или провалился в полынью, не различая еще: жар или холод вонзается в беззащитное тело?

За то нравилось ему смотреть, как темнели светло-каштановые косы жены, становясь мокрыми. Даже свивались медными кольцами! И уж совсем удивительным, непостижимым и почти священным казалось ему действие – когда жена начинала мыться!

У нее была особая мочалка: мягкая, сильно вышарканная, похожая на прошлогоднюю шкурку змеи. Распластав мочалку на колене, Надя размягчала ее водой и мылом. Затем по очереди теребила пальцы правой ноги, пропуская меж ними змеиную вехотку. Усердно и терпеливо шоркала ступню, шутливо постанывая; и особенно мягко обходила косточку ниже лодыжки. Поднимаясь по ноге, она выгибала смуглую икру, напрягая бедро; затем вминалась ладонью в чашу живота...

И все заново повторяла с мизинца левой ноги.

Вася складывал молитвенно руки, уронив свою мочалку на смуглые колени. Глаза щипало не от мыла и пота, но от жалости и любви.Как прекрасно она терзала себя!

Надя закручивала мочалку на запястье руки, поигрывая от удовольствия пальцами. А намылив косы, ласково отирала ими плечи, будто снимала недельную тяжесть.

Вся она, в оседающей пене, казалась мужу, будто утренняя вершина: когда озаренная солнцем, появляется из тумана ее невесомая трепетно-розовая плоть…

28

На круглом коврике под кухонным столом все еще дремал кот. Умаялся с ночи.

– Ну как он? – спросила Надя про сына.

– Одно на уме...

– Училка эта?

– Пусть дружит, – звякнул ложкой Вася, – может, настроится дальше учиться.

– Ты уж, прям, в невестки наметил!

– Его дело.

Как-то странно и очень быстро исчезла пена восхищения, что привиделась в бане.

Жена говорила так, будто и он был чем-то виноват:

– Сам-то что не женился на училке? Их в школе у тебя, как семечек в тыкве!

– Ну, поменьше! – ляпнул, пока Надя накладывала тушеную капусту в тарелку.

– Не хватило?

– Да где там…

Надя возмутилась:

– Из-за тебя пролила, вечно ты под руку!..

Всю жизнь ревновала его к школе. Но высказывала редко, со смешком. Просто хранила где-то глубоко. И любовь свою к мужу тоже хранила, как достаток в доме. Оттого и работала от зари до зари. А Вася никогда ничего не хранил и чувств никогда не утаивал.

– Ты ж меня как прижала, – он сделал вид, что до сих пор удивляется той встрече на тропинке. – Так и не рыпнулся больше… никуда!

– Ага, тебя прижмешь!

Вася встал и обнял жену:

– Ты-то всяко лучше!

Надя чуть отстранилась, показывая испачканные руки:

– Ну, не всяка! – повторила с легкой обидой, – вчера лучше была! (Это после бани.)

Она так и осталась для него девчонкой в ситцевом платье, потерявшей корову. Вася вздохнул глубоко. Будто сочувствуя, мол, не нашла золотую жилу женского счастья с ним. Тянет лямку наравне, а то и поболе.

Надя улыбнулась, но сказала серьезно:

– С прорабом пьешь, так хоть бы работу сыну поискал!

– Да там уж заканчивают.

– Говорил хоть?

– Были темы шире…

– Ага, мы-то узколобые! – послышались в голосе тещины нотки.

Вася резко поднялся и поцеловал жену в шею: атласная! Запах ее кожи – запах сада – вкус яблочной кислинки.

– Вчера была атласная, а сегодня – холщевая!

Опять напомнила о бане. У женщин все замешано на времени, как тесто на дрожжах. Если не случилось чего-то вовремя – не поднимется опара в нужную силу или вовсе сбежит…

– Скучает он один-то, – сказала о прорабе. И как-то странно вздохнула. Не жалеючи, а будто бы загадывая что-то про него.

Вася насторожился:

– Да, один сидит на острове.

– Надо его с моей сестрой познакомить.

– Зачем?

– А пусть к нам перебирается, – подобрела вдруг Надя.

Муж удивлялся все больше:

– Куда ты его… положишь?

– Вон летняя кухня стоит недостроенная.

– И что?

– Дал бы денег месяца за три, мы бы окна и двери вставили!

Вася посмотрел в окно, где из-за стога выглядывал маленький домик:

– Ну и чего он попрется туда? На скотном дворе – навоз нюхать!

– А что хорошего – в вагончике жить!.. Сестра в гости придет, она холостая, он – командировочный.

Вася вспомнил, что недавно еще хотел обрадовать жену своей догадкой. Но теперь угрюмое недоумение еще больше охладило его:

– И что?

– А то! Вчера под хмельком, вон как на мне взгляд-то гасил…

– Так ты задом крути больше, – вспомнил муж. – Расперло ее на ночь капусту рубить!

– Кого расперло-то? Давай, да давай: «по маленькой перед баней».

Вася гнул свое:

– Да еще встала так, задом: глядите-ка на нее!

– Взял бы да сам рубил! – обиделась жена, поняв, что замысел провалился.

– Ишь ты, – изумлялся Вася, – какую схему разработала! Долго думала-то?

– Всю ночь! Пока ты гужевал...

Опять к нему вернулось чувство похмельной тоски.

– Вот она деревенская хитрость: и не шита, и не крыта!

– А сам-то ты кто?

– Я сын чабана, – сжал кулак на груди. – У меня душа хитростей не выносит!..

За окном мелькнула чья-то голова. И слава богу! Оба поняли это и смолкли, ожидая когда откроется дверь.

Это дочь Ирина вернулась из школы:

– Ну что, не нашли Зорьку? – спросила еще с порога.

Черные дуги бровей как у взрослой девицы: ни красить, ни щипать не надо! А большие карие глаза с трудом терпели азиатский разрез:

– Решили, пускай на воле побудет? – сказала ворчливо, подражая интонации матери.

Сняла куртку и, глядя в зеркало, поправила белые кружева фартука:

– Всем волю дают, кроме меня!

– А тебе чего не хватает? – усмехнулась мать.

– Мне компьютер нужен, как у Игоря!

– А одного мало?

– Он не дает! Торчит целыми днями… Иногда только вечером успею немного, если он на свиданку пойдет!

– Ира! – возмутился отец. – Ты еще маленькая.

– Ага! – изогнулись тугие брови. – Кольца твои, допотопные, собирать не маленькая?..

Мать засмеялась, отец тоже улыбнулся. Дочь умела держаться с ними накоротке, и себя давала воспитывать только на равных с обеих сторон.

– И много набрала?

– Нашла одно, – дочь сжала кулак с хитринкой в глазах. – В бане…

29

В окно постучали: возле школы застряла машина с кирпичом.

Вася надел фуфайку, резиновые сапоги, ощущая в них неприятный холод. Вышел во двор.

Тучи все ниже давили солнце к западной гряде. С другой стороны небо гасила серая дождевая хмарь.

Снежный туман спускался по горным лощинам, но даже в нем чувствовалось тепла больше, чем в чистом небе над темной грядой.

Прежде чем идти к школе, Вася еще раз осмотрел сломанную ограду:

– Жерди-жерди, почему вы сломались?

И ответил сам себе:

– Это нас месяц подпилил!..

Школа стояла на берегу ручья. В его зеленых омутах дремали белые утки, не обращая внимания на резкие звуки застрявшей машины.

«Камаз» с прицепом елозил по школьной поляне, живьем сдирая газон. Из-под колес летели шматки грязи на клумбу с бордовыми астрами.

Тяжелый жаркий дым из черного сопла гнул сухую траву. Машина судорожно дергалась, колеса дымились, зарываясь все глубже в скользкие ямки.

Прицеп, как хвост огромной осы, крутился то вправо, то влево, норовя «ужалить» в крыльцо школы.

Тут же, возле стены, стояла директор – в розовых калошах и куртке, поверх бархатного темно-вишневого халата. Одной рукой она держалась за сердце, другой за угол родной школы.

– Погодь! – крикнул Вася водителю.

Угарные плевки стихли.

Дверца открылась и показался взъерошенный шофер, высматривая на траве место почище, чтобы спрыгнуть в легких сланцах.

Глянув на небо, он присвистнул:

– Мне еще в город надо поспеть!..

Вершины гор затянула серая изморозь. А над полями за деревней, провисла темная рыхлая туча, вот-вот готовая разрешиться дождем или снегом.

– Ну, что скажешь?

– Тут трактор нужен! – сказал Вася.

Шофер достал из кузова лопату:

– Кирпич ваш, вы и ищите! – и пошел к ручью, набрать камней.

30

Тракторист жил недалеко от школы. Возле его дома росли столетние тополя, каких уж мало уцелело вдоль Чуйского тракта.

Дверь на веранду была открыта, слышались громкие голоса, как-то странно относимые в сторону, будто от сильного ветра.

На стук вышла молодая женщина, держа в руках охапку чеснока с длинными сухим стеблями:

– Дома-то, дома… только вряд ли он поможет! – она быстро ушла, ничего больше не объясняя.

Тракторист Леха заставил себя ждать, но все же появился, оступившись на две ступеньки.

Закурил, уминая внутри себя легкий штормец.

– Где пил-то? – спросил глава села.

– На пилораме прождали весь день…

С самым серьезным видом Леха чертил огоньком сигаретки абрис окрестных гор: «Да вот, день профукали!» Вид у него был виноватый: мол, вашу нужду понимаю, но трактор на приколе!

– Да какой с него толк? – не выдержала директриса. Влепила бы сейчас «неуд» по поведению бывшему ученику!..

– Значит зря, – посочувствовал Вася, – пропал, значит, день-то!

Мужик пьет от безделья, чтобы душа вхолостую не крутилась:

– Ну, таки… может, завтра!

– А может, не зря?

– Могуть, не зря, – охотно согласился тракторист.

Ему нравилось, что глава села топчется у его калитки, и что бывшая учительница русского языка не поправляет его корявые словечки.

– Твою школу сейчас разнесут по щепкам, а тебе все нипочем!

– Может, и почем…

– Ты танкистом служил? – поинтересовался Вася между делом.

Леха не стал отрицать. Хоть это было не так.

– Служил, а у тебя не буду!

Машина с кирпичом совсем не заботила его. Но стало вдруг интересно: как бы танк проехал к школе, (пробрался! – вставил Вася, – по тылам!) чтоб не пересекать асфальт.

– Ты скажи только нам, какой дорогой!

– Щас!

Леха затянулся до самого фильтра, что-то долго соображая, и даже, как будто, наслаждаясь вниманием к нему.

– А трактор мы другой найдем!

– Щас, – обиделся Леха. – Идите, ищите!

Он побежал куда-то за дом, в легкую припрыжку, выставляя вперед руки, будто ловя стальные рычаги.

Сыпанул мелкий снег, вскоре превратившись в нудный дождик.

Директриса ушла домой переодеться, пообещав прислать вместо себя кого-нибудь.

31

А Вася вернулся к школе.

На столбе горел фонарь, освещая в кузове мокрые кирпичи.

Возле машины он заметил худенькую фигурку. Вера. Та самая… Еще девочкой училась у него в классе, потом вернулась в школу молодой учительницей. Хорошая, добрая, деньги взаймы дает, хотя в деревне отдают туго. А иногда и вовсе прощает, с чувством какой-то обязанности, будто повезло ей больше других: и работа чистенькая, и дрова по должности.

Такая вот судьба у сельского учителя – и честь блюди, и свет неси, а самому, от огня Прометея даже не согреться. Переросла девка все сроки, все мечты, но пары ей как не было, так и нет. Вот и выбрала мальчика: не поиграть. А чтобы в класс входить со своим чувством – хоть вины, хоть разлуки, но не с пустою душой. Дети это хорошо распознают.

Увидев его, Вера отошла к кустам сирени. Будет она стоять и зябнуть, как его сын в сарае.

Вася кивнул учительнице, взял лопату и стал кидать щебень под колеса машины.

Дождь опять сменился белой стылой крупкой. Косым налетом барабанил по стеклу «Камаза». За несколько минут ледяные снежинки припорошили головки астр, но таяли на теплой грязи.

Вдруг где-то вдали, со стороны острова, послышался ревущий гул… Трактор! То ли застрял, то ли заблудился.

Снег еще летел, но с западной стороны небо опять разъяснилось. Хмурые тучи отчалили от просветлевших вершин. Край неба озарился бледно-желтым, небрежно промытым светом.

Ручей за школой расширился, заблестел лимонно-жгучим отражением заката. В тихой заводи встрепенулись белые утки, темными носами лениво поклевывая солнечные струи.

Шум трактора все нарастал.

Уж видно было, как гнулись вдали кусты талины, выдавая кружной путь по берегу реки. Пару раз казалось, что мотор заглохнет, захлебнется, черпанув воду. Но

трактор надсадно рвал глотку, сокрушая дремотную тишину поймы.

А вскоре показался на берегу, разбив в черные дребезги зеркальную желтизну на воде, и согнав стаю уток, как белую пену.

Он появился, словно танковый прорыв в тыл врага. Мрачно блестела мокрая сталь ножа. На кабине торчали, как маскировка, сломанные ветки талины.

– Перевернется же! – охнула Вера.

Трактор полез резко вверх, сильно клонясь и елозя гусеницей по крупным валунам. Нещадно хлопала открытая дверца; лицо танкиста было торжественно и невозмутимо.

Подъехав к школе, трактор заглох. Словно выдохся.

Леха вылез из кабины, слегка покачиваясь и пританцовывая на гусенице: ну что, мол, приуныли?

Шофер «Камаза» смотрел на него сомнением:

– Разворотит тут все…

Тракторист не стал отвечать. Достал из железного ящика замасленную веревку, крутя в руке, как змею за хвост:

– Щас заведем!

Поднял жабру-крышку мотора, куда-то на ощупь приладил конец веревки. Прицелился и дернул… Трактор лишь заурчал, словно спящее чудовище.

Неторопливо, но упорно Леха дергал еще и еще, мотор слегка постанывал железной требухой и угасал недолгим маслянисто-шелестящим эхом.

И тут началось: то ли озябли так, то ли отступать было некуда – все кинулись помогать Лехе.

Шальная бестолочь!

Вася держал крышку. Вера включила фонарик в сотовом телефоне и освещала что-то в темных недрах мотора. Леха рвал черный шнур, далеко откидывая руку и выбивая фонарик из рук учительницы. Трактор содрогался тяжелым нутром, выдавливая из себя несколько дохлых оборотов, и бессильно глох.

Леха заметно протрезвел.

Произнес угрюмо:

– Над бы остограмить!

– Да хватит уж тебе! – возмутилась Вера, оттирая платочком свой перламутровый телефон.

– Его остограмить, – кивнул Леха под крышку трактора, – бензину надо с пол-литра!..

Спорить или сомневаться никто не стал.

Пока Вера ходила за бензином, опять сеял дождик, сквозь мутно-желтое марево, прибивая к земле синие сумерки.

Шофер залез в кабину, отряхнув сланцы, и наблюдал за тем, как залили бензин куда-то под горло мотору. Трактор действительно подобрел и завелся.

Потом выкорчевали «Камаз» с треском и судорогой. Отцепили трактор, и он уехал по ручью обратно, сгребая с воды холодный блеск заката. Словно пытался остановить угасание такого долгого и нужного дня…

32

Хотелось вернуться домой, к ужину и теплой печке. Вася почувствовал, что устал.

Веяло холодом, в просветах меж туч небо стало суше и тверже. Последние солнечные лучи, покидающие долину, застряли на высокой черепичной крыше генеральской усадьбы.

Со стороны школы хорошо виден каменный забор, дом с башнями и узкими окнами. Еще не ясно было: приживется здесь хозяин или нет, а его дом уже по-новому подбоченил деревню!

Массивные ворота еще раскрыты.

Рабочие таджики месили сухой бетон кетменями.

На большом листе железа возвышалась серая цементная гора. В ее вершине делалась глубокая вмятина и заливалась водой: мутные ручейки ползли по склону, чернея и угасая. По уставшим, худым лицам таджиков было видно, что в мыслях они давно уже на родине, и вспоминают, наверно, свои сухие каменистые горы, орошаемые весной благодатными дождями.

Откуда-то сбоку из кустов выбежал мальчик лет пяти, с игрушечным крокодилом в руках:

– Смотри! – приказал он.

– А что это? – растерялся Вася.

– Крокодил!

– Во как.

– У меня много крокодилов! – сообщил мальчик не по-детски основательным тоном. – Там большой в бассейне плавает...

– А батька твой где?

– Спит.

Вася присел на скамейку под дикой бузиной.

Мальчик взобрался на лавку с грязными ботинками и сорвал с ветки красную ягоду:

– Попробуй! – протянул ее гостю.

– Спасибо, не хочу.

– На, я сказал!

Уже привыкает подчинять, как его отец.

– Не хочу…

Хотел сказать ласково: «И ты не ешь, они грязные!». Но получилось как-то поспешно, даже с раздражением.

– Не хочешь почему? – пробовал мальчик гостя на свой молочный зуб.

– По кочану…

Вася встал и направился к дому, не отзываясь на настойчивые просьбы ребенка. Но на душе стало нехорошо, будто увидел в лесу непотушенную спичку и прошел мимо.

Перед высоким крыльцом стоял кубовый джип. Молодая генеральша, – в оранжевой куртке и зеленых лосинах, – вынимала вещи из-под задней дверцы: глубоко нагибаясь внутрь и вытягивая назад изящную тонкую ножку.

Она была похожа на умную птицу, вертевшую хвостом на краю ловушки.

– Вы к Степе?

– Похоже, что не вовремя?

– Нет, – генеральша вылезла из багажника. – Пора ему вставать… На работе так устает, а здесь только и делает, что спит!

В руках она держала большой кувшин, оплетенный золотистой лозой:

– Как я люблю эти переезды! всякие там хлопоты по обустройству! У Степы это осталось еще от кочевой жизни по общагам!..

Она пошла к дому, но сынок преградил ей дорогу. Похоже, у него была привычка: возникать внезапно. Маль-

чик стоял перед матерью молча и смотрел на нее с обиженным лицом.

– Ну что опять? Иди, позови папу!

– Нет! – детские пальцы душили горло крокодила.

Генеральша намеренно переключила свое внимания на пришедшего гостя:

– Вы думаете, что Стена сразу был таким богатым? Квартира там, загородный дом…

Вася покачал головой.

– Он еще студентом подрабатывал на рыбном заводе, чтобы денег хватало! И никто ему, никогда не помогал…

Мальчик ушел в дом, а его мама еще долго рассказывала о разных дорогих ей вещах, которые она собирается оставить здесь «зимовать»:

– Вообще у вас тихо. Хорошо. Не шалят, в смысле…

33

Внезапно включился прожектор, заливая усадьбу ярким светом. Из дома вышел хозяин в майке-тельняшке, показывая на плечах нездешний загар. Босые ноги обуты в калоши с начесом из местного магазина.

Генерал смотрел строго, но рассеянно:

– И што?..

– Строите, – кивнул Вася на таджиков.

– Ага.

– Канализацию?

– Деньги откачиваем…

Тоскливо залаяла собака, – рыжая дворняга на цепи, – скашивая умные глаза на хозяина.

– Да цыц, ты! – лениво крикнул генерал. – С утра не затыкается!

– Где уж там? – вставила жена, кутаясь в цветной мех. – С ночи начала выть. Ты-то спал, котя! А я все это слушала...

– Может, шарится кто? – генерал пытливо глянул на главу села.

– Пошалить-то?

– Ну, или как у вас зовется?

Вася пожал плечами под мокрой фуфайкой:

– Нет, даже не думай! Здесь напрасно пакостить никто не будет.

– А не напрасно? – засмеялся Степа, поглаживая полосатое пузцо.

Потом сказал лукаво-сочувствующе:

– За правое дело и сам бы пошел! Да?..

Васе оставалось только улыбнуться неопределенно: мол, и так и сяк понимай!

Мальчик с крокодилом схватил руку отца и потащил куда-то в сторону.

– Погоди малыш, – вывернулась рука налимом.

Но сын не хотел отступать: «Идем скорей! Скорей, я сказал!».

– И што…

– Я что пришел-то, – заторопился Вася.

– Денег просить, – опередил его генерал.

Уже давно понял Вася: спрашивать и просить – разные вещи!

– У нас праздник скоро будет, день села. Вот, на призы… хожу, стараюсь.

– И што? – спросил шипяще-нудно.

– Думаю, вам интересна жизнь села…

– И што?

– В каком смысле?

Видимо, этим «и што», он сбивал пыл у просителей на своей работе:

– Што за призы?

– Разное… спиннинги, например!

Генерал переключился на сына, пытая его тем же «и што? И што опять?». Затем пошел вразвалочку к машине – мрачной лакированной скале, – долго ковырялся в багажнике, откидывая вещи жены. Наконец достал черный футляр.

Это была винтовка.

– Вот, что дарить нужно! – сказал он с гордостью.

– Ну так... не всем по карману.

– Немецкая! С оптикой!

Маленькие пухлые руки крутили охотничью винтовку: глянь-ка, сталь шершавая, а приклад – будто дорогая скрипка!

На темном полированном дереве послушно таяли следы от пальцев.

– Хороша вещь, – согласился Вася, вспомнив ручное ружье своего отца.

– Хорошая, – передразнил генерал, – ты где лучше-то видел?

– Ладно, я в другой раз…

Но генерал остановил его:

– Сколько надо-то?

Услышав сумму, Степа только усмехнулся:

– Ну, приходи завтра, што ли…

И опять завыла собака.

Мальчик уцепился за руку отца. Вася с тревогой смотрел в ту сторону, куда тянул ребенок. Это должно быть скамейка под бузиной. То место, где споткнулась детская душа: мальчик или заставит кого-то съесть грязную ягодку, или расплачется на руках отца…

Но генерал крутил винтовку, сдувая с приклада мелкие снежинки. Подняв ствол к верху, он прицелился на дальние склоны горы:

– Вертолет сюда надо! – взмахнул короткой рукой. – Дичи там, немеренно!

Какая-то подневольность чувствовалась рядом с этим человеком, отгородившимся каменным забором от деревни. И от шума реки, что уже рыла берег под его стеной, не соглашаясь с чуждой стратегией.

Генерал водил прицелом по ближним скалам. Заметил что-то необычное:

– Там пещера, что ли? – нахмурился на черную дыру, заросшую кустарником.

– Есть пещерка, – подтвердил Вася.

– Ты был там?

– Со школьниками лазил…

Вася соврал, чтобы успокоить генерала. Сам он никогда не тревожил открытого нутра гор. Как никогда не совал палки в норку диких зверей.

Постучав калошами, генерал как-то обмяк и потерял интерес к охоте:

– Хорошее место… для снайпера!

Вообще-то Степа был каким-то крупным чиновником, и генералом в селе прозвали его за хмурый вид и любовь к охотничьей амуниции.

Собака глухо выла, исподлобья и виновато глядя на хозяина.

34

Мелкая крупка сеялась на ветру, ее волны шли косо и упруго. Временами сменяясь тяжелыми мокрыми снежинками, норовящими попасть в лицо или за пазуху.

Уже совсем стемнело.

Свет из окон его дома согревал лужи в огороде.

Брошенное сено в пустом загоне покрылось ледяной коркой.

Вспомнилось, как в прошлом году заболела Зорька – перестала жевать. Видно съела какую-нибудь дрянь, вроде пленки поверх стога. Вася гонял корову бичом по загону, потом раскрыл ей пасть, а Надя вылила бутылку водки. Даже стопки мужу не оставила…

«Эх, Зорька-Зорька, зачем ты ушла?»

Он еще раз оглядел пролом в ограде:

– Жерди-жордочки, зачем вы упали?

И стало будто светлее:

– Месяц с зазубринами нас подпилил!

Из облаков выбрался настырный месяц, успевая отражаться и в бочке возле крыльца, и в луже у ограды:

– Месяц-шалун, зачем жерди подпилил?

– Я плыл по реке и за мост зацепился!

– Мост-мосток, зачем ты месяц поймал?

Вася прислушался, улавливая далекий гул реки:

«Потому что на острове давно не был!..»

Снег сыпал и сыпал, первым мягким слоем укрывая землю.

Дома жена чистила картошку.

– Идем, я знаю, где она!

– Где? – бросила нож в кастрюлю.

– На острове. Был у генерала, собака с ночи лает и морду тянет…

Надя на ходу наматывала платок на голову:

– А что сразу-то не пошел?

– Да не хотел у них на глазах!.. Сейчас обойдем по отмели и спустимся по берегу.

35

В потемках двигались след в след: черные влажные отпечатки выделялись на белой тропинке. Снег падал тихий и лохматый, с какой-то сладковатой затхлостью, какая бывает в пустом стаканчике из-под мороженого.

Мокрые капли соскальзывали с веток черемух, мягко шлепаясь под ноги, издавая в тишине льющийся шорох. Вася отодвинул тяжелую ветку, пропуская вперед жену: «Идем, как двадцать лет назад!»

– Нашел о чем напомнить.

Рукой остановил жену: она все такая же, гибкая и податливая! Постояли, прислушались сквозь шум реки. «Поди, здесь ползали-то за ягодой?»

Щелкнула шишка по камню.

– Да не поди…

Старая ива склонила голые ветви над родником.

Среди белого чистого снега, его лужица покоила отражение месяца. На отмелях родника зеленели островки влажной травы. А в том далеком июле, поляна была усыпана клубникой: у Нади на голых коленях краснели подтеки от раздавленной ягоды…

Вася обнял жену, прижав к сосне, поцеловал в теплую шею – через смех и прочие девичьи заслоны.

– Вон она!..

Качнулся месяц в мутной колыбельке.

– И маленький с ней!

– Смешной, снег на лбу.

– Нет, звездочка…

За молодым соснячком стояла Зорька. К теплому боку матери прижимался теленочек. Он с удивлением смотрел на людей, испуганно тряхнув лохматым ухом.

ПРИВАЛ

РАССКАЗ

1

Вышли, точнее, прыгнули в снег на глухом полустанке.

Медленно тронулась электричка.

Плывущие в окнах лица пассажиров смотрели на туристов с вялым любопытством.

Стук колес ушел в тайгу, просеиваясь сквозь густые пихты.

Последнее, что запомнилось из привычной жизни – гравий под рельсами – похож на гречневую крупу, что уютно лежала сейчас в кухонном шкафу.

Я стряхнул снег и запоздалое чувство благоразумия: куда иду? Зачем?.. Туристы спешно надевали рюкзаки. Проводник отыскал тропинку среди зарослей талины.

Была середина ноября. В воздухе неурочная весна. Теплынь обняла нас за плечи и повела вглубь тайги!

Березовые чешуйки – словно веснушки – усеяли припухшие снегом поляны. Ветерок сдувал рыжие семена в глубокую тропку, покрывая наши следы.

Сияло небо, сверкал снег, но мне хотелось метели и мороза. Чтобы оторваться наконец от мягкого вагона, из окон которого таким легким и приятным представлялся наш маршрут!..

Чем ниже спускались мы, тем более рыхлым и липким становился снег: он цеплялся к ботинкам, оставляя на них мокрые пятна. Желтая студенистая вода выступала на дне следов, а если провалишься глубже – то и глинистая жижа.

Где-то близко слышался затаенный шум воды: упорные струи точили невидимую преграду.

Берега ручья заметны по сугробам. Местами они обваливались – тучными оползнями, – обнажая под собой

стеклянный блеск бирюзовой травы и болотисто-родниковую топь меж кочек.

Тихие открытые заводи подернул шершавый ледок с голубыми прожилками. Рваные края промоин обметало прозрачно-пузырчатыми кружевами. Если подойти ближе и заглянуть в глубину полыньи – сплетенные прутья и узкие листья ивы – были похожи на забытый садок, в который набилась стая серебристых рыб.

Гибкие листочки вымывались и уносились ручьем вглубь распадка. А перед нами открылась широкая просека с накатанной дорогой.

Будто тайга распахнула душу!

Однако идти по дороге оказалось трудней, чем по тропе: нужно подстраиваться под общий шаг группы. Первая заповедь в походе: настрой дыхания. Это тоже, что и молитва про себя – повтор безотчетных слов, равняющих пульс. Не знаешь молитв – подскажет дорога. Особенно в тех местах, где хотелось остановиться и замереть.

Прислонившись к безвестной березке, я писал карандашом в блокноте. Потом догонял туристов с чувством, что не дождался чего-то большего.

2

С запада небо затягивала легкая дымка.

И лишь с восточной стороны глаз режет чистейшее разделение синего неба и белоснежной горной гряды, будто они – полосы на флаге!

На фоне «реющего флага» возвышались заиндевелые березы, чуть колышась широкими боярскими рукавами. Они светились изнутри лучами солнца, утучняя и без того дородные кроны.

Звон и перелет синиц осыпали с белых ветвей пушистые струйки инея. В теплом густом воздухе мелькали игольчатые снежные искры.

Мы идем быстро: ноябрьский день короток.

Голоса наши бодры, но отрывисты.

Белая пелена все больше накрывала небо, снег у подножия берез становился голубее. Возникало странное впечатление: разомлевшие тени на снегу – виделись мне,

как вершины деревьев, а уходящие в небо толстые ветви – будто бы их сиреневые корни. Такой вот перевертыш.

Вдруг я спохватился: кажется, оставил дома ложку… Любимую походную! С ней ходил в горы много лет. Мучительно припоминаю, как собирал рюкзак утром, как в последний момент закипел чайник – нужно было залить термос. Кажется, не дошел я до ложки…

Забытая вещь – в походе самая нужная!

Конечно, в зимовье найдется лишняя ложка. Но у меня особая – деревянная, с зазубринами, потемневшая от времени и горячего бульона. Эту ложку любили повара на стоянках: мяли ею тушенку в котелке и пробовали по многу раз готовность каши. Пролежав неделями в глубине ящика для посуды, в ней оставался запах сухого пайка. Так, что на крайний случай, суп из этой ложки был бы вкуснее, чем из солдатского топора.

3

Впереди шуршал проводник. Новыми зелеными штанами! Надел их в вагоне перед высадкой, и видимо, задом наперед. Временами проводник совал руку к пояснице, и незаметно, как ему казалось, подтягивал резинку. А по лицам туристов ползли улыбки, как подтаявший снег на рюкзаках.

Дорога шла на подъем.

По обочинам высились снежные наметы.

Длинные рыжие лучи переползали через сугробы и ложились нам под ноги, сбивая с шага.

Слепило ласковое солнце. Прикроешь глаза, и тайга расплывается радужным блеском сквозь влажные ресницы!

Вот мы свернули в темный провал меж высоких осин. Золотисто-лакированный сумрак окутал бронзовые стволы. Яркий свет мгновенно исчез – рассыпался на неясные проблески меж заснеженных ветвей. И лишь временами пробивался к нам мутно-оранжевыми лучами.

Чем короче становились лучи, тем отчетливее превращались они в терпимое глазами пламя. Словно язык большой свечи. Во время движения стволы заслоняли этот

огонь: тогда виден был свечной ореол – волнисто-алая рябь меж темных ветвей.

Походная привычка: запомнить изначальное состояние духа. И хранить, чтобы вспомнить в нужный момент. А он настанет, когда придем в избу, и в холодном сумраке затеплится изломанная свечка, что лежит сейчас в рюкзаке. И кажется сейчас, что долгое время похода – до ночлега – пройдет незаметно от одной свечи до другой. Даже легче станет идти!

Образ свечи вызвал мысли о привале. Не вовремя. Я слышу бодрый голос проводника: впереди крутой подъем!

Одно радовало – вершину опаляло еще дневное солнце! И мы полезем вверх, чтобы остановить угасание дня.

Склон заляпан яркими пятнами, точнее – сверкающими вмятинами от просевшего снега.

На каменистых уступах блестели полоски льда от недавних дождей. Парил на солнце серый валежник, темнели снизу влажные подтеки. Тяжело покачивались широкие лапы пихт, под ними не было снега, нетронутой оставалась густая зеленая трава, и пахло моренными шишками.

У толстых веток под мышками колыхался седой мох.

Чтобы легче было идти, хватаюсь руками за гибкий кустарник, ощущая острый запах смородины. Черной! Веточки светло-коричневые, вертлявые, с розоватыми почками на концах. Смородиновый дух поднимается вместе с нами. Туристы переговаривались по цепочке, мол, хорошо бы сделать привал в таком душистом месте.

Но выше смородина пошла уже сплошь красная – без запаха.

Подъем оказался затяжным.

Мы почти не останавливались, лишь иногда переводили дыхание на каменных выступах. Согнувшись в поклоне, чтобы сдвинуть с плеч лямки рюкзака, и уперев горячие ладони в свои колени.

Первый привал!

Туристы уселись на теплые рюкзаки, нагретые спинами. Достали термосы и бутерброды. Горы обступили нас гораздо выше, чем до подъема. И казались уже более неприветливыми.

Проводник капнул чай на новые штаны:

– Сейчас свалим в распадок и поднимемся по кромке гребня... Тут бы не упасть в соседний ручей!

Ему ответил второй наш инструктор, он был без шапки, с перламутровой сединой в густых волосах:

– Там должен быть черный утес. Мимо бы не прохлестнуть!..

– Да светло еще!

– Снегом-то припорошило, – пугал седой. – Можем и не узнать то место!

В походе человек должен быть прост в понимании: чего от него ждать в трудный момент. Выносливость – это второе. Важнее настрой духа. Мне показалось, что наши проводники не ищут легкого пути. Они вспоминали подробности прошлых маршрутов, и главное, не хотели в сегодняшнем пути повторения!

Туристы это почувствовали:

– А когда в избу-то придем?

– В лучшем случае, – задумался проводник в зеленых штанах, – к ночи!

– А в худшем? – спрашиваю я.

– К утру, – ответил седой романтик. Говорят, что он большой любитель плутать при луне.

От этих слов разыгрался аппетит. Мы пьем чай и тянем время. Потому что знаем: до избы много дорог – и длиннее и короче.

Не торопиться нам советует даже вода в ручье, она весело журчит перед снежным затором. Ныряет под тонкий ледок и разливается в большую лужу. Зеленовато-коричневый слой опавших листьев покоится на дне, будто старая чайная заварка. От воды идет терпкий запах бадана.

Тайга кажется еще такой милой и почти домашней.

Проводники тихо переговаривались, минуя туристов. А мы запоминаем их отдельные слова: тот хребет, наверно, заметен. Большая грива будет непролазна! Эта ковар-

ная гривка не поддастся, но хуже спуститься по скалистой гребенке! Они хитрят, конечно, а мы улавливаем неуверенность в их голосах.

Самое тяжелое в походе – груз в душе. Поэтому в начале пути все хотят быть веселыми и бодрыми. Я тоже смеялся, наверно, над собой, скрывая в душе тревогу: пошел – терпи!

4

Звучит команда: «Под рюкзак».

Мы штурмуем новый склон. Первое время я пытался осмыслить каждый встречный выступ, каждый изгиб тропы вкруг топи, каждый обход упавшего дерева. Но вскоре уперся взглядом в землю – так было легче удерживать дыхание.

Идем друг за другом – след в след – а снег становится все глубже. В глазах рябит от заячьих следов, от голубых четырехстопных узоров, пересекающих поляны вдоль и поперек.

Вначале поднимались серпантином, выбирая дорогу длиннее, но легче. Но теперь ломимся круто в лоб, цепляясь руками за ветви поваленных пихт, обросших замшелой куделью. Иногда корявые ветви ломались, отбрасывая нас назад.

Я уже запыхался, непослушные ноги проваливались и застревали меж стволов. И каждый раз возникал брезгливый страх, будто залез носком в чью-то нору. Чувствовал мягкие листья и то, что ботинок кто-то обнюхивает… Но потом страхи отбросил, как ненужную трату сил. И даже приноровился к ходьбе по бурелому: пока выдергиваешь ногу из снега – зацепив руками под коленку – ловишь время для отдыха.

– Сейчас поднимемся и привал! – кричит проводник.

Оцениваю: сколько еще метров до вершины. И та ли это гребенка, которая может оказаться коварным гребнем!..

Снег скрипит звонче. Я чувствую, мокрой спиной, что ближе к вершине становится холоднее.

Вот наконец-то сбросили рюкзаки, уселись на их влажные спины. Вытянули ноги, равнодушно оглядывая

мокрые ботинки с ледяной кромкой по бортам. Похоже, что носки остаются сухими только на пятках…

Сердце успокаивается и уже стучит ровно по всему телу. Это ощущение даже в пальцах, когда берешь кружку с чаем. Пар уже слабый: губы слизывают теплую росу по железному краю. Недовольно пыхтит из-под колпачка бродяга-термос, будто пеняет на мою опрометчивость.

Перекусив, туристы повеселели и огляделись.

Вокруг нас царство осин, пронизанное длинными закатными лучами. Верхушки стройных гигантов окрашены в золотисто-салатный цвет. Снизу стволы одеты в шерстяные гетры из коричневого мха, с желтыми и розовыми узорами из тряпичного лишайника.

Ветви осин переплелись в сплошную темную сеть. И лишь кое-где виднелись прорехи меж корявых черных сучьев. В них поблескивало, словно пойманное, мутное предвечернее небо.

А еще я чувствовал родной запах холодной бани – старого осинового полка, подсохшего снаружи и отсыревшего в дуплах.

5

Теперь мы идем по ровной вершине, снега здесь больше и он влажнее. Чтобы не мочить напрасно ботинки петляем по мягким приствольным кочкам. Временами нам встречались неимоверно густые заросли осинового молодняка. Продирались в нем, будто муравьи по мебельной щетке!

А солнце, тем временем, мазало стволы деревьев уже ниже средины.

Мутно-оранжевый изломанный диск пламенел все ярче, распаляясь от натуги, будто хотел вырваться из силков негорючих веток.

Вечерние лучи светили из-за наших спин, посылая вперед рюкзачные тени. Бледно-золотистые полосы далеко опережали нас по тропе, словно знали, что угаснут раньше, чем туристы дойдут до перевала.

В тайге стало тише, унялись птицы. Ветер стих.

Лучи бледнели на сером снегу, и все чаще терялись в буераках, словно попутно находили себе уютную лежку.

Густела морозная синева неба.

Осины поблекли и отступили вглубь сумерек, к подножию горы. Оттого и показалось мне, что так резко и неприступно поднялась впереди нас малахитовая вершина. И нам предстояло на нее взойти!

Нас ждала стена из каких-то невероятных деревьев, выше обычных раза в три!.. Стена выглядела монолитной, сомкнуто-чешуйчатой, как нераскрывшаяся шишка пихты. Даже в мыслях страшно примериться к ней!

– Что это? – спросил я, вытаптывая в снегу ямку для отдыха.

– Это тот перевал, – седой инструктор деловито обстукивал ботинками трухлявый пень. А послышалось: тут перевал. Будто он мог сдвинуть его в сторону, и сказать: там перевал.

Туристы задирали головы, прикидывая: не вернуться ли обратно. Но инструктор даже обрадовался нашим сомнениям, его ленивые верхние веки резко поднялись, широко открыв голубые глаза:

– Там, за перевалом будет спуск к реке… По нижней дороге обойдем Красные скалы!.. Переправимся ниже… Можно заглянуть на черные камни, если не замело снегом!

Даже пересказать было длинно и путанно. А нам предстояло это все одолеть.

И мы пошли: след в след, повторяя движение инструктора на почти отвесном склоне, заросшим пихтачом в несколько ярусов. Мощным великанам у подножья вставали на плечи деревья среднего ряда, а тем в свою очередь – уже верхние гребешковые пихты.

Душный хвойный настой в застывшем воздухе не давал сорваться дыханию. Поначалу я мерил взглядом каждое дерево на пути – все они были обычного роста. Только оборачиваясь назад и видя на уровне глаз верхушки нижнего ряда, стал понимать, что стена подается. Будто раскусил зеленый орех!

Поднимаюсь почти вприсядку: упираясь ладонями в колени. Кровь стучала в висках, как метроном: шаг за ша-

гом, вдох – выдох! Из-под шапки – капля за каплей. Соленая горечь на губах…

Перевал мы взяли.

Но ощущение новизны, как в первые часы похода уже кончилось. Тайга везде была одинакова, как возле станции.

А еще на вершине стало заметнее, с какой неприятной поспешностью угасает дневной свет.

Мы уже меньше старались петлять, выбирая путь под шатрами пихт. Шуршали подошвы ботинок, словно наждачные. Весь день была капель от таявшего на ветвях снега. А к вечеру образовалась наледь, испещренная точками, будто от дроби. Иногда, со следа ботинка сдвигалась тонкая снежная лепешка, и открывалась зеленая стойкая трава, не привыкшая еще лежать безропотно.

Отдыхали чаще. В эти минуты, блаженно замирая, было приятно уловить, как разгоряченное лицо обдувает какой-то знакомый, почти домашний поток воздуха. Словно ветерок из родной форточки.

6

Раньше я думал, что в поход нужно иди с пустою душой – для легкости.

Теперь понял: что силы можно черпать только из полной души! Если устал, то нужно вспомнить уютные ощущения, чтобы отвлечься от тягот похода. Я пытаюсь уйти с таежной тропы и представить, что сижу дома: пишу рассказ о зимнем походе. Горит настольная лампа, я рассеянно хлопаю ладонью по бумагам, ища закатившуюся ручку. Затем пью из домашней чашки и мысленно следую за своими героями, покоряющими снежные горы. У меня тоже устают плечи и спина! Вот сейчас оторвусь от рукописи и пойду отдыхать… Мой сын возится с игрушками возле письменного стола. Он забавно подражает моей сосредоточенности и требует, чтобы настольная лампа светила равно: на мою рукопись и на его детские карандаши.

Боже, сколько сил добавилось вдруг!

Я вернулся в тайгу.

Бледно-желтый луч, похожий на ровный круг от настольной лампы, осветил крону березы. И мне казалось, что если смотреть, не отрываясь, на солнечный свет, то он никогда не погаснет!

И, будто в подтверждение моих чувств, случилось маленькое чудо.

– Смотрите, – крикнул кто-то.

– Луна!

В глубоком распадке – приоткрылся темно-зеленый бархатный занавес – образовалась яркая щель. Как огромный фонарь горела луна. Казалось, что она подавала знак всем лесным жителям – идут чужаки!

Луна даже позеленела с одного бока, задев край лесистой гряды. Моргали створки небесного фонаря, будто кто-то поправлял гаснувший фитилек – в тот момент луна проскальзывала меж пихт на вершине.

Это почти театральное действие не могло остаться без продолжения, без эффектного финала.

Чудеса продолжались: луне ответило солнце! Высокая береза на перевале озарилась ползущим по стволу ярким лучом, будто по флагштоку поднималось знамя!

Два светила протянули лучи друг другу: луна загорелась ярче, как наконечник древка, а солнце – с медлительной торжественностью – приняло команду спустить обмякший флаг!

7

Почти строевым шагом мы спускаемся в лог.

И чем глубже, тем сильней на усталые плечи наваливались сумерки. Мы шли им навстречу, хоть и надеялись, как можно дольше избегать объятий полной темноты.

Все знали, что идти можно по верхней дороге, она и легче, и короче. Но седой проводник повел по низам, где больше зарослей и буреломов. От тоски и досады глаза мутила странная пелена, будто куриная слепота! При быстром спуске приходилось почти наугад упираться ладонями в шершавые стволы талин, с трудом улавливая размытые очертания тонких коварных сучков.

Рядом с тропинкой выбрался из-под снега жидкий ручеек. Звук от его течения временами терялся. А ручей распадался на неглубокие стоячие лужи.

Сделали остановку: на полминуты – рюкзак не снимаешь, но согнув спину, двигаешь лямки по плечам. Опершись на палку, я разглядывал дно большой лужи, будто надел очки на усталые глаза. И странно, но зрение опять прояснилось: в прозрачной воде было отчетливо видно, как колыхались сопревшие травянистые бороды.

Захотелось пить…

Оказывается, сумерки иссушают душу!

Со всех сторон слышался шум воды, но этот звук не утолял жажду, а только увеличивал ее. Возникло новое беспокойство, что все эти потоки – уходящие куда-то в темноту – сбивают нас с дороги и еще, того хуже, уносят наши мысли и желания!

Чем глубже в лог, тем полноводнее становился ручей. Его бурный поток срезал края сугробов, выхватывал куски снега с веток ивы, с фыркающим звуком подныривал под скользкие коряги и каменистые выбоины.

Но когда свернули прочь от ручья, так вкусно полоскавшего в лужах лимонный свет, стало еще тревожнее. Исчез наш хлипкий «поручень». И даже луна – кинулась было за нами, – повернула в сторону, чтобы бродить над руслом таежного ручья.

Темнота спускалась в овраг на наших плечах, утяжеляя рюкзаки. Временами я сдвигал тугие лямки, чтобы подсунуть под них ладони.

Вновь послышался шум воды. Теперь другой! Он стал гулким. А тайга, наоборот, как бы притихла. Не скрипел снег, не шуршал по хвое ледяной иней. В низине, среди опаленных чернью березок, юлила безродная протока. Болотная вода то терялась меж травянистых кочек и под сырым валежником, то опасно проглядывала на открытых местах сквозь желтый картонный лед.

Эта протока вывела нас к реке.

Проводник шагал по заснеженным кочкам, и тыкал палкой в гнущийся наст – из пробоин брызгала на лед темно-зеленая жижа.

А мы услышали загадочное слово:

– Цунгай!

8

Какое звонкое название – Цунгай! И в таком глухом месте! Медвежий край – пойма реки завалена буреломом каких-то ужасающих размеров.

Река шумела, заглушая гул крови в висках.

В лохмотьях сумерек ее звук вызывал чувство приближающейся бури. Казалось, что гул воды скатывался на наши головы со всех склонов.

Цунгай ворочался в придавивших его берегах. Комья снега, перемолотые на стремнинах, мутно таяли, превращаясь в рой белых пузырьков с лунным блеском. Серая снежная вата прибивались к берегу, налипая желтой наледью на мокрые слоистые камни и затонувшие бревна.

Не знаю: кто кого застал врасплох – мы реку или она нас? Но я почти сразу потерял к ней интерес. Не хотелось ни думать об этой водной преграде, ни выискивать место для переправы. Тоскливое настроение одолело меня. Хотелось просто перелететь через реку, как во сне, а заодно и все оставшиеся хребты и вершины на пути до нашей избы!

Я брел, полз и карабкался, уже не задумываясь, где легче выбрать дорогу.

И как бывает в чутком сне – сознание иногда прояснялось, не удивляясь ничему: я видел, что мы петляем по топким берегам, оставаясь все в том же месте. Это успокаивало, на реке – в крайнем случае – не потеряемся!

Уже совсем стемнело.

Шли вроде бы быстро, а шаг получался все короче.

Выручало таежное чутье: когда прикрыть глаза от внезапной ветки, а где не ставить ногу на тонком льду. Даже глубину воды под настом угадывал!

На лбах туристов зажглись неоновые глазки. Голубые зайчики свивались то у стволов берез, то меж кустов талины, под сухими ветками пихт, будто затягивали огромную петлю.

У меня вздрагивала нога, когда хваткий луч внезапно обвивал ее! А заячьи следы при свете фонарей оказались белыми на сером снегу.

На полянке подняли рябчика. Он взлетел из совсем неглубокой ямки. Я разглядывал ее с каким-то навязчивым любопытством: рыхлый снег в лежанке перемешан с темными сережками и мелкими листочками. И было стыдно…

Несколько раз подступались к переправе. Но каждый раз безуспешно. Поваленных деревьев через речку лежало много. Только подобраться к ним мешала береговая топь. Или цепкий снег на бревне, наросший из инея в морозы, опасно скользил под ногами. И пока наш инструктор корчился на бревне – тянул к низу трусливый рюкзак, – туристы ловили минуты отдыха. У каждого своя поклажа, а главное сейчас – не замочить спальный мешок и теплые носки!

9

В любом походе важно правильно распределить силы. Но еще важнее распределить свое терпение. Даже если ты стонал всю дорогу, отставал от группы, сбивая с шага, но завидев избу, громко запоешь штурмовую песню – ты придешь победителем!

А после переправы можно сменить носки… Пока наши проводники решают: идти вдоль берега или ломиться в гору через перевал? Второй путь, как будто бы короче. Но шум реки уже стал привычнее.

Мы пытаем инструктора:

– Сколько прошли? Половина есть?

– Нет.

– Нет? – я разламываю обледеневшие шнурки. – Ну, хотя бы, треть прошли?..

– Может, и половину, – хитрит инструктор, – но которая меньше!

Замерзшими пальцами снимаю ботинки. Пока сдирал мокрые носки – ступню свело от холода. За пазухой держу свежие, чтобы согреть. Поверх сухого носка, как портянкой, обмотал ногу шуршащим пакетиком. С трудом впихнул ее в сырой холодный ботинок, ставший вдруг неподъемным.

После недолгих споров проводники решили:

– Будем разматывать Цунгай!

Это значит, повторять все его повороты, изгибы, обходить бобровые запруды, если они еще не замерзли.

И вот опять мы продираемся через береговые заросли. Розги ивы хлещут по рюкзакам. Мрачные обломки-пни с толстыми корневищами сидят на тропе, как калеки с деревянными култышками, и цепляют наши ноги.

Река шумит резко и торопливо.

Ее надсадный гул поселяется в моей голове. Шум воды сбивает с ритма, хочется делать короче шаг, короче думать, меньше вздрагивать от коварных капель за шиворот. А река несет и несет – в бессонном упоении – свой тяжелый отчетливый захлебывающийся всплеск, бурлит и рвется где-то у очередного затора. Мы слушаем ее равнодушно, и никакие стенания реки не вызывают сочувствия…

10

Пройдена точка не возврата. Когда не сможешь вернуть уже легкое настроение, например, в момент встречи луны с солнцем, чтобы оправдать этот поход. Теперь идешь на износ души. Или благодаря ее неведомым силам.

Поднять силы в походе можно страхом, а успокоить – удивлением или даже чудом.

И как подтверждение тому, блеснул загадочный огонек меж лохматых ветвей. Будто свет из узкого окна! Что это? Кто там живет? На вершине горы, среди огромных деревьев, стоял каменный замок. Виднелись грузные кривые башни, крытые рыжим серебром, мерцала наледь на узорах кованого железа. Кривые ступени, залитые лунным светом, поднимались вверх и пропадали в каком-то

темном проеме. Но почему мы проходим мимо? И никто не удивляется близкому жилью. Никто не выдает себя даже коротким возгласом.

Я оглянулся: за мной шел, опустив голову, седой инструктор. Лунный свет на его седине горел точно так же, как окно призрачного замка!..

Глухо брякнула гитара в чехле.

Луна следовала за нами: то пряталась за вершины, то появлялась в кронах, расплескивая жидкий свет. Она одна подмигнула мне заговорщицки, мол, я-то видела замок!

Это успокоило меня.

На противоположном склоне распадка появились луговины, освещенные изумительным сиянием. Невероятным уютом и теплом веяло от них! Темные пихты чуть склонились над полянками, как гости над белой скатертью, будто собираясь вечерять сочным таежным безмолвием. Я тоже присел рядом с ними, представляя, что и мне подадут сейчас миску лунной похлебки…

А когда очнулся – пришел мой черед тропить!

Луна поднялась уже выше деревьев. В ее голубом равнодушном свете совсем непролазными показались резкие тени в завалах.

Тропа нещадно петляет, когда идешь в середине группы. Но когда тропишь первым – то понимаешь, что дорога кружит от твоей усталости. И обход поваленной пихты – не облегчает путь, потому что дерево оказывается длиннее, а ветки у вершины более высокими и коварными!

На открытых полянах снег доходил уж до колена. Ноги проваливались резко, и почти не встречались твердые кочки.

Наша цель – выйти на верхнюю дорогу. Ее главная примета – таежная просека и две колеи, отставленные лесовозами с осени.

Несколько раз мне чудились заснеженные полосы. Я кричал, не узнавая свой голос: «Пришли!». Но это были длинные тени осин.

Усталые мысли терялась в череде больших и маленьких полянок. У подножья отвесных скал казалось, что уж никак не миновать заветной дороги.

Но может, мы заблудились? И я иду первым оттого, что проводникам стыдно признаться в этом.

Я пробовал петь, так легче сознаться, сдаться и повернуть обратно: «Нам говорили, нужна высота!..». На подъеме орать бестолково, но почему-то очень хочется:

– И не жалейте ноги!..

Одинокий голос гаснул в тайге. Одно слово – один шаг: «С неба – упала – пала – запала…» Скрип снега – щипок нижней струны. От мучительной ходьбы мелодия быстро износилась. Остались лишь две ноты, дребезжащие над ухом: «шальная-ная-ная звезда». Я не мог отделаться от их визгливого звука: «вам-нам-там – на ладони!» И одновременно боялся, что хуже того, вдруг наступит полная тишина. Будто она уж точно накроет мое слабеющее сознание…

В ногу вцепилась острая боль, пронзая коленку, когда вытаскиваешь ботинок из цепкого снега.

Я сменился. Сойдя с тропы, пропускал вперед товарищей, растирая колено. Боль спряталась куда-то вглубь, будто испуганная черепашка, корябаясь неуклюжими коготками.

Совсем близко, почти из-под ног, вспорхнул еще рябчик. Он шарахнулся вверх по пихте, отчаянно сшибая с ветвей снег. И это уже не вызвало интереса. Кончился мой восторг от единения с природой. Теперь я был сам за себя.

11

Подрывает силы коварная мысль: а если вовсе не найдем избу? – Будем идти до утра! Выйдем к большой станции, на вокзале есть диваны!.. Отвечаю, сам себе не веря.

Я начинаю грезить. Что-то вмешивается в мое сознание: не мутит его, чтобы не отменять приказ выжить, но развивает свой параллельный маршрут. Чего хочу я сейчас? Избу с теплой печкой, и в спальный мешок с головой!

Сколько вместишь в себя желаний, облюбуешь, высмотришь, загадаешь – настолько и хватит еще сил идти. Нервная энергия заменяет физическую.

Обычный мой вечер дома затухал после определенного часа, и остаток неистраченных сил уходил куда-то.

Каждый день! И вот сейчас, после часа домашнего покоя, я жду, что они вернутся ко мне. Силы придут будто бы взаймы, хоть и не знаю: на каких условиях!

Я иду последним. Мне чудится, что какая-то ласковая нечисть дышит в спину! Душа одичала: в огромных корнях вывороченных деревьев я вижу лешаков и завидую их непокрытой голове, теплым ногам в сухих лаптях, а еще тому, что в тайге они у себя дома. Я слышу их песни: без слов – во все горло! И вот что странно: проблески сомнений в реальности леших – отнимали последние силы, тогда как наивная вера в них – силы возвращала! Я думаю, что народ придумывал нечисть – леших, русалок, – чтобы окорачивать буйство своей натуры. И чем добрее душа, тем больше священного благоговения перед лесными жильцами.

Узкий овраг заткнул мне уши снежной ватой. Не слышно ни хрустящего снега, ни шума воды.

Тайга казалась пустой.

Душа ослабла от бескормицы.

Обычная еда уже не помогала. На привалах я жевал что-то, не чувствуя вкуса. Кроме запаха морозного воздуха! И опять казалось, что за стволами осин кто-то прячется… Зверь ходит по тайге пока не найдет себе добычу. А я ради чего? Чем мне восполнить силы? Это не преувеличение, что человеку важней духовная пища. Сейчас я чувствовал это особо, и с какой-то странной надеждой поднимал взгляд к небу.

Огромный свод темнел наледью от края и до края горных хребтов. Светилась луна в золоченом ореоле, будто лампада из зеленого стекла! Перламутровая глубина внутри лунного оклада казалась столь же непроницаемой и тяжелой, как риза на иконе.

12

Мы шли все медленней. Отдыхали стоя, по полминуты. И даже палка, на которую я опирался, все неохотней вынималась из снега. Тупая боль теперь свободно выползла из-под коленок и гуляла по обеим ногам. К тому же порвались мешочки в ботинках, и липкая жижа пробирала холодом всю ступню.

Лунные пролежни на заснеженных полянах сбивали с пути наших проводников:

– Нет, не узнаю место!.. Там у меня ориентир был – старая береза, одна сухая ветка указывала прямо на избу…

В голубой дымке я увидел березу – похожую на многорукое индийское божество. Даже нога перестала болеть!

– Вон она!

Тяжело скрипя снегом, проводник обошел дерево с каким-то мутным благоговением во взгляде:

– Нет, не она!..

– Почему?

– Должен быть ручей… Он где-то рядом, в распадке!..

Голос инструктора с перламутровой сединой медленно удалялся, и мы пошли за ним следом, чтобы расслышать хоть что-нибудь обнадеживающее:

– Я чувствую, он где-то здесь… Тихо!

И добавил почти безнадежно:

– Снегом накрыло!

Идти вниз все же легче. Но приходилось быть начеку, чтобы не напороться на острые ветки и пни, в трухлявых опилках с дырками-язвами от короедов.

– А это точно наш лог? – закрываю глаза, налетев грудью на гибкое деревце. Обнимая осину, я чувствую пряный запах ее коры и морозную гулкую дрожь.

Проводник молча подкидывает рюкзак, уже откровенно натягивая штаны:

– Может, и не наш…

Пускались быстро. Сил не берегли. Я решил про себя: подняться из лога уже не смогу, если они ошибутся в очередной раз.

Но теперь наш проводник не скрывал радости, широко размахивая руками:

– Нашел! Нашел!

Его распирало от восторга:

– У ручья несколько притоков… веером! Вначале-то мы свалились не туда… Но я чувствовал – место знакомое!

Он даже снял перчатку и дергал свой безымянный палец, изображая им нужный приток.

А мне подумалось: зачем он так кричит? К избе надо подойти тихо, чтобы не смутить ее сон…

Луна была в самом зените! Ее беспечный свет давил на воспаленные глаза. А мне хотелось спрятаться от ярких лучей, забиться в какую-то щель и притаиться, подобно пещерному человеку.

Подтянув в очередной раз шуршащие штаны, проводник вел нас уже с закрытыми глазами:

– Вон там за пихтой мы еще до снега дрова заготавливали! Да. А на той стороне склона – Мишка лыжу сломал… в прошлом году. Да. На ровном месте!.. Потом ковылял до кривой березы. Где у Абашева был схрон…

Все что он говорил, тут же превращалось в какие-то тягучие картины сна. Видения не трогали меня, хоть и пытался я представлять, как Мишка хромал до избы. Как залазил в схрон на березе охотник Абашев. На ветвях лежат доски, на них фуфайка и валенки: охотник сладко спал, как ворон в гнезде. В этой полубредовой череде событий, вдруг кто-то сказал, почти равнодушно: «Нет. Не то место. Похожее, но не то!..». И тут главное было не проснуться, не вывалиться из ощущения вязкого бесчувствия.

В лунном сновидении я брел дальше: по чужому ручью вверх, припадая через каждую пару минут на измученное колено в тупо-блаженном поклоне. И тайга равнодушно принимала мой реверанс.

И опять кто-то что-то нашел…

Опять сквозь пелену бессилия продрался чей-то зыбкий голос:

– Кажется она!..

Я крикнул «ура!». Но не поверил. Мозги перевернулись на другой бок. В хмурой тени под горой белел какой-то треугольник. Крыша избы!.. Но почему так неосторожно вышла она к самому обрыву?..

Треугольником оказались наклонившиеся друг на друга деревья… Хороший шалаш для зимней ночевки! Мне уже мерещился костер – дымятся мокрые ботинки, вялятся носки, парят вытянутые над огнем ступни голых ног.

И опять скрипел снег. Ноги вязли. Ручей петлял, скрывался под сугробами, разматывая наши нервы до

голой катушки. Хотелось выть, орать, проклинать тайгу, больную ногу, и свою глупость, когда я решился на этот поход.

Только бы не сорваться! Только б не выдать свою трусость! Лучше упасть и катиться вниз до самого дна оврага. А там зарыться в снег на всю глубину своего горя!

Пока я представлял свое падение и реально ощущал колючий снег за воротником и в рукавах, рвущиеся звуки и колотушки по всему телу, – в тайге что-то изменилось. Она нарушила молчание! Какой-то шелест звучал со всех сторон. И это не был сон. Я различал его сквозь скрип снега и тяжелое дыхание моих товарищей.

13

Подул ветер. Снежная пыль шуршала по обледеневшей от пота шапке. Ресницы слипались от инея.

Узкий лог распахнулся, и мы опять вышли к ручью.

В его широте было что-то обнадеживающее! Я огляделся: вся пойма была выстрижена под гребенку: будто все ивы, вербы и березки срублены топором в один мах и на одной высоте каким-то неутомимым дровосеком. Еще больше поразила огромная талина в полметра толщиной, она лежала в десяти шагах от берега – обструганный комель, словно карандаш, светился желто-оранжевой древесиной.

Бобровые владения!

Решили: сходу перейти на тот берег. Идешь по плотине – она прогибается под ногами! Кажется, что в любую минуту разверзнется зыбкий наст, и ты провалишься в ледяную воду на неизвестную глубину. Тут даже палка не поможет, да и стыдно было дырявить чужую крышу!

Ступив на твердый берег, мы с облегчением сбросили рюкзаки.

В лунном свете парила черная полынья. Из воды тянулась тропинка бобров, обледеневшая грязью от речной глины.

– Из-за этих бобров русло меняется! – оправдывался инструктор. – Каждый год ведь перекраивают!..

В полынье плюхалась брошенная ветка. Видимо, мы спугнули водяных работников, и сейчас они ждут – не дождутся нашего ухода, чтобы затащить ветку в домик. На ужин!

Тихо шумела вода. Луна с любопытством заглядывала в полынью.

Как приятно сидеть возле плотины, чувствуя живое существо, которое хоть и прячется от тебя, но тоже теплокровное, тоже дышит и также как мы хочет сытого ужина и уютного ночлега!

Чай в термосах давно кончился. Вынули фляжку с домашним ликером. Глухо звякнула цепочка с колпачком. Фляжку пустили по кругу. Я тоже выпил, придерживая колпачок… Мне вспомнился дом и недавний вечер, когда мы сливали с осадка новое вино, а на дне мутной бутыли искрился бархатно-гранатовый ил! За окном ноябрь, в кухне – дух подвяленного винограда, что растет в нашем саду. Еще вспомнилось, что я отец двух детей. И что мне много лет, и давно прошло то время, когда мама запрещала «брать в рот снег». Я пил сладкий ликер. Закусывал таежным снегом с привкусом хвои. И почти не удивлялся, что по жизненному пути я иду теперь сам во главе – плохо ли, верно ли, зная дорогу. Идти мне, надеюсь, еще долго, и я этому, конечно же, рад. А наша снежная тропа – где-то посреди бескрайней тайги – всего лишь одна невероятно малая часть моей жизни.

В голове прояснилось. Чего горевать? Не отыщем пропавшую избу, так выберемся на верхнюю дорогу, пойдем к станции. А там и до рассвета рукой подать…

Седой инструктор – стряхнув снег с виска, будто честь отдал, – поднялся и ушел: мол, поищу дорогу. Молча проводили мы навьюченную спину. Пустили по кругу оставшийся ликерчик. Куда торопиться – вся ночь впереди! Колпачок на цепочке хлестал фляжку приятным бодрым звуком. Правда, царапающие нотки становились все тоньше. А когда фляжка вовсе опустела, ее нутро выдохнуло влажный гул, подобный тому, что тянул из поймы ручья.

Нога моя онемела, но боль притупилась. Теперь я шел последним, надеясь, что крайнего туриста поймает первым в свои сети утренняя заря…

Где-то вдали послышалось что-то невнятное – словно берега ручья разжали припухшие губы!

Голос показался мне ворчливым и будто бы разочарованным в очередной раз. Мол, опять ошибся!.. Мы шли по дну оврага по следам инструктора, а крик повторился откуда-то сбоку, со склона. Видимо, он опять разглядел призрачную крышу. Я сказал себе под нос: «Ну, разжигай печку, если нашел!» В конце – концов, должна же где-то быть печка!..

Группа сжалась, туристы вытягивали руки и ловили плечо впереди идущего, словно вереница слепых бродяг. Тропа петляла, мы спотыкались о толстые корни.

Под ноги я уже не смотрел: лишь улавливал с досадой, когда ботинок засасывался в черный ил!

А когда прибрежная грязь стала вовсе непроходима, показался мостик с перилами из жердей, бросающих на чистый снег изломанную тень.

Перед мостом была запруда из камней, а возле нее – рубленая баня, прижавшаяся к каменному утесу. В эту минуту захотелось вспомнить простое и хорошо знакомое чувство усталости после парной. Я присел на завалинку бани, на кучу старых веников, припорошенных снегом, и бездумно глядел, как переливаются на воде темные маслянистые струи. На дне омута – лунным просевом – рассыпалась белая галька!

Огромные валуны крепко спаянны мхом, и казалось, что ручей шумит здесь почти кротко, признав силу людей, перегородивших его.

Уже с большим трудом я ступил на мостик (потом это повторилось на крыльце дома) – ступни вдруг пронзила острая боль. Было в ней какое-то отчаянное неприятие ровной поверхности, будто теперь я мог ходить только по мягкой земле или снегу.

Последний подъем казался вовсе бесконечным!

Бревенчатая изба не вышла навстречу. Она лишь постепенно нависала над моей головой темным козырьком высокой крыши. Дверь открыта настежь, в сизой морозной мгле рыскал огонек фонарика.

Я вошел, спотыкаясь на пороге. Изба взяла меня за пазуху, как подброшенного котенка.

Голубые лучи проникали внутрь через мутные окна: они лежали на холодных нарах, на стылых кирпичах печки. Их присутствие холодило душу. Лунный свет щипал усталые глаза.

В нос ударил запах копченой глины, осиновых дров и сыпучей трухи от березовой коры. Боже, каким мгновенно прекрасным показался мне этот запах!

14

Вот вспыхнула свеча, подпалив голубые щупальца лучей.

Вспомнилась огромная солнечная свеча в осиновом лесу. И так легко соединилась она с маленькой свечкой, горящей теперь на столе. Мне тоже стало легко, а более того – радостно, что не забыл я ту свечу! Вернее сказать: сохранил тот настрой удивления! Весь мой поход, все мучения вместились в один миг, уже прожитый. Что-то странное, вроде грусти, чувствовал я сейчас!

Испачкав золой новые штаны, возился у печки инструктор. Охотничьим ножом строгал щепу для растопки. Нудно скрипела заржавевшая железная дверца. Затрещала в огне березовая кора. Плоской сизой лентой выползал дымок из щелей печки. Не раз поперхнувшись от натуги, рывками прерывалась дымная лента, а затем распушалась едкими клубами.

Туристы переодевались, распространяя в холодном воздухе запах отсыревших тел. Горьковатый дым окутывал их, путался в мокрых футболках и носках, поднимался вверх, ударяясь в потолочную балку. Туристы усаживались на нары, чувствуя холод сырых досок.

От суеты в доме моргала свеча.

Блестел на столе граненый стакан. Из него торчали – алюминиевой хризантемой – гнутые ложки и щербатые вилки.

Главное сейчас быстрее согреться – гуртом сдвинули походные кружки. И вот уже склонилась над ними в холодной испарине победная фляжка!..

Изба нагревалась медленно, картошка в чугунке – сколько ни пробовали – была еще сырой; мы пили водку, закусывая помидорами с хреном.

– Это таежное сало?

– Окорок с лесной смородиной.

– Вот гляди! Мяса с палец!..

По свече сползали робкие капли.

Я разглядывал, словно впервые, лица своих товарищей: темные глаза, сильные руки, натруженные плечи! Казалось, что сейчас мы все похожи: и лицом, и голосом, и движениями.

Одна девушка смеялась виновато: «Разлился кетчуп на крыльце!». Маленькая, на вид такая хрупкая, что роговая оправа очков – казалась самой прочной частью ее образа. Она легко отрывалась от стола и шла к печке, сама назначив себя дежурной. Затем возвращалась, размахивая половником, как дирижерской палочкой:

– Ну, надо же, кетчуп пролила!

– Да, брось ты! Не водка же!..

Седой инструктор пылал красными щеками, будто снегирь после купания! У него открылась забавная черта: он умел громко смеяться каким-то неподражаемо вкрадчивым звуком. Обладатель шуршащих штанов пил из кружки, прикрывая верхние веки, с совиной безмятежностью. Самым выносливым из нас оказался застенчивый блондин: последние пару километров он нес два рюкзака попеременно. А сейчас скромно поправлял ладонью мягкий чуб на стриженой голове, похожий на желтую огуречную завязь.

На нарах сидела, спиной к столу, еще одна девушка. Лицо ее из «прошлого, из былой печали», глаза сощурены на лунный свет! Она приладила на колени гитару и запела как-то исподволь, никого не перебивая: «С нами женщины, все они красивы!..» Ей подпевали вразнобой, как бы вспомная каждый свое: черемуху в цвету, костер у реки, лодку на озере. Одним словом – свою туристическую молодость – за ней и в тайгу оправились!

Разговор теплел, горели уши.

А у меня было чувство, что это еще не ночлег. Хоть и постелили на нарах уже спальные мешки.

Сердце не могло успокоиться! Не хотело смириться, что без его участия тоскует ветер в горах, точит вода лед в проталинах, грустит луна в туманном ореоле!

А затем, как водится в таежном застолье – настала минута просветления! Когда вдруг остро почувствуешь свою

заброшенность в дымной избе, посреди тайги, а тело все болит, отказываясь завтра идти куда-то…

И наперекор минутному отчаянию запели тихо, без надрыва, с какой-то отрадной легкостью в душе.

Удивительно, сколько сил осталось в ней!

Наша дежурная сидела во главе стола, она черпала половником высокие ноты и «раздавала» их солистам. Сотрясая голосами бревенчатые стены, хотелось показать, что душа во время похода не переставала любить и мечтать! И что страдания возможны только в нижнем пределе сознания. Но поднимаясь выше инстинкта самосохранения – они становятся почти блаженством! Гитару передавали из рук в руки. В тесноте за столом приходилось задирать гриф к потолку. Пели так же, как шли – одолевая поэтические страдания только раз! Потому что завтра никто не осилит тот же путь, как не сможет повторить сегодняшних романсов…

Перед сном я вышел из избы.

Звезды роняли с неба голубой иней. Его колючки дырявили голые плечи. Скрипел снег, не узнавая мои шаги. Я вдруг почувствовал – очень остро – свой терпкий человеческий запах, чуждый тайге.

Вернувшись в дымное логово, забрался на нары и бесшумно провалился в сон.

Но вскоре очнулся – ноги ломило, будто их собаки грызли! К тому же за дверью раздавался какой-то странный звук. Сосед на нарах не спал и объяснил мне, что скорей всего на пролитый кетчуп набежали зайцы!

Чтобы утихла боль в ногах, есть верное средство – ходить по снегу босиком. Пришлось опять выбираться из теплого спальника, идти по полу, спотыкаясь о рюкзаки, дрова и спящих товарищей.

Тихо открылась дверь, и даже не сразу уловил взглядом белый комок, метнувшийся с крыльца. «Правда, зайцы!» – равнодушно мелькнуло в голове.

Белый комок остановился у ближайшей пихты. Заяц вдруг встал на задние лапы и поднял – в лунном свете – огромные уши. Мол, не боюсь тебя, и ты меня не пугай!..

Лунный ореол побледнел, словно вышарканное драповое сукно. В воздухе стало теплей. Я улыбнулся на зайца, подумав, что завтра сменится погода.

СОДЕРЖАНИЕ

Окрестности счастья 5
Н О Ч Н Ы Е Ж У Р А В Л И. РОМАН 13
Узелки на память 15
Цыгане 19
Странники 23
Пушкин в подштанниках 26
Отец 27
Поток 30
Прекрасная Мари 33
Праздник 37
Разлука 42
Чарли и космос 44
Деревня 50
Гамлет 66
Здесь, под небом чужим 75
Детская собственность 109
Встреча 117
Там вдали, за рекой 127
Старый дервиш 133
Пасха 140
Крым и Рым 143
Половодье 165
Словарь 176
Княжна 180

ЗЕЛЕНАЯ ЮРТА. ПОВЕСТЬ 205
ПРИВАЛ. РАССКАЗ 265

Пешков Александр Владимирович

НОЧНЫЕ ЖУРАВЛИ

Оформление В. Котеленец
Редактор Л. Вигандт
Корректор Е. Федькина
Верстка Т. Афанасьева

Подписано в печать 06.11.2015 г. Формат 70x100/32
Гарнитура Myriad Pro. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ № 4803

Отпечатано в типографии ОАО «Алтайский дом печати»
656043, г. Барнаул, Б. Олонская, 28

НОЧНЫЕ ЖУРАВЛИ

Александр Пешков родился в селе Тальменка Алтайского края. Окончил школу в Барнауле, инженерно-строительный институт в Новосибирске. В разные годы работал архитектором, строителем, каменщиком, жудожником, инструктором по туризму, на железной дороге. Печатался в журнале "Алтай", лауреат Всероссийской литературной премии современной прозы им. В.И. Белова "ВСЕ ВПЕРЕДИ" (2009 г.) и лауреат литературной премии им. Г.В. Егорова (2013 г.)

Женат, отец двоих сыновей. Живет в городе Барнауле.